



# ЮЖНОЕ СИЯНИЕ

ОДЕССКИЙ  
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
ЖУРНАЛ

2(18)'2016

---

**Главный редактор**  
Станислав АЙДИНЯН

**Выпускающий редактор**  
Сергей ГЛАВАЦКИЙ

**Отдел поэзии**  
Людмила ШАРГА

**Отдел прозы**  
Ольга ИЛЬНИЦКАЯ

**Отдел литературоведения**  
Алёна ЯВОРСКАЯ

**Общественный совет:**  
Евгений Голубовский (Одесса), Владимир Гутковский (Киев),  
Олег Дрямин (Одесса), Олег Зайцев (Минск),  
Кирилл Ковальджи (Москва), Татьяна Липтуга (Одесса),  
Марина Матвеева (Симферополь), Виктор Петров (Ростов-на-Дону),  
Александр Петрушкин (Кыштым), Юрий Работин (Одесса),  
Илья Рейдерман (Одесса), Анна Стремшинская (Одесса),  
Александр Хинт (Одесса), Евгений Черноиваненко (Одесса).

---

Свидетельство о регистрации: серия ОД № 1563-434-Р от 16.11.2011 г.  
Учредитель – Общественная организация «Южнорусский Союз Писателей»

Е-mail редакции: [aurora\\_australis@lenta.ru](mailto:aurora_australis@lenta.ru)  
Интернет-версия журнала: [ursp.org](http://ursp.org)

© «Южное Сияние», 2016

## В НОМЕРЕ

### ПОЭЗИЯ

Одесса: Людмила Шарга. <b>Парус алый, парус белый.</b> <i>Стихотворения</i> .....	4
Одесса: Екатерина Янишевская. <b>На этапе случайного возгорания.</b> <i>Стихотворения</i> .....	11
Одесса: Валерий Сухарев. <b>«На закоулках зрачков стоит весна...».</b> <i>Стихотворения</i> .....	16
Одесса: Владислава Ильинская. <b>01001.</b> <i>Стихотворения</i> .....	21

### ПРОЗА

Одесса: Алексей Рубан. <b>Замок из песка.</b> <i>Повесть</i> .....	26
--	----

### ПОЭЗИЯ

Екатеринбург: Юлия Долгановских. <b>Чуть слышный привкус кислорода.</b> <i>Стихотворения</i> .....	59
Харьков: Андрей Костинский. <b>Инойя.</b> <i>Квадратфугэма-мистерия без начала</i> .....	64
Книшинёв: Олеся Рудягина. <b>Цветущие и певчие сады.</b> <i>Стихотворения</i> .....	70
Москва: Анна Галанина. <b>Два сезона в три дождя.</b> <i>Стихотворения</i> .....	77

### «МЕГАФОН»

Андрей Вознесенский: <b>«Успеть бы свой выполнить жребий».</b> <i>Интервью Евгения Голубовского</i> .....	81
---	----

### ПРОЗА

Одесса: Алексей Холодов. <b>Caught by the crabbing sun.</b> <i>Рассказ</i> .....	85
--	----

### ПЕРЕВОДЫ

Георг Траэль. <b>Стихотворения.</b> <i>В переводах с немецкого Вячеслава Карижинского</i> .....	112
---	-----

### ПРОЗА

Одесса: Евгений Деменок. <b>Лефкара.</b> <i>Рассказ</i> .....	118
Одесса: Вероника Коваль. <b>Княгиня Г.</b> <i>Романтический детектив</i> .....	120
Одесса: Константин Чебанюк. <b>В погоду.</b> <i>Рассказ</i> .....	130
Одесса: Геннадий Дмитриев. <b>Крысолов.</b> <i>Рассказ</i> .....	138

### ПОЭЗИЯ

Переделкино: Леонид Латынин. <b>Клавиш бережный разбег.</b> <i>Стихотворения</i> .....	140
Москва: Александр Тимофеевский. <b>Мы заигрались в стариков.</b> <i>Стихотворения</i> .....	144
Москва: Олег Мраморнов. <b>На возвратном пути.</b> <i>Стихотворения</i> .....	148
Махачкала: Мариян Шейхова. <b>Трудным словам не учат.</b> <i>Стихотворения</i> .....	153

### ПРОЗА

Переделкино: Екатерина Августа Маркова. <b>Моё – ты.</b> <i>Эссе</i> .....	156
Лос-Анжелес: Григор Апоян. <b>Кто писатель?</b> <i>Эссе</i> .....	161
Одесса: Владимир Смирнов. <b>Голгофа одесской Кирхи.</b> <i>Эссе</i> .....	166

## «ДРУЖБА ЖУРНАЛОВ»

Москва: Леонид Подольский. <b>Читателям «Южного сияния»</b> . <i>Вступительное слово</i> .....	169
Ленинград – Москва: Евгений Рейн. <i>Стихотворения</i> .....	170
Москва: Кирилл Ковальджи. <i>Стихотворения</i> .....	175
Москва: Валерий Лебединский. <i>Стихотворения</i> .....	178
Москва: Роман Сенчин. <b>Дедушка</b> . <i>Рассказ</i> .....	181
Москва: Валентин Резник. <i>Стихотворения</i> .....	190
Москва: Леонид Подольский. <b>Посвящённый</b> . <i>Рассказ</i> .....	192
Москва: Марина Карио. <i>Стихотворения</i> .....	197
Москва: Галина Богачеко. <i>Стихотворения</i> .....	200

## «ШКАФ»

Санкт-Петербург: Дмитрий Артис. <b>Есть такой Чемоданов</b> . <i>Рецензия</i> .....	203
Кёльн – Москва: Даниил Чкония. <b>К морским глубинам тянется душа</b> . <i>Рецензия</i> .....	205
Москва: Александр Карпенко. <b>«Золотая ослица» Елены Черниковой</b> . <i>Эссе</i> .....	207
Москва: Александр Карпенко. <b>«Джен, джин-тоник русской поэзии»</b> . <i>О поэзии Евгении Джен Барановой</i> .....	209
Симферополь: Лика Сладковская. <b>Есть у безграничности начало, нет у безграничности конца</b> . <i>О поэзии Марины Матвеевой</i> .....	210

# ЛЮДМИЛА ШАРГА

---

## ПАРУС АЛЫЙ, ПАРУС БЕЛЫЙ

### ДАВАЙ ГОВОРИТЬ О ГОРОДЕ

Давай говорить о городе,  
который нас ждёт и любит,  
там глупые птицы – голуби,  
там разные птицы – люди.  
Давай говорить об улицах,  
что счёт свой ведут от моря,  
а море – оно волнуется  
и пирсы седые моет.  
Давай вспоминать о двориках –  
обители капитанов,  
о пристани всех затворников  
в тени вековых платанов.  
Ах, жить бы с тоскою вечною  
под их кружевною сенью,  
встречаться у моря вечером,  
и в церкви – по воскресеньям,  
и под молодыми липами  
надежды растить и холить...  
Вот только для жизни выпала  
война да время лихое.  
Но в этом смертельном холоде,  
где стало кровавым солнце,  
мы вспомним о вечном городе,  
и этим с тобой спасёмся.

\*\*\*

Удивительно тёплый ноябрь  
этой осенью щедро отмерен,  
не досказана сказка, но я  
в продолженье – по-прежнему – верю.  
Оттого что дожди в дневнике  
всё идут и идут между строчек,  
карандаш неподвластен руке,  
и сбивает неразборчивый почерк.  
Каллиграфия ранней поры  
проливными дождями размыта,  
и оборванных строчек костры  
гасит время – безжалостный мытарь.



А казалось – люблю – бери,  
создай свой мирок под часами,  
до утра погаси фонари,  
и туман назови парусами.  
Ничего, что не видно ни зги,  
всё туманное станет прозрачным,  
а наскучат туманы – зажги  
одинокий фонарик маячный.  
Изменяя и сущность, и суть,  
намывается свет по крушицам.  
Не его ли в стихи принесут  
по весне перелётные птицы?  
Где-то там, за оконным стеклом  
прорастёт стихотворная завязь.  
Скажешь: сколько воды утекло,  
а стихи, как ни странно – остались.

### ПАРУС АЛЫЙ, ПАРУС БЕЛЫЙ...

Парус алый, парус белый...  
Мне волна морская пела,  
пела-пела, напевала,  
за собою зазывала.  
К берегам далёким южным,  
в царство раковин жемчужных,  
в край коралловых атоллов,  
кольца хрупкие которых  
розовеют на рассвете,  
а над ними южный ветер,  
Южный Крест и южный Парус...  
южной ночи звёздный гарус...  
Море пенилось, кипело,  
а волна всё пела, пела,  
пела-пела, напевала...  
В тех краях я не бывала.  
Где-то ждёт далёкий берег,  
на песчаных дюнах белых  
ветер тонкий шлейф оставил,  
след терялся,  
таял,  
таял.  
Рядом россыпи ненужных  
створок раковин жемчужных,  
перламутр, под слоем пыли:  
чьи-то сброшенные крылья.  
Былью станет сказка чья-то.  
А моя – хоть простовата,  
сказкой пусть и остаётся,  
трудно для себя поётся.  
Парус алый,  
парус белый,  
мне волна морская пела.  
Пела, пела, напевала,  
я за нею уплывала...

Нам бы жить у моря Красного,  
 где вода – синее синего,  
 вот была бы жизнь прекрасная,  
 кругосветно-апельсинная.  
 А потом у моря Жёлтого,  
 где гнездится цапля белая,  
 раскрывая зонтик шёлковый,  
 созерцать малину спелую.  
 Если выпало в империях  
 задыхаться от отчаянья,  
 знай, поди, к какому берегу  
 нам по осени причаливать.  
 Вот и тянет к морю Чёрному,  
 есть олады с ежевикойю,  
 завести кота учёного  
 и русалку луноликую.  
 Мчатся золушки за принцами,  
 им успеть бы до полуночи,  
 ну а нам пора в провинцию –  
 право-слово – хватит умничать.  
 Заварю-ка кофе чёрного  
 и чего там... с ежевикойю,  
 для тебя – кота учёного,  
 я – русалка лунолика...

### СИНИЕ СТИХИ

Летний вечер у дверей,  
 словно ангел – тих и светел,  
 далеко – за семь морей –  
 улетел бродяга-ветер.  
 Дремлет стая синих гор,  
 чуть прикрывшись облаками,  
 синий звёздный кот лакает  
 Млечного Пути простор.  
 В нём душа моя плывёт  
 и серебряною птицей  
 в море синее глядится,  
 и не верит звёздный кот,  
 что огромная луна  
 тоже стала тёмно-синей...  
 А душа пером гусиным  
 за конторкой – у окна –  
 пишет синие стихи,  
 тепшит синие чернила.  
 Сколько б слов ни обронила,  
 будут все стихи тихи.  
 Будет таять до зари  
 вечер летний,  
 синий вечер.  
 Кофе в чашку, шаль на плечи...  
 Дышит осень у двери.



## МОРЕ ОСТАВЛЯЕТ БЕРЕГА

Море оставляет берега,  
и надежды им не оставляет.  
Тихо лягут белые снега  
там, где ветер в парусах гуляет,  
и ломает волны на плечах  
чёрный обнажившийся брекватер...  
Может быть, безмолвия печать  
отодвинет судный час расплаты.  
Крылья на изломанных камнях  
супат длинноносые бакланы,  
и свечою на ветру маяк  
в предрассветных теплится туманах.  
Бьёт прибой волну о волнорез,  
и свивает донные барханы...  
но вороний грай летит окрест  
там, где стаи чайчи порхали.  
И всё дальше море от земли,  
лишь солёный ветер полон влаги,  
и на дальнем рейде корабли  
треплет как игрушки из бумаги,  
и опять пускается в бега,  
и мольбам о помощи не внемлет.  
Море оставляет берега.  
Или боги оставляют Землю...

\*\*\*

Я раздумывала нехотя:  
ехать на море, не ехать ли?  
Воздух утренний дрожал,  
что тут думать – поезжай.  
От волнений приснопамятных  
есть одно спасенье – маятник.  
Ходит по морю волна,  
и смываются – сполна  
все сюжеты вечной повести, –  
чьи-то радости и горести, –  
всё уносится волной.  
Дышит море за спиной.  
Остывает долго,  
медленно.  
Я изнаночными петлями  
повесть новую свяжу,  
и изнанку покажу...  
Вдруг и вправду станет легче нам?  
Где-то плачет птица певчая,  
птицу иволгой зовут...  
Справа бак, а слева ют.  
Ну не мне тебе рассказывать,  
как причины в узел связывать,  
чтобы следствие – извне.  
По кочующей волне



носит снасти корабельные,  
 где-то рядом колыбельную  
 отпевают – не поют,  
 слева бак – а справа ют,  
 слева грешник – справа праведник...  
 Ходит-бродит вечный маятник,  
 называется – волна.  
 Всё забудется сполна,  
 только лишь дойдёт до дна...

### НАС ПОМНЯТ СТАРЫЕ ДВОРЫ

Нас помнят старые дворы...  
 Ты верь.  
 А главное – надейся.  
 Все параллельные миры  
 пересекаются в Одессе.  
 Все параллельные миры  
 пересекаются однажды,  
 меняя правила игры,  
 как курсы кораблей бумажных.  
 Меняя бранные тела,  
 как будто съёмные квартиры,  
 и неотложные дела  
 и ложные ориентиры.  
 Меняя местность и места,  
 галёрку в цирке – на арену,  
 лишь остаётся пустота  
 незыблемой и неизменной.  
 Для новых жизненных путей,  
 для перевоплощений новых  
 меняемся,  
 а к пустоте  
 привыкли, собственно, давно мы.  
 И снова в путь.  
 И снова в бой.  
 В былых боях поднаторевши,  
 всю жизнь сражаешься с собой,  
 беспомощным и постаревшим.  
 А может, всё ж передохнём,  
 чтобы совсем не передохнуть?  
 Перестираем всё бельё  
 и на ветру оставим сохнуть.  
 Чердачное окно открыв,  
 увидим кран, платан, качели,  
 все параллельные миры  
 и точку их пересечений.





## МОРЯЧКА

Смотрю, как девочка смешная  
сидит на берегу морском,  
и отчего – сама не знаю,  
подкатывает к горлу ком.  
Такая близкая...  
Чужая.  
Из-под ладошки-козырька  
глядит, как будто провожает  
надолго в море моряка.  
Семь футов пожелав под килем,  
рукою тонкою взмахнёт.  
Глаза у девочки такие...  
Туманность.  
Море.  
Синий лёд.  
Смотрю, как девочка-морячка,  
сидит на камне у воды,  
и суетятся волны-прачки,  
стирают слёз её следы.  
И ни следов, ни слёз не жалко...  
И я тебя вот так ждала,  
когда была твоей русалкой,  
твоей возлюбленной была.  
Молилась, стоя у причала,  
пила туман густой, как дым...  
Тебя мне море возвращало  
седым, усталым, но... живым.  
Здесь всё (почти) осталось прежним:  
прибрежный камень, мол, причал,  
и смотрит девочка с надеждой,  
и вьётся чайка у плеча.  
Над жёлтым камнем встрепенётся  
девичья тонкая рука.  
Глаза – два синих маяка.  
Он обязательно вернётся...

## ТЕЛЬНЯШКА

*Вере Зубаревой*

Не платье, не рубашку,  
не тысячу причуд,  
обычную тельняшку  
прислать тебе хочу.  
В ней белые страницы,  
а между синих строк,  
гуляет и резвится  
одесский ветерок.  
В ней бело-синей рябью  
играет детский сон,  
и якорь – лапка крабья,  
и надпись: *Ланжеронь*.



Там утренним уловом  
доволен стар и млад,  
на улице Свердлова  
троллейбусы шумят.  
Асфальт расчерчен мелом...  
Через десятки лет  
летит строкою белой  
акациевый цвет.  
Маршрут туда-обратно  
на память заучу,  
на улице Канатной  
следы твои ищу.  
Соцветия-подвески,  
сирень и виноград...  
У дворигов одесских  
особый аромат.  
Чуть пристальней взглядеться –  
и, словно паруса,  
плывут, плывут из детства  
родные голоса.  
Весёлые ромашки  
качает ветерок...  
Строка к строке – тельняшка,  
Одесса – между строк.

#### ДЕВОЧКА И МОРЕ

Девочка на солнечном берегу,  
раковина судеб в ладонях детских,  
слышится в дыхании моря гул,  
улочек и дворигов гул одесских.  
За плечами город – мечта моя,  
корабли в порту якоря бросают...  
Девочка и море.  
И где-то я  
по песчаной кромке иду босая...  
Девочка и море.  
Июньский день  
светом рассыпается в рыжих прядях,  
и круги расходятся по воде,  
и ладошки детские волны гладят.  
Девочка и море – сюжет простой,  
солнце луч косою на причал бросает,  
и уходит в плаванье за мечтой  
синяя шаланда под парусами.  
Девочка и море – туман и свет.  
Горняя слеза в золотом окладе.  
На песке теряется чей-то след,  
и ладошку детскую волны гладят.  
Раковина судеб поёт в руках,  
синяя шаланда вот-вот отчалит.  
Девочка и море.  
И облака.  
И дыханье города – за плечами.

# ЕКАТЕРИНА ЯНИШЕВСКАЯ

## НА ЭТАПЕ СЛУЧАЙНОГО ВОЗГОРАНИЯ

\*\*\*

время заполнить нечем. в пиджаке не покуришь за гаражами.  
я жду неизвестно чего: возвращения Бога, атомной бомбы, случайной гибели,  
но нарочно тебе не звоню, моя грустная госпожа.  
ибо голос пропал, ибо руки с утра дрожат,  
а хронический тремор, увы, выдает даже больше,  
чем положено знать обо мне кому бы то ни было.

город лежит на груди змеёй, утренний смог глаза заволок пеленой,  
кофе арабика мерзок, и чёртовы спамеры снова загадали ящик.  
а хочется рвать на себе кафтан, хочется пить и петь, штатмповать стишки,  
хочется, раздувая лёгкие, как целлофановые мешки,  
проорать: ну же, будь со мной. пусть я гол, пусть бывал в переплёте,  
но разве же я не хорош, когда я – настоящий?

\*\*\*

он спрашивает у неё: скажи, а любить тебя – это грех?  
она говорит: разве можно любить огню цельную глыбу льда,  
разве можно домашнему зверю отбиться от рук,  
генералу пойти против всех?  
он говорит: значит, да? она вторит ему: значит, да.

он спрашивает у неё: скажи, а желать тебя – это боль?  
она говорит: больно ли мёртвым глазам  
впервые увидеть потусторонний свет,  
больно ли сумасшедшему снова и снова переживать юдоль?  
он говорит: значит, нет? она вторит ему: значит, нет.

он спрашивает у неё: скажи мне, мы оба обречены?  
она говорит: а разве обречены не выстоять в холода  
диковинной красоты цветы,  
экзотические растения малой величины?  
он перебивает её: так значит, обречены?  
она вторит ему: значит, да.



\*\*\*

плохие письма, плохие сны. чур меня, чур.  
 твой роковой прищур  
 побуждает меня признать:  
 с нами что-нибудь приключится  
 и то ли выпито уже чересчур,  
 то ли я вспомнил твои потаённые имена,  
 демоница

татуирована адским огнём –  
 на лопатках горят цветы,  
 креатура Бодлера, Les Fleurs du mal.  
 если бы ты была золушкой,  
 я не смог бы избавиться от мечты:  
 посмотреть, как в лодыжки твои вонзится  
 опасный хрусталь.

когда разобьётся прекрасная туфелька,  
 и ты упадёшь лицом в грязь,  
 испачкав роскошный бархат,  
 чем себя от души измучаешь,  
 я руки не подам, а напротив,  
 как дёрзкий ребенок, смеясь,  
 расскажу всем светилам  
 об этом нелепом случае.

демоница моя, да на привязи,  
 чистый шёлк –  
 губы и щёки твои. узок  
 маленький чёрный зрачок  
 демоница моя, сделай зубами щёлк-щёлк,  
 овладей мной в ночи, укуси меня за бочок.

\*\*\*

привет от моего дна твоему дну.  
 как там приветствовал Цезарь  
 на смерть идущих?  
 ничего не увидела ведьма в разводах кофейной гущи,  
 значит, нам снова придётся ещё одну вечность  
 делить с тобой тишину.

значит, снова придётся друг другу рассказывать сказки,  
 описанием красивых деталей  
 сокрывать неприглядную суть.  
 о таком мы мечтали?  
 такого хотели?  
 оставим-ка эти отмазки,  
 ведь иначе и мне, и тебе будет сложно уснуть.



привет от моей тёмной стороны луны твоей бесконечной досаде.  
привет от моей фатальной кометы твоему природному катаклизму.

каждый мужчина хранит в себе некий прообраз маркиза де сада.  
в каждой женщине есть стремление к мазохизму.

\*\*\*

он сказал ей: в первую ночь приноси нож,  
бельевые верёвки и шёлковые платки,  
любовь должна подчиняться хлысту,  
иначе она есть ложь.  
иначе сойдёт на нет. ведь прощение за грехи  
не полагается тем, у кого горький мёд во рту.

он сказал ей: во вторую ночь приноси вино,  
приноси коньяк, ковёр из звериных шкур  
и беличий хвост, и заячью стыдобу.  
любовь должна подчиняться хлысту,  
быть шальной, удушающей, как телефонный шнур,  
тяжкой, будто осиновый кол, что несёшь  
на своём горбу.

он сказал ей: в третью ночь приноси патроны,  
в тумбочке – револьвер системы смита и вессона,  
пригласим всех знакомых богов –  
Персефону, Аида, Харона  
будем крутить барабан, устроим  
поле чудес.

\*\*\*

если я что и понимаю в любви –  
это так же странно, как читать в новостях о скутере,  
выбросившемся на берег и раздробившем кому-нибудь спину,  
как видеть ампулу с димедолом, присыпанную сахарной пудрой,  
как делать прямой массаж сердца, уже успевшего вымокнуть в формалине.

если я что и понимаю в любви – это будто хирург распарывает брюшину  
и, видя сто метастазов, зашивает обратно, но без старания,  
потому что агония и так близко,  
а в гроб можно класть абсолютно любое тело.  
нет большей пропасти, чем между женщиной и мужчиной  
на этапе случайного возгорания...  
выжил, целый – уже полдела.

если я что и понимаю в любви – это всё равно что  
за оголённые провода схватившись, вопить от внезапной боли,  
однажды встретившись с самим Богом,  
перевернуть его книжные имена...



я люблю тебя слишком созвучно с *даю тебе право*  
*делать со мной*  
*всё что советъ тебе позволит*

*невзирая на...*

\*\*\*

даже если всё скатится в бездну, зловещие тартарары,  
 приходи – я в кафе на углу, так же балуюсь чаем имбирным,  
 точно так же мечтаю однажды отведать Крым,  
 или же побродить по Стамбулу, оттуда – паромом в Смирну.

я – эстет, консерватор, мне место – музей Афин,  
 где упрятаны древности, память былых торжеств,  
 озверевший атлант или же обрусевший дельфин –  
 называй меня так. обойдёмся без происшествий,

обойдёмся без ревностей – к чему мне такая честь,  
 мне – избегающему неоправданных прегрешений?  
 помни, милая, если некто считает, что у него всё есть,  
 непременно наступит опасное пресыщение.

вот и бери меня тёплым, обессиленным от обид,  
 я сейчас беззащитен – таким меня не видали.  
 обнажёнными будем учить с тобой заново алфавит.  
 первая буква – алеф.

\*\*\*

ирония всё это время скрывалась в том,  
 что самое нужное слово сказано сердцем, не ртом.  
 можно жить без души. невозможно – с распоротым животом.  
 всадник не ходит конём, как Иуда не ходит крестом.

ирония всё это время пряталась в мелочах,  
 прогнала беса из мелочей, бес свалился, зачах.  
 оказалось, любовь не всегда разглядишь при свечах:  
 вся надежда сгорела в немецких доменных печах.

ирония всё это время сидела в твоём тылу,  
 не давала ходить ноге, не давала лететь крылу,  
 обратилась на тыкву карета, золушка – на золу,  
 и козь блюдо мести остыло, пора подавать к столу.

ирония всё это время скрывалась где?  
 те, кто столь сильно любят, оставят тебя в беде,  
 человек в грязи не тонет, как не тонет судак в воде,  
 начинаешь ценить лампы, когда оступаешь в темноте.



\*\*\*

взрослых не существует.  
нас внедрили агенты системы,  
с прицелом разрушить наше астральное тело,  
с надеждой заставить нас бросить всё то, что хотели,  
всё то, что любили. оставить одно только дело:

не слишком собой кичиться, не выбиваться из массы,  
охотиться за одобрением – репостами, лайками, классами,  
довольствоваться лжеправдами, не требуя лишней гласности,  
кое-как расправляться с настигающими опасностями.

взрослых не существует.  
нас внедрили агенты системы.  
нам вкололи вакцину,  
насильно закончив детство,  
приучили покорно сдаваться,  
исправно бедствовать,  
видя в этом естественные причины.

взрослых не существует:  
в любом уголке планеты  
мужчины плачут как дети,  
женщины плачут как дети.

# ВАЛЕРИЙ СУХАРЕВ

---

## «НА ЗАКОУЛКАХ ЗРАЧКОВ СТОИТ ВЕСНА...»

\*\*\*

дождь под названием пинк фloyd течёт по зрачкам  
улицы поворот с першинкой коньяк агдам по языкам  
вытянутыми не для поцелуев струится влага я тебя отдам

только безносым львам а не подшофе другу точнее сказать  
никому и под твою спину давно промята кровать и искать  
тапочки среди ночи легко сделай овал ногою и можно встать

гроза под названием юрай хип висела над домом  
не давая покоя ни говорящим и ни насекомым  
а поутру ты отвечала своим безнадежным знакомым

мол да стихия ну и что а я гадина подшепётывал а ты  
скажи этим милыми и малым как под грозу запели коты чьи пусты  
желудки были не глядя на то что под ветром плясали кусты

тот вечер погода была урожайная – троллейбус заблудился  
на четырёх стихиях пешеходы сделались пловцами и задубился  
бомжик с рафаэлевским профилем в подвал словно бы провалился

стихия сошла словно бы с девы сняли исподнее колени сведа  
она ждёт продолжения и вот оно не лист каштана пусть глядят  
пучеглазые окна как выгибается изнанка жизни под бормот дождя

\*\*\*

воскресным утром не торопись откидывать одеяло  
потянись зажмурься губы надуй представь что я  
на расстоянии миль и миль делаю то же как мало  
человеку для иной связи надо представь бормот ручья

где чья-то рука наклонив иву нудит её к твоим глазам  
и получается двойная тень – от век и от неё и никого  
вокруг кроме птичьего гама и паучка что всё соскольза-  
ет по розным листьям таращась на мир не ведая ничего





потянувшись и в чём-то сквозящем на солнце ты  
 подумаешь а ведь хороша не вспомнив об авторе строк  
 и не беда ведь и рояль не спрятать в кусты а наготы  
 и подавно и ты как радость Господь и сумел и смог

### ИЗ БЛОКНОТА

ты заснул и проснулся так же вода  
 подкапывает из крана и иная среда  
 подсматривает из-за шторы провода

вечности прикоснулись к плечу  
 я чувствую тебя и не боюсь и парчу  
 занавесок рукою не двину хочу

знать откуда и зачем ты пришла  
 у тебя нет имени и числа ты не зла  
 но на платье пепел а в глазах зола

а ты оказалась вестником подвинув штору  
 легка как воспоминанье сна обо сне и которую  
 из них прикрыть чтобы тебе было в пору

\*\*\*

по дому блуждала нагая мелко переступая  
 тени от ваз с камышом и блики света из-за  
 оперных штор и кошка следом вилась слепая  
 во всю яркость весеннего дня раскрыв глаза

за стеной рычала мужественная музыка вроде рамштайн  
 в ванной исподнее на полотенце сохло морща лицо  
 над выходом на балкон повис унылый кронштейн  
 как худой инженер на карнизе в холодильнике взгрустнуло яйцо

и румяный редис и в дому идут часы настырно как  
 каплет из крана или чьи-то шаги в коридоре больницы  
 а она ходит из комнаты в комнату верный знак  
 что ждёт чего-то или кого и ей могут присниться

и привидеться привидения падающие самолёты война  
 тогда она вздрагивает но не просыпается либо же  
 что-то иное когда рука меж ног но в этом она вполне вольна  
 безлюбовье фантазии и кто-нибудь это сделал уже

карая головушка а бывало вдруг печь кренделя начнёт  
 позовёт соседку на чай и рюмочку чтобы не тосковать  
 с компьютером ей не нужен кто-то ни магнат и ни жмот  
 и утренний кофе с крекером ей тож не нужны в кровать

ей бы любви и чуткого уха – ан и нет этого за окном  
 крыш плоский холод даль угнетённая солнцем и пустота  
 воздуха и вдалеке ещё какой-то дом словно гном  
 а дома ночами луна на полу от евроокон и креста



тень не бывает лишь сетки от паразитов пространства  
она устала книгу раскрыв но прежде всё ж привела  
в порядок ногти милая слабая женщина всегда-то странствуя  
фантазиями которым не счесть числа и акация зацвела

### ТАНГО

музыка свилась в улитку остались  
траурные па поддержки суета  
ног и плечей а в остальном – усталость  
и какая-то потная мечта

танцор с лицом опереточного мерзавца  
рвёт платье подбородком зияя  
и она закидывает ему ногу за ухо красавца  
извилистая как змея и я

всё это должен видеть и слушать эту  
бесконечную музыку с альтом в соло  
вот колготки танцорши и с этого света  
на тот нет пути купите мне водки и кока-колы

### Т. ДАРШТ

как на чердаке старые книги тлен невыносимый какой-то лом  
мебели старье журнальной бумаги лежит под столом  
который и сам лежит ноги здрав самоварный металлолом

корогазы и примусы без фитилей летучие мыши разлапистые пауки  
в гамаках одиноко засохшие по правилу занемевшей со сна правой руки  
фонарь по левую затем глобус и какие-то грустные сундуки

это детство моё тарашится и юность дурная  
всё это так или иначе с девами былыми напоминает  
лазание по чердакам откуда видать нахальную зелень мая

кого хочешь можно украсть дубль-бемолями  
и мета-метафорами и что-то ещё школами  
мы там проходили не в ногу идя и не нашими голами

в ворота всё устроено было и слава богу  
я пишу тебе это сам не знаю зачем понемногу  
с той на эту жизнь переключаясь из трубы гогу

магогу поздним вечером если увидишь – реши что это я  
это не вопрос жизни и вечности но фрагмент бытия  
и считай что я умею делать колена на манер соловья

вру я не умею признаться испортил меня рок-н-ролл  
но я и арию спеть могу не нужную никому и прокол  
звёздный в вагнеровских небесах это мне приватный укол



\*\*\*

я раскрыл книгу а там буквы всё те же  
какая ещё семантика и третьи планы  
какие улиссы нафиг?.. пошёл на побережье  
и увидел как ангелы падают с аэропланов

в морские пучины море вздуло спазмирующий живот  
неслучайная чайка как была так и висит над водой  
эмблемой мхата и купается косвенный и горячечный идлот  
от горизонта косвенный и руками орудует и на водопоп

к печальным лужам пришли собаки вися  
ушами и брылями и отражались там этим  
а вдоль воды болтался один дядя Вася  
охранник пляжа и уж совсем одинок на свете

а ещё много девушек в парэо летом у моря  
столько хрени происходит разной и цветной что  
можно глядеть в горизонт или напиться с горя  
запахнув на себе футболку словно пальто

не было никакого Васи и иных просто шёл  
вдоль и вдалёку убегающих кустов сирени  
мне было спокойно бейсбольно и хорошо  
а всё это написал не я а какой-то гений

времен и мест и месь времени ему не страшна  
он там сам по себе и пейзаж не меняет цвета  
и тона а на закоулках зрачков стоит весна  
в прозрачном платёшке моею улыбкой согрета

\*\*\*

как выяснилось – жизнь необратимый процесс  
убывания человек ушёл за едой и исчез  
как кот со двора корабль в море жена к другому  
и некому даже плюнуть в лицо дорогое

карты местности перепутались идёшь  
за водкой в ближайший маркет и вдруг  
оказываешься на вокзале где молодежь  
орёт на гитарах цоя макая потных подруг

убывание перспективы ужимание пространства  
пойдёшь на запад придёшь на восток как ни странствуй  
пирожков с собачатиной купишь и пляшку  
менделеевки надо бы рубашку сменить рубашку

и образ жизни но не те года для этого уже  
бегают и озирается чуткая кошечка неглиже  
и такая лужа народа повсюду и некуда  
дётся и ноги от этой жизни вспотели в кедах



инда ещё побредем как сказал аввакум  
может в гоби а иди знай и в азиатский караван-сарай  
занесёт а лучше вообще в удушливый кракакум  
или сусуман просто дыру сам себе выбирай

моя дыра у моря зияет вечерами прощальный свет  
пролетает по окнам модерна и мотоциклет  
харлей разбивает лужу доисторическую где фасад  
улыбался и девушка переходила её на цыпочках наугад

город гениев и идиотов домов с причудами и привидениями я  
готов давно покинуть бы значные эти места дни и ночи  
сменив на то же но в иной географии вопрос бытия  
это не заменит но и иную тоску надо видеть воочию

в моей жизни уже всё произошло кроме смерти  
в авиакатастрофе на дублином проверьте  
по интернету и вдоль улицы висят унылые провода  
ведущие туда куда не достать взором и не ползут поезда

\*\*\*

бодрые старухи и деды в закатном свете июня там  
где проходил ногою для волну я стоят это не нагота  
уже а сухофрукты над морем летит самолёт и на  
побережье падает потом всё это соберут племена

мчс и прочие службы унылый дюраль проводки  
лицо трагедии бесстрастно а мы – на холод легки  
скажем – ну да это ведь где-то там  
а в следующем рейсе уже приготовлены нам места

# ВЛАДИСЛАВА ИЛЬИНСКАЯ

01001

## СОЛНЫШКО

*Лене Миленги*

в карусели песочных  
бесчисленных обещаний  
время тошит печь и щекочет тебя клещами,  
череду вращений смывает волна прощаний...  
и опять качели в парке тебя качают...  
и опять качели в парке тебя качают...  
и опять тебе пять,  
и опять тебе петь и длиться,  
и синице в небе другая синица снится,  
и смешались в неистовой пляске машинки баги,  
и невидимый кто-то старательно фиксит баги...  
вот ещё бы кружок и ещё и ещё и хватит...  
.....  
первый утренний луч заползает на край кровати  
и на тоненькой ниточке рвётся воздушным змеем  
я умею делать «солнышко».  
я умею...

## ГИБРИДНАЯ ЛИХОРАДКА

ваших чувственных пальцев сухое крошево  
не способно сплести дорогое кружево,  
потому, что дешёво – это дешёво,  
хоть всю ночь стирай его, хоть весь день утюжь его,  
хоть одень на дурочку, хоть одень на умную  
хоть надень на голову и ходи по городу –  
никакого золота  
никакого золота  
никакого золота  
никакого золота

## НОЙ

ми кудись пливемо вже багато місяців поспіль,  
 від північних пассатів постійно волога постіль,  
 кожна наша хвилинка минає неначе постріл,  
 залишаючи зранку купу порожніх гільз.

ми навчилися хіба що надійно плести канати,  
 рятувати лише для того, щоб катувати...  
 подивись, як голодний туман поїдає натовп,  
 а крізь димні легені спливає нестерпний біль.

подивись, як за розовий обрій тікає пам'ять,  
 хоч ти пестити її і бавити її роками,  
 як натомість у скроні зростає холодний камінь,  
 що ночами загойдує, тягне тебе на дно...

і коли ми дістанемось царства підхвильних течій,  
 подивись мені в очі без речень, без заперечень,  
 подивись, як у той незабутній самотній вечір,  
 де ми щойно з тобою зустрілись, маленький Ной.

01001

пока эфир расслаивала злость  
 на то, что где-то, что-то не срослось –  
 я просто прожила себя насквозь,  
 обратно замоталась в пуповину.  
 под куполом утробной темноты  
 я стала восстанавливать мосты,  
 которыми вышагиваешь ты  
 на светлую земную половину.  
 моей силлаботоники ока  
 прошла в ушко газетного ларька  
 и, наизнанку вывернув века,  
 заглохла под давлением курсора.  
 мигай же чаще истовый предел!  
 чтоб каждый видел, сколько он успел,  
 как много нам дано достойных дел  
 на родине, в дали от монитора.  
 и будет новый день и новый чат,  
 мы нарожаем яблочных зайчат.  
 нас больше никогда не разлучат –  
 мы станем наконец единым целым.  
 хор пикселей, бредущих между строк,  
 споет нам новый ритм и новый ток.  
 спасибо, правда, господи за то,  
 что подарил и чёрный нам и белый



## ЛАЗАНЬЯ

обычный полдень – серый и пустой.  
пришёл за пастой, стало быть постой...  
а был бы русский человек простой –  
уже давно бы хавал макароны.  
и вот, пока ты тупо там стоишь,  
подумай, из чего ты состоишь?  
великая стоическая мышь  
на рубеже последней обороны.  
ты горд, как чёрт и твёрд, как пармезан,  
ты веришь только собственным глазам,  
глаза тебе показывают зад,  
подставленный любезно для лобзания,  
но сколь ни шурь ощерившийся взгляд –  
ты видишь в нём всего лишь банкомат  
и долог день, и неизбежен ад,  
и застывает памяти лазанья.

## ИГОМАТИКА

мама, я не могу больше  
складывать эти числа:  
80 погибших, раненых 35...  
память встаёт на цыпочки,  
крестится, матерится  
сколько ещё уроков?  
сколько осталось ждать?  
в школе всегда так душно,  
утренним перегаром,  
входит математичка,  
учит своих ягнят:  
данность даётся даром,  
жизнь дается даром.  
минус на минус минус.  
что бы ещё отнять..?  
если отнимут море  
надо подставить сушу,  
если отнимут город,  
надо подставить дом  
главное, берегите  
пишу свою и душу...  
на дом – молиться истово,  
двадцать шестой псалом.

## ЯБЛОНЬКА

*С. Есенину*

пусть бочок слегка подточил червячок,  
кто не точен – неточен во всем  
опирайся качок на моё плечо  
и оно тебя понесёт.



не раздавит май, не сотрёт июнь,  
берегись бесовская стая –  
я тебе устрою такую лунь,  
что сожжёт тебя до хвоста  
и  
на кострище ангелы спяшут твист,  
прорастут полевые маки...  
каждый вскормленный мной  
станет прост и чист,  
будут сытыми все собаки!  
и счастливые мамки детей-сирот  
разберут из горячих точек!  
ну не бойся же, дурочка,  
где твой рот?  
ну давай,  
откуси  
кусочек...

### ВРАГ

*Світанок розплющить нам очі, сестро...*

*А. Хаецкий*

говоришь врагу: я больше так не могу –  
я тебя стерегу, подкармливаю, стригу,  
в голове перемешиваю рагу...  
голова заворачивается в фольгу –  
ни гу-гу.

голова у врага безветренна и пуста,  
не смотря на то, что там что-то ещё оста...  
он хотел было в вязкую муть сигануть с моста –  
досчитал до ста и понял, что слишком стар  
для креста

(от моста на молочной коже остался шов).  
вот тогда-то этот болезный ко мне пришёл...  
мы сидим с ним в обнимку на том берегу реки,  
наблюдая, как размножаются огоньки...  
мы легки...

### ПАНДОРА

она лежит прекрасна и грустна,  
она лежит без отдыха и сна,  
она лежит и смотрит, как волна,  
беснуясь,  
набирает обороты





а под неё стекаются года  
внутри неё полощется вода,  
которая затошит города  
по щучьему  
велению  
природы

утопленников всплывшие глаза  
осмотрят сверху опустевший зал:  
им многое захочется сказать,  
им многое  
захочется  
послушать

сквозь толщу изумрудного стекла  
ворвётся малахитовая мгла  
и от неё родятся Тишь да Гладь,  
которые  
родят  
Другую Сушу

# АЛЕКСЕЙ РУБАН

## ЗАМОК ИЗ ПЕСКА

повесть

*I tried so hard and got so far,  
But in the end it doesn't really matter.  
Linkin Park. In The End.*

На высоте ста метров над уровнем моря на балюстраде своего замка Честер Линкольн, скрестив на груди руки, стоит у ограждения и смотрит вниз. Некоторое время взгляд его направлен в одну точку на покрытой песком почве, а потом он медленно начинает двигаться к тому месту, где вода встречается с сушей, и дальше по океанской поверхности до самой линии горизонта. Тяжёлое свинцовое небо низко нависает над остроконечными башнями, и свежий ветер, предвестник надвигающейся грозы, ворошит перехваченные кожаным ремешком длинные волосы мужчины. В воздухе застыло напряжённое ожидание, и нет покоя мыслям человека на балюстраде в это серое утро.

За его спиной, за сложенными из огромных каменных блоков стенами, есть всё необходимое для спокойной жизни в одиночестве. Замок, стоимость которого исчисляется сотнями миллионов, нашпигован самой современной электроникой, за удовлетворение потребностей его хозяина отвечают последние достижения робототехники, и всё это тщательно спрятано от глаз, потому что ничто не должно нарушать царящую внутри атмосферу. На первом этаже расположена огромных размеров кладовая. Там, в скрытых в стенах холодильных и морозильных камерах, хранится запас пиццы, достаточный, чтобы прокормить одного человека в течение девяноста лет. Благодаря абсолютно безвредным для здоровья консервантам, продукты эти не теряют свежести многими десятилетиями. Здесь же находятся резервуары с водой, сделанные в виде огромных бочек. Специальный состав, покрывающий их стенки изнутри, предохраняет жидкость от микроорганизмов. По обе стороны от двери выстроились ёмкости с вином, сидром и элем. На каменных полках мешки со свечами, запас спичек и другие вещи, необходимые в хозяйстве. В дальнем от входа углу высится поленица дров. Возле неё в стене есть выступающий камень. Если нажать на него, часть кладки отодвигается, открывая доступ к стиральной машине.

Дубовая дверь ведёт из кладовой на кухню, поражающую воображение коллекцией посуды, столовых приборов и утвари для приготовления еды. Главенствующее место в помещении занимает внушительных размеров плита. Тут есть и очаг, в котором Линкольн иногда жарит мясо на вертеле по вечерам.

Небольшой проход отделяет кухню от трапезной. В стенах его вырублено по два окна, одна пара которых выходит наружу, другая же – во внутренний дворик замка. Центр трапезной занимает стол, покрытый длинной белой скатертью. Перед каждым приёмом пиццы Линкольн расставляет на нём серебряные приборы, а по вечерам середину его украшает массивный канделябр. Дополнительное освещение обеспечивают свечи в высоких шандалах, стоящих по углам. Стены трапезной обшиты тёмно-коричневыми панелями, украшенными гравюрами на охотничью тематику. Линкольн не любит сидеть во главе стола, своё кресло с резной спинкой он предпочитает ставить напротив окон, из которых ежедневно может наблюдать заходящее за горизонт солнце – редкий по красоте спектакль, регулярно повторяющийся, но нисколько не теряющий от этого своей привлекательности. Ещё в помещении есть большие напольные часы в футляре из красного дерева – совсем как в одной страшной истории, которую Линкольн читал в далёком детстве.

С противоположным крылом здания трапезную соединяет длинная галерея. На стенах здесь висит несколько картин. Каждая из них – это маленький шедевр, созданный по специальному заказу. В своём замке Честер никогда никуда не спешит, и потому нередко, проходя по галерее, он останавливается возле одной из картин и подолгу стоит на месте, погружённый в свои мысли. В живописи Линкольн выше прочего



ценит сюжет, и ему всегда доставляет удовольствие домысливать изображённое на холсте, придумывать для него предысторию или же представлять, как станет развиваться увиденное им в дальнейшем. Особенно ему нравится полотно, которому он дал имя «Всё в прошлом», так как художник предпочёл оставить своё произведение без названия. На картине пожилой человек сидел на могильной плите на краю маленького, по-видимому, семейного кладбища. Судя по одежде, высоким кожаным сапогам и укрывавшему всё тело плащу, скреплённому застёжкой в виде львиной головы, мужчина принадлежал к дворянскому сословию. В траве возле могилы лежали брошенные перчатки. Набухшее багрянцем солнце догорало над кладбищем, прозрачное синее небо наводило на мысли о ранней осени. Мужчина, которого Линкольн про себя окрестил графом, сидел, вытянув левую ногу и согнув правую, в которую упирался локтём. Подбородок свой он положил на ладонь, и глаза его, устремлённые в никуда, выражали абсолютную отрешённость от окружающего мира. На вид человеку было около шестидесяти, лицо его, изборождённое глубокими морщинами, носило на себе отпечаток ума и властности. Спадающие на плечи, слегка вьющиеся волосы поблекли от длительного пребывания на солнце, и такими же выцветшими были его узкие зрачки. Под глазами мужчины залегли мешки, а левую щёку пересекал уродливый шрам. Линкольн знал, что граф был опытным воином, немало послужившим королю, за что владыка по достоинству воздал своему верному вассалу, позволив ему значительно расширить и без того немалые владения. Человека, на гербе которого львиная голова скалилась на алом фоне, боялись, однако же и уважали, он не отличался беспричинной жестокостью, хотя горе ждало всякого, кто осмеливался встать у него на пути. Искушённый в воинском ремесле, он не чурался и хозяйственных дел и управлял своим доменом с дальновидностью и разумной справедливостью. Граф никогда не пользовался правом первой ночи, не заставлял своих крестьян вступать в брак против воли, не травил их псами потехи ради, хотя известен был случай, когда он приказал подвесить за ребро молодого парня, попавшегося на браконьерстве. Несчастный провёл на крюке около суток, испытывая жуткие муки и не теряя сознания, а потом кость сломалась, и тело рухнуло вниз с двухметровой высоты. Только после этого сеньор разрешил умертвить преступника. Впрочем, по тем временам человек этот мог считаться гуманистом на фоне своих кровожадных соседей, ценивших лошадей значительно больше, нежели простолюдинов.

Надеждой и отрадой графа был сын, мать которого скончалась от тяжёлой родильной горячки. Нельзя сказать, что ребёнок этот рос избалованным, и всё же отец давал ему больше свободы, чем имел сам в детстве. Граф хотел, чтобы сын приумножил то, что достанется ему во владение, поэтому дал мальчику прекрасное образование, гармонично сочетавшее как обучение наукам, так и физическое воспитание. Наследник оправдал чаяния отца, став умным, смелым и целеустремлённым юношей, дипломатичным и искусным в решении различных практических вопросов. Молодой человек был помолвлен с дочерью соседского герцога. Союз этот, естественно, носил политический характер, однако пара действительно выглядела влюблённой и счастливой. Граф уже начал задумываться о том дне, когда он уйдёт на покой, передав сыну бразды правления доменом, но неожиданная, не имевшая видимых причин болезнь юноши, заставила рухнуть все его планы. Однажды ночью молодой наследник проснулся от того, что тело его начала бить жестокая лихорадка. К утру положение только ухудшилось: больного попеременно бросало то в жар, то в холод, одежда его взбухла от пота, все члены трясло как в паучей. К постели юноши были вызваны лучшие врачи королевства. Недуг, под воздействием их снадобий, на время отступил, чтобы вернуться новой вспышкой, ещё страшнее первой. Сын графа бредил, беспрестанно зовя невесту, которая неотступно находилась рядом с ним, и не узнавая её, когда она к нему обращалась. Он сторел на рассвете жаркого летнего дня, так и не придя в сознание. Его похоронили на фамильном кладбище, и после этого старый хозяин несколько дней не выходил из своих покоев. Слухи, не осмеливавшиеся потревожить уединение графа, догадывались о том, что он ещё жив, лишь по редким звукам отодвигаемого кресла. Впрочем, недруги недолго радовались появившейся возможности покуситься на столь желанные земли. В конце концов, граф вернулся к управлению вотчиной и делал это не хуже, чем раньше, однако что-то внутри него непоправимо надломилось. Теперь он подолгу сидел у могилы сына, смотрел в пустоту и думал свои бесконечные горькие думы. Старый воин не отличался крепостью в вере, повидав на веку своим слишком много смертей, заставлявших усомниться в безграничном милосердии Творца, и всё-таки он не мог понять, за что бог наказывал его, отняв то единственное, ради чего стоило жить. Сотни раз он задавал себе этот вопрос и не находил ответа, и богохульствовал в приступах дикого отчаяния. А ещё душу его могильным червем буравило воспоминание о том, что, мечась в бреду, юноша ни разу не обратился к нему, называя лишь имя невесты. Мысль о том, что сын мог за что-то тайно ненавидеть его, порой обжигала графа, вспышкой проносась в сознании, и тогда пожилому мужчине казалось, что



вся картина мироздания готова была в единый миг осыпаться, обнажая холодный блеск сумасшествия.

Линкольну остаётся только догадываться о той тайне, которую молодой наследник графского титула навеки унёс с собой. Он может часами стоять у картины, размышляя о причинах произошедшего, и временами ему начинает казаться, что он наконец-то смог добраться до истины, однако проверить это хозяин замка не в силах. Бывают дни, когда Честер замирает перед каким-то полотном так надолго, что лишь чувство голода заставляет его вернуться к реальности.

Если продолжать следовать галереей по направлению от столовой, то слева можно будет увидеть ведущую на второй этаж широкую мраморную лестницу с фигурами грифонов у основания перил. Напротив неё находится застланный толстым ковром коридор с постаментами, на которых покоятся огромные вазы. Коридор этот ведёт к двери, служащей выходом из замка. На противоположном конце галереи есть ещё два помещения. В одном из них, небольшой комнатке без окон, хранятся различные лекарства и медицинские приборы. Большинство препаратов уложены в холодильных камерах, подобных тем, что расположены в стенах кладовой, остальные же выстроились вдоль длинных полок. Вторая дверь позволяет попасть в гардеробную. Почти всё её пространство занимают массивные дубовые шкафы с одеждой. Кроме них здесь есть ещё только напольное зеркало в бронзовой раме. Климат в этой части планеты стабильно жаркий в течение всего года, поэтому среди вещей Линкольна нет ничего тёплого, за исключением нескольких плащей с меховой подкладкой. В быту Честер предпочитает свободного покроя полотняные штаны и такие же рубахи, преимущественно тёмных цветов. Он не любит, когда одетое стесняет его движения, заставляя отвлекаться от размышлений на досадные бытовые неудобства.

Вернувшись из гардеробной назад по галерее и поднявшись по лестнице, попадаешь на второй этаж замка. Два крыла его соединены точно так же, как и внизу, нет только картин на стенах. Слева и чуть дальше от лестницы дверь, ведущая в зал, где Линкольн занимается физическими упражнениями. На стенах оружейной, как называет это помещение хозяин, развешаны сверкающие доспехи, клинки и щиты. В зале есть подставки, где Честер хранит свои шпаги, и манекен для отработки различных фехтовальных приёмов. Оружейная достаточно просторна для того, чтобы в ней можно было бегать, чем Линкольн занимается каждое утро.

Через небольшую дверь напротив лестницы можно выйти на балюстраду. Здесь Честер проводит много времени, сидя в кресле или же стоя у ограждения. Он дышит чистым океанским воздухом и наблюдает за поразительными картинами, разворачивающимися порой в бескрайнем небе.

Справа от лестницы и дальше по галерее находятся два помещения, к которым Линкольн испытывает особую любовь. Первое из них – это библиотека, зал, до самого потолка заставленный стеллажами с книгами. Каждый высотой превышает человеческий рост; они стоят друг на друге в три яруса, и чтобы добраться до верхних рядов Честер использует длинную раздвижную лестницу. Посреди библиотеки стоит письменный стол Линкольна. На нём находятся канделябр со свечами, книги, с которыми он работает в данный момент, стопка бумаги, перо и чернильница. В ящиках стола хранятся прочие письменные принадлежности и исписанные листы. Линкольн не пользуется авторучками, это достижение цивилизации кажется ему бесконечно нелепым на фоне окружающей обстановки. Книжное собрание замка насчитывает тысячи томов, расположенных в строгом алфавитном порядке. Для того чтобы найти нужный труд, Честеру достаточно заглянуть в солидной толщины каталог, который он также держит в столе. В коллекции Линкольна нет произведений современных ему авторов, самая новая из книг увидела свет около ста пятидесяти лет до рождения её владельца. Здесь нашли место работы выдающихся мыслителей, людей, испытавших множество мирских искушений и пришедших к выводу, что истинная гармония возможна лишь в творчестве и познании. Честер читает религиозные трактаты и жизнеописания великих, исторические хроники и философские эссе. Часто, склонившись над пожелтевшими от времени страницами, он делает заметки на заранее подготовленных листах бумаги, выделяя для себя особо понравившуюся мысль или изречение, к которым возвращается потом перед отходом ко сну. Линкольна не слишком привлекает поэзия, хотя порой он для развлечения составляет небольшие стихотворения на одном из давно забытых языков.

Последнее помещение на втором этаже – это музыкальный салон, который Честер обычно посещает по вечерам. Скрытая за одной из стенных панелей цифровая система хранит в своей памяти десятки тысяч произведений классиков, а удобная навигация позволяет за секунды отыскать необходимую запись. Невидимые глазу колонки, также замаскированные в стенах, создают звук такого качества, что возникает полное ощущение присутствия в концертном зале. Когда снаружи ступают сумерки, Линкольн устраивается в кресле, ставит на расположенный по правую руку столик бокал с вином, закрывает глаза



и позволяет музыке унести себя в те сферы, где презренные материальные ценности ничто не значат в сравнении с сокровищами души. Ещё в салоне есть полки с пособиями по музыкальной теории, пропит с нотами, пианино и лютия, стоящая на подставке в углу возле окна. Честер проводит немало времени, осваивая искусство игры на этом удивительном инструменте, и уже добился определённых успехов. Он исполняет с листа этюды и небольшие пьесы, а иногда позволяет себе импровизировать. Случается так, что ему удаётся найти действительно удачное развитие темы, но он ничуть не жалеет, что рождающиеся под его пальцами звуки не суждено услышать ни единой живой душе в целом мире. Линкольн находит определённую прелесть в том, что музыка, которую он играет, никогда не будет зафиксирована, она появляется и тут же растворяется без следа в воздухе. Будучи одновременно и исполнителем, и единственным слушателем своих произведений, Честер не видит смысла в запоминании каких-либо мелодических ходов, чтобы впоследствии вновь и вновь поражать публику яркой находкой. Каждый раз он садится за инструмент с абсолютно чистым сознанием, предвкушая радость открытий, не представляя, куда приведёт его прихотливая музыкальная мысль.

В конце галереи на втором этаже находится дверь, за которой начинается винтовая лестница. Пройдя по ней, Линкольн попадает в свою спальню, расположенную в одной из четырёх угловых башен замка. Это совсем небольшая комната, где основное место занимает кровать, стоящая в углу наискосок от окна. Рядом с ней прикроватный столик с канделябром, спичками, графином и бокалом. Сюда же Честер кладёт книгу или же сделанные ранее заметки, призванные скрасить внезапно выдавшуюся бессонную ночь. Ещё в помещении есть шкаф для одежды, стул и настенные часы. На одной площадке со спальней расположена туалетная комната, совмещённая с душевой – единственное место, интерьер которого не стилизован под старину. Точно такую туалетную можно найти и на первом этаже в углублении за мраморной лестницей, оттуда же вырубленный в стене проход ведёт во внутренний двор. В центре его посреди аккуратного газона возвышается каменный фонтан, начинающий работать при нажатии встроенной в подножие кнопки, приводящей в действие дренажную систему.

Гуляя по двору, Линкольн редко достигает его дальней части. Именно там находится вертолётная площадка, и установлены основные системы, отвечающие за жизнеобеспечение замка, работу канализации и холодильных камер. Солнечные батареи, питающие сложные устройства, способны удерживать энергию на протяжении нескольких беспросветно пасмурных месяцев, чего на этой широте не случается никогда. Каждый вечер, отходя на покой, Честер оставляет открытыми все двери в замке, за исключением входной. Ровно в четыре утра, в час, когда человеческий сон наиболее крепок, во дворе появляются механизмы, напоминающие гигантских божьих коровок. Совершенно бесшумно они катятся по каменным плитам, проникают в дверной проём и расползаются по сторонам в строгом, раз и навсегда определённом порядке. Роботы эти очищают полы, собирают с них пыль и впрыскивают в воздух специальный состав, способствующий её уничтожению на недоступных участках. Линкольн знает о существовании своих насекомоподобных помощников, но никогда не встречался с ними в реальности. У него нет ни нужды, ни желания спускаться вниз и наблюдать, как надёжно и бездумно выполняют они свой еженощный труд. Замок полностью автономен, все системы его работают безупречно, и роботы-уборщики будут продолжать обходы многие годы спустя смерти хозяина.

По утрам Честер Линкольн всегда просыпается между семью и восьмью часами. Он спускается в гардеробную, переодевается в одежду для гимнастических упражнений и идёт в оружейную, где около сорока минут уделяет физическим нагрузкам. Затем следует омовение и обильный завтрак. После приёма пищи Линкольн занимает место за столом в библиотеке, где проводит два-три часа за чтением и составлением заметок, а потом отправляется на прогулку за пределы каменных стен. Нередко он берёт с собой мольберт и карандаши и рисует своё обиталище с разных ракурсов или же восстанавливает на бумаге когда-то виденные им пейзажи. Особенно ему нравится изображать ту часть замка, где балюстраду венчают две фигуры химер, видимые лишь снаружи. Честер очень придирчиво относится к качеству рисунков и часто разрывает законченную работу, едва лишь бросив на неё взгляд. Самые лучшие свои творения он хранит в специальной папке, но почти никогда не пересматривает их.

Вернувшись назад, Линкольн снова идёт в оружейную, где около часа бегает и фехтует, затем опять принимает ванну, обедает и проводит время в библиотеке. Следует ещё одна прогулка и лёгкий ужин, сопровождаемый двумя-тремя бокалами вина или сидра. Вечерами Линкольн музицирует, слушает классику, а иногда играет сам с собой в шахматы. Спать он по давно выработанной привычке отправляется около одиннадцати часов. Во снах Честер чаще всего видит диковинные места, где он бродит среди гигантских тропических деревьев либо же исследует руины древних городов, свидетелей давно забытых эпох.



Линкольн чужд суете, неторопливо переходит он из зала в зал, с этажа на этаж, не упуская возможности оценить прежде не замеченную деталь одной из картин или необычный цвет неба в окне. Уже более пяти лет человек этот живёт в ничем не нарушаемом одиночестве. И вот сегодня, две тысячи дней спустя начала своего добровольного изгнания, он проснулся с ощущением, что по кирпичикам складываемые основы его мира внезапно дрогнули.

Прошлой ночью впервые за долгое время ему приснилась Джулия, и сон этот был невероятно, до дрожи реалистичен. В видении замок его стоял почти у самого берега океана, а сам он находился на балюстраде. Внезапно вдали Честер заметил чью-то фигуру, неторопливо приближающуюся к нему по водной кромке. Вскоре стало понятно, что это была женщина, а ещё чуть позже Линкольн с изумлением узнал Джулию по белому платью, которое очень давно случайно попало ему на глаза на одной из её фотографий. Когда она приблизилась на достаточное расстояние, чтобы можно было рассмотреть детали, Честер увидел, что девушка шла босиком, сжимая в руке игрушечный совок. Джулия ни разу не взглянула на замок, и Линкольн наблюдал за ней, никак не обнаруживая своего присутствия. Наконец, почти поравнявшись с мужчиной на балюстраде, она остановилась и, присев на корточки у воды, стала с помощью совка сгребать мокрый песок в кучу. Неожиданно зрение Честера словно бы резко обострилось, и он отчётливо увидел её руки и то, что быстро принимало под ними знакомые формы. Вскоре на берегу уже появились окружённые рвом стены, над которыми возвышались четыре заострённые башни. Линкольну вдруг нестерпимо захотелось, чтобы девушка обратила внимание на его жилище и поняла, насколько оно надёжнее и красивее её песочного замка. Он стал звать Джулию по имени, но та никак не реагировала, спокойно продолжая своё дело. Честера охватило беспокойство, он кричал всё громче и громче, до предела напрягая связки, однако внезапно налетевший ветер относил все звуки в сторону. Тогда он повернулся и бросился к ведущей в галерею двери, но на месте её теперь была лишь голая стена. В панике Линкольн побежал назад к ограждению балюстрады с намерением прыгнуть с неё вниз, но, уже почти перевесившись через перила, в последний момент осознал, что расстояние до земли не оставляло ему никаких шансов остаться в живых. Когда же он снова стал на ноги, то увидел, что работа Джулии завершилась. Несколько мгновений она стояла возле своего замка, будто оценивая качество творения, а потом повернулась к нему спиной и двинулась прочь, оставив лопатку возле рва и так ни разу и не взглянув в сторону Честера. Он снова начал отчаянно кричать, и ветер, достигший теперь ураганной силы, мгновенно сплющивал слетавшие с губ бессвязные слова, в то время как фигура Джулии уходила всё дальше. Небо над океаном потемнело и налилось тучами, на воде вскипели буруны. Бурлящий поток хлынул на берег, переполнил ров и захлестнул беззащитный замок. Он устоял, но за первой волной последовала вторая и третья. Одна из песочных стен просела под натиском, дрогнули и стали рассыпаться башни. Одновременно с этим страшный грохот прокатился над головой Линкольна. По балюстраде побежали расширяющиеся на глазах трещины, сверху посыпались обломки. Попавший в ловушку, Честер беспечно метался по сторонам в поисках выхода. Разрушения становились всё сильнее, замок трясся, скульптура химеры, лишившись опоры, пролетела прямо перед глазами мужчины. Рядом с ней рухнул бульжник, способный мгновенно превратить голову в лепёшку. Обезумевший от ужаса Линкольн подбежал кходящей ходуном ограде балюстрады, подтянул на руках своё тело и одним резким движением бросил его вниз. Он падал, слыша, как агонизировал замок, падал бесконечно долго, и когда земля бросилась ему в лицо, из груди его исторгся истошный вопль...

Честер проснулся от страшного удара о камни, переломавшего все кости и заставившего подскочить на кровати. Одежда его промокла насквозь, волосы облепили щёки, выгаращенные глаза безумно вращались. Реальность сна была настолько убедительной, что несколько минут он не мог понять, как очутился в своей спальне в башне рухнувшего замка. Наконец, сознание стало понемногу проясняться. За окном уже начинало светать, тучи сплошь обложили небо, и от этого всё окружающее казалось потерявшим краски. На непослушных ногах Линкольн направился в туалетную, взглянул в зеркало и содрогнулся при виде сведённого страхом лица. Он долго умывался холодной водой, затем вернулся в спальню, залез под покрывало и пролежал так до самого утра в тщетных попытках прогнать привидевшееся, желая забыть и опасаясь повторения сна. В начале девятого он заставил себя встать с кровати, ощущая разбитость во всём теле. Честер натянул одежду и впервые за несколько лет отправился завтракать, минуя оружейную. Аппетита не было совершенно, и Линкольна едва не стошнило, когда он положил в рот верхушку сваренного вкрутую яйца. Он пытался отвлечься чтением, но мозг упорно отказывался сосредоточиться на расплывающихся перед взглядом фразах, раз за разом разворачивая в сознании картины ночного кошмара. Честер спустился в кладовую, нацедил в графин вина и залпом выпил два бокала подряд.



И вот сейчас он стоит на балюстраде своего замка, смотрит вдаль и воскрешает в памяти всё то, что так упорно стремился забыть.

\*\*\*

Честер Линкольн был единственным сыном Майкла Линкольна, миллиардера, главы «Линкольн Индастриз», мирового лидера в области робототехники и электроники. Одной из самых популярных разработок этой корпорации стали так называемые «умные дома», автономные жилища, практически полностью избавлявшие владельцев от хозяйственных хлопот. Вряд ли Роберт Линкольн, дед Майкла, гениальный изобретатель с железной хваткой дельца, представлял себе подобный успех своей компании. Основатель «Линкольн Индастриз», он произвёл настоящую революцию в электронике – уже первые его проекты, главной задачей которых было поддержание чистоты и порядка в помещении без вмешательства человека, отличались очень высокой степенью функциональности и надёжности. Тем не менее, планы Роберта распространялись значительно дальше. Он мечтал о создании жилья, где люди вообще не нуждались бы в выполнении какой-либо работы, и посвящал своей идее огромное количество времени. Линкольн так и не увидел первый «умный дом» – этот проект завершил его сын Джозеф тремя годами спустя смерти отца. Всё в доме, начиная от входной двери и заканчивая плитой, приводилось в действие посредством прикосновения или же путём отдачи словесных команд, причём существовала возможность настраивать приборы на реагирование лишь на заранее запрограммированный тембр голоса. За порядок вплоть до ухода за растениями отвечали роботы, исключалась любая возможность утечки воды, короткого замыкания или возгорания. Владелец дома мог не опасаться воров – система электронного слежения при первых же попытках несанкционированного проникновения внутрь мгновенно блокировала окна и двери бронированными панелями, сканировала физические данные злоумышленника и отправляла полученные сведения на полицейский терминал. Отдельным направлением в деятельности «Линкольн Индастриз» стала разработка домов для инвалидов, позволявшая людям с серьёзными физическими ограничениями жить, обходясь без посторонней помощи. Корпорация давала бессрочную гарантию на свою продукцию, а крайне редко встречающиеся дефекты устранялись с поразительной оперативностью. Как оказалось, мир был полон богатыми людьми, ведь выпускаемое компанией стоило весьма немалых денег, а спрос на «умные дома» оставался неизменно стабильным с момента их запуска в производство. Впрочем, Майкл Линкольн, третий по счёту глава «Линкольн Индастриз», много сделал для того, чтобы оптимизировать цены на свои изделия, создав различные их модификации и расширив, таким образом, круг покупателей. Параллельно Майкл занимался активной работой в области робототехники. Крупнейшим клиентом корпорации стало Национальное Космическое Агентство, использовавшее роботов с логотипом «ЛИ» для исследования других планет. Лучшие умы современности мечтали работать на стремительно захватывающую мировой рынок компанию.

Майклу Линкольну, в точности как отцу и деду, были присущи острый аналитический ум, способность видеть людей, чутьё на высококлассных специалистов и выгодные сделки. Лишь одно принципиально отличало его от предшественников: этот человек неосознанно, но оттого не менее остро жаждал власти. Линкольн не видел нужды в том, чтобы вмешиваться в большие игры больших людей, хотя с его возможностями он мог бы стать весомой фигурой на политической арене. Ему доставлял несказанное удовольствие процесс внедрения в жизни колоссальных людских масс, ведь миллионы по всему миру становились зависимыми от его домов, превращались в их рабов, теряли привычку к элементарной бытовой работе. Существой кнопка, способная одновременно отключить всю продукцию, сошедшую с конвейеров «Линкольн Индастриз», огромное количество сфер деятельности на планете оказалось бы парализованным. Никогда не признаваясь себе в этом сознательно, где-то в глубине души Линкольн всегда мечтал иметь такую кнопку. Всё остальное, богатство и комфорт, служило лишь дополнением к ощущению собственного могущества.

Будучи логиком с холодной кровью, он никогда особенно не интересовался представительницами противоположного пола как сексуальными партнёршами, однако к вопросам брака подходил чрезвычайно серьёзно. Ни о какой любви речь, само собой, не заходила. Линкольну нужна была женщина, в порядочности которой он мог бы не сомневаться, женщина, главной задачей которой было родить ему ребёнка. Иметь наследника для Майкла являлось абсолютной необходимостью. Атеист до мозга костей, он спокойно принимал факт, что рано или поздно перестанет существовать, однако мысль о том, что после его смерти во главе корпорации станет человек чужой крови, повергала Линкольна в ужас. Отец Майкла умер, когда



тому исполнилось лишь двадцать пять, мать ушла из жизни двумя годами раньше. На несколько лет он полностью погрузился в дела компании, отложив вопрос женитьбы на более подходящие времена. Лишь к тридцати, освоившись в роли главы «Линкольн Индастриз», он занялся поисками супруги. Естественно, его потенциальная избранница должна была обладать высоким социальным статусом, поэтому Майкл стал посещать различные светские мероприятия, к которым до этого не питал ни малейшего пристрастия. На одном из таких раутов он и встретил Вирджинию Делсон. Джинни, как называли её близкие, была дочерью Финикса Делсона, владельца сети ювелирных магазинов. Она вряд ли могла претендовать на титул первой красавицы в общепринятом понимании, обычно о женщинах такой внешности говорят «милая». Впрочем, глаза девушки, жесты и мимика настолько органично передавали её природный ум и живость, что это оставляло мало кого из мужчин равнодушным. Линкольн также отметил для себя Вирджинию, к тому же в пользу её кандидатуры говорило и то, что в обществе она была человеком принципов, несмотря на несколько излишнюю любовь к богемным развлечениям. Был и ещё один факт, делавший мисс Делсон заманчивым объектом для молодого миллиардера. Линкольн прекрасно понимал, что не мог подарить девушке романтической любви, и при других обстоятельствах она вряд ли приняла бы его предложение. Однако Майкл хорошо знал Финикса Делсона и был наслышан о его взаимоотношениях с Вирджинией. Делсон, имевший двоих детей, связывал будущее семейного бизнеса исключительно со своим на тот момент восемнадцатилетним сыном, считая женщин неспособными заниматься серьёзными делами. В какой-то степени дочь являлась для него обузой по причине необходимости устраивать её жизнь, как того требовали светские приличия. Конечно же, отец не мог запретить совершеннолетней девушке делать то, что она находила нужным, но при этом он имел определённые рычаги, позволявшие влиять на её поступки. Одно время в элитных кругах активно обсуждался роман Вирджинии с молодым музыкантом из начинающей рок-группы. Неизвестно, обладал ли парень хоть каким-нибудь талантом, да это было и не так уж и важно, ведь средств на продвижение собственного творчества он не имел совершенно. Даже гитару, на которой он солировал, ненадолго оторвавшись от микрофона, ему подарила Вирджиния в честь какой-то годовщины их первого свидания. Делсон некоторое время с нарастающим раздражением наблюдал за этими отношениями. Поначалу он был склонен видеть в них лишь мимолётную блажь богатой наследницы, но когда дочь внезапно заявила ему о своём намерении вступить в брак, терпение его лопнуло. Отец заявил девушке, что в случае подобного замужества полностью прекратит поддерживать её финансово и лишит наследства. Вирджиния, пребывавшая в состоянии любовной эйфории, никак не отреагировала на угрозу. С чемоданом, набитым самыми необходимыми вещами, она переехала в крохотную клетушку на окраине, которую снимал её избранник. Их совместная жизнь продлилась семь месяцев. Вынужденная прекратить учёбу на факультете искусствования из-за отсутствия возможности оплачивать контракт, Вирджиния очень быстро убедилась в бесплодности попыток устроиться на более-менее пристойную работу. Не будучи приспособленной к физическому труду, да и не желая им заниматься, она большую часть времени проводила в квартире, отказавшись от общения со старыми друзьями. Денег, которые её сожитель зарабатывал за кассой супермаркета и нечастыми концертами в маленьких клубах, с трудом хватало на еду и аренду жилья. Опьянение от секса и ощущения собственного бунтарства быстро испарялось под влиянием обстоятельств. Группа топталась на месте, не в состоянии записать демо-версию даже одной песни. В конце концов, Вирджиния всё с тем же чемоданом вернулась в отцовский дом. Неизвестно, о чём она говорила с Делсоном, но несколько недель спустя девушка снова стала появляться в университетских коридорах и на светских тусовках. Внешне она совершенно не изменилась, к вопросам по поводу произошедшего относилась с юмором, отделяясь шутливыми рассуждениями о взбалмошности своей творческой натуры. Впрочем, несколько раз Майкл подмечал в её взгляде затаённую тоску в те моменты, когда она думала, что на неё никто не смотрит. Он никогда не поднимал эту тему в разговорах, его волновала лишь благопристойность поведения Вирджинии и её невмешательство в принципиальные моменты воспитания будущего ребёнка. Что же до молодого музыканта, то он быстро исчез из видимости, благоразумно предпочтя не раскручиваться, делая ставку на известность в качестве бывшего любовника юной богачки. Говорили, что он переехал куда-то на северное побережье и собрал там новую группу, однако желающих проверить эти слухи не было.

Таким образом, Вирджиния была прекрасной кандидатурой на роль жены Линкольна. Отец её не скрывал своей радости от возможности породниться со столь влиятельным человеком, да и для самой девушки в этом браке содержалось немало выгод. Золотая молодёжь, в среде которой она вращалась, в подавляющем большинстве самодовольные и напыщенные существа, мало прельщали Вирджинию как потенциальные спутники жизни. На их фоне Линкольн смотрелся состоявшимся человеком, сильным





и умеющим найти правильную стратегию в общении. Несколько раз они встречались на различных мероприятиях и беседовали. Майкл не торопил события, давая Вирджинии возможность оценить его ум, эрудицию и своеобразный, порой излишне жёсткий юмор. Наконец, он пригласил её на ужин в хорошо знакомый ему ресторан и получил согласие. Они приятно провели время за беседой, а в конце вечера Линкольн сделал девушке предложение. Он не скрывал своих намерений, предельно чётко изложив ситуацию. Вирджиния попросила время на размышление. Майкл был удовлетворён: чутьё подсказывало ему, что ответ окажется положительным. Линкольн рассчитал верно. Не сумевшая отказаться от привычного комфорта во имя чувств, Вирджиния разочаровалась в любви, убедила себя в том, что была на неё не способна. Конечно же, она не собиралась провести всю жизнь в одиночестве, однако теперь определяющим критерием в выборе мужчины для неё стали не эмоции, а уважение. Ей понравилась прямота Линкольна, и через несколько дней она назначила ему по телефону встречу в том же самом ресторане, где и дала согласие на брак. Свадьба была великолепно организованной, однако прошла без излишней помпезности, закономерно ожидаемой от мероприятия подобного уровня. Семейная жизнь супругов Линкольн до рождения ребёнка протекала спокойно и по-своему гармонично. Во многом этому способствовал тот факт, что они не так уж и часто виделись. Майкл целый день находился в главном офисе корпорации, к тому же он периодически отправлялся в длительные поездки, когда возникала необходимость в его личном контроле работы того или иного филиала. В отсутствие мужа Вирджиния занималась собой, играла в теннис, брала уроки рисования, которое любила с детства, общалась с друзьями. Она много читала, следила за происходящим в окружающем мире, поэтому если Линкольн возвращался домой до того, как она засыпала, у них всегда находилось что обсудить. Майкл не слишком охотно разговаривал о деятельности корпорации, впрочем, Вирджинию это мало интересовало. Ни для него, ни для неё секс не играл главенствующей роли, тем не менее, оба получали определённое удовольствие от занятий любовью. Все те рауты, где присутствие Линкольна было обязательным, они посещали вместе. Многие супружеские пары, вступившие в брак по большой любви, могли бы позавидовать их отношениям.

Полтора года спустя после свадьбы Вирджиния забеременела. Поначалу она отнеслась к своему новому состоянию достаточно спокойно, как к некому неизбежному событию. Линкольн был очень заботлив с женой, и даже она не замечала появившегося в нём напряжения, которое рассеялось лишь тогда, когда обследование однозначно показало плод ребёнка. Майкл не разделял уничижительного мнения тестя о способностях представительниц противоположного пола, однако ему стоило большого труда представить себе женщину в кресле главы «Линкольн Индастриз». Благодаря прекрасному уходу и наблюдению лучших специалистов беременность Вирджинии протекала без осложнений, чего нельзя было сказать о родах, во время которых врачам пришлось прибегнуть к кесареву сечению. Как оказалось впоследствии, это отразилось на здоровье молодой матери – она навсегда потеряла способность к деторождению, и никакие усилия маститых медиков не смогли изменить ситуацию. Майкл, вопреки её опасениям, отнёсся к новости достаточно сдержанно. Ему были чужды любые суеверия, и всё же он видел некую благоприятную закономерность в том, что в четырёх последних поколениях семьи Линкольнов рождалось по одному ребёнку мужского пола.

Жизни Вирджинии Линкольн судилось круто измениться дважды. В первый раз это произошло после разрыва с полунищим рок-музыкантом, второй же поворотной точкой стал момент, когда она увидела своего новорожденного сына. В сердце её словно бы открылся потаённый шлюз, и застоявшиеся, казалось, навеки похороненные чувства бесконтрольно хлынули наружу. В один миг она даже испугалась, что ослабленный родами организм не выдержит такого эмоционального наплыва. Вирджиния подняла над головой заходящегося плачем ребёнка, и её вдруг захлестнуло давно забытое ощущение эйфории от осознания того, каким смыслом будет отныне исполнена жизнь. В это мгновение дверь палаты отворилась, и на пороге появился Майкл Линкольн, отложивший запланированные дела и дежуривший в течение всех родов в коридоре клиники. Он сделал несколько шагов по направлению к Вирджинии и замер, неотрывно глядя на младенца. В глазах его она прочитала облегчение, смешанное с каким-то неописуемым торжеством, и тогда женщина отчётливо поняла, что с этой секунды её существование должно быть посвящено тому, чтобы крохотный человек, кричащий у неё на руках, не стал тем, кем жаждал его видеть отец.

Потекали первые дни жизни маленького Честера. Всё своё время мать проводила рядом с ним, даже и не помышляя о том, чтобы прибегнуть к услугам сиделки. Она практически перестала общаться с друзьями, отказалась от тенниса и уроков рисования, забыла, когда в последний раз брала в руки книгу. Впрочем, это совершенно не беспокоило Вирджинию, несмотря на полную перестройку распорядка дня, хроническое недосыпание и волнения, связанные с состоянием малыша. Дети в богатых семействах так же, как и все



остальные, страдают от болей в животе и режущихся зубов, и точно так же порой нелегко определить причину их непрекращающегося плача. Привыкшая к спокойной и беззаботной жизни, Вирджиния неожиданно открыла в себе неизведанные доселе ресурсы, позволявшие стойко сносить все тяготы её положения. К тому же маленький наследник миллиардов семейства Линкольн рос здоровым ребёнком, да и постоянная забота и медицинское наблюдение делали своё дело. Перед сном мать пела ему колыбельные, слышанные в детстве или же вычитанные в книгах. Она рассказывала мальчику смешные считалки про маленьких утят, собравшихся на прогулку втайне от родителей, с удовольствием катала с ним по полу большой разноцветный мяч и водила смотреть на лебедей на озеро в городском парке, естественно, в сопровождении телохранителей. Конечно же, у Честера были самые разнообразные игрушки, а любимым его развлечением долгое время оставалась детская музыкальная система. Она представляла собой столик с откидной крышкой, под которой прятались клавиши. На самой крышке был закреплён сделанный из пластмассы дом, окружённый парком с пластмассовыми же деревьями и цветами. При включении игрушка издавала несложную мелодию, каковых в её памяти хранилось несколько сотен. От играющего требовалось повторить звуковую последовательность, причём каждая правильно нажатая клавиша вызывала изменения на крышке столика. Флюгер на доме начинал вращаться, из дверей появлялись фигурки мужчины, женщины и ребёнка и направлялись в парк, следом выкатывалась собака, между деревьями бегал ёж. Вирджиния, получившая в детстве музыкальное образование, на первых порах помогала Честеру освоиться с клавишами, однако вскоре оказалось, что сын справляется с игрой значительно лучше матери. Увидев это, женщина купила детское пианино, и мальчик стал заниматься с приглашённым учителем. Ему не прочли великого музыкального будущего, но успехи, которые он делал, были весьма неплохими для его лет. Помимо этого, Честер обнаружил склонности к рисованию, причём он со значительно большим удовольствием работал с карандашом и бумагой, чем с электронным планшетом. Два раза в неделю ему давал уроки преподаватель из известной детской школы искусств, также их дом посещали несколько учителей Центра раннего развития. Со всеми ними Вирджиния проводила предварительную беседу, ориентируясь в своём выборе помимо наличия хороших рекомендаций и достойного послужного списка ещё и на внутреннее ощущение. Миссис Линкольн была достаточно умной женщиной для того, чтобы не превратиться в вечно обеспокоенную наседку – она любила сына нерассуждающей материнской любовью, хотя это не мешало ей видеть недостатки своего ребёнка, которые она стремилась всячески искоренять. Родители её казались вполне удовлетворёнными тем фактом, что их дочь всё своё время посвящала семье. Периодически Вирджиния возила Честера в дом бабушки и дедушки, однако близкого контакта у них не возникло. Финикс Делсон был полностью погружён в дела своей фирмы, жену же его, известную светскую даму, рауты и модные показы интересовали значительно больше, чем общение с внуком. Что же касалось самого Линкольна-старшего, то он пребывал в ожидании. Его устраивало, как Вирджиния воспитывала сына: по мнению Майкла, эрудированность и разностороннее образование являлись необходимыми для главы интернациональной корпорации. Линкольн изредка сопровождал семью на прогулках или в поездках в детский развлекательный центр, иногда пытался играть с сыном, но было заметно, что он не очень хорошо понимает, как вести себя с этим маленьким человеком. Майкл относился к той категории мужчин, которые начинают видеть в ребёнке личность лишь тогда, когда с ним можно вести более-менее содержательную и логически выстроенную беседу. Он просто ждал, ждал момента, когда его сын подрастёт достаточно, чтобы понять всю значимость своего предназначения.

Если же говорить о Честере, то сомнительно, чтобы даже его мать понимала, насколько развитой интуицией и чувством такта он обладал с самого раннего возраста. Маленький мальчик ощущал разницу в отношении к себе родных, но не задавался поиском причин. Мир для него делился на две неравные части. К первой относилось то, что происходило в его семье: общение с отцом и матерью, нечастые поездки в дом бабушки и дедушки, прогулки и занятия. Всё остальное, о чём он узнавал из материнских историй, рассказов учителей, теленовостей было для него чем-то полуреальным, существовавшим лишь тогда, когда об этом заходил разговор, и испарявшимся, едва лишь менялась тема. Однажды Вирджиния решила вместе с сыном сопроводить Майкла в его рабочей поездке на Континент. Они провели в Столице неделю, и пока Линкольн-старший занимался своими делами, целыми днями бродили по улицам этого древнего города, любовались его архитектурой, посещали музеи. Тогда-то Честер, уже слышавший от матери пересказы некоторых античных мифов, впервые ощутил реальность и многообразие мира, который он до этого воспринимал почти как сказку. Мальчик смотрел на изображения героев и богов на вазах, и на него внезапно нахлынуло ощущение, что жизнь его являлась всего лишь каплей в безбрежном океане человеческих судеб. Это было именно ощущение, а не чётко оформленная мысль, для



такого он был ещё слишком мал, и по возвращению домой оно исчезло, чтобы вернуться позже уже в виде осознанного убеждения.

Вирджинию несколько беспокоило то, что её сын не испытывал практически никакого желания общаться со сверстниками. Правда, тому существовали совершенно объективные причины. Их семья принадлежала к узкому и обособленному кругу, да и дети, с которыми Честер изредка встречался в игровом центре, явно уступали ему в развитии и потому не вызывали интереса. Несколько раз он побегал с ними, играя в пиратов или космических захватчиков, но подобные забавы не могли увлечь его надолго. Линкольн-старший спокойно реагировал на одиночество своего ребёнка. Сам он не имел в жизни ни единого близкого друга, общаясь в основном с подчинёнными и многолетними деловыми партнёрами.

Время, свободное от развивающих занятий с учителями, уроков музыки и рисования Честер проводил с матерью либо же за книгами. Мальчик прогрессировал поразительно быстро как читатель: от незатейливых сказок он перешёл к мифам и легендам разных стран, а потом и к произведениям, предназначенным для детей на три-четыре года старше, чем был он сам. Поначалу Вирджиния старалась контролировать увлечение сына, но вскоре оставила это занятие, периодически добавляя на полки очередную порцию новых книг и давая мальчику возможность самостоятельно делать выбор. Как-то она подарила Честеру детскую энциклопедию, и теперь, сталкиваясь на одной из страниц с незнакомым словом, он искал его значение, а потом объяснял ей своими словами.

Шло время. Честер вот-вот должен был идти в школу, и Вирджиния, не испытывая давления со стороны мужа в вопросах воспитания, начала понемногу забывать пережитое в родильной палате. Конфликтов в их семье не возникало в принципе – каждый занимался своим делом, и казалось, что так будет всегда. Одним тёплым майским вечером незадолго до семилетия сына Майкл Линкольн, вернувшись домой, сообщил, что в ближайшие дни собирался посетить вместе с Честером главный офис корпорации. Новость эта не вызвала у мальчика особого энтузиазма: деятельность отца была для него частью второго, ирреального мира. Он привык к механизмам, которые окружали его в собственном доме, и особо не задумывался о них, хотя отец очень часто говорил ему о роли, которую они играли в жизни людей. Тем не менее, у него не могло возникнуть и мысли о том, чтобы отказаться – воля родителей являлась для Честера абсолютным императивом, к тому же он никогда не слышал, чтобы их мнения по какому-нибудь поводу расходились. Маленький Линкольн жил в своём маленьком мире, где были только одни правила и одна дорога. Все проблемы и трения, о которых он читал в книгах, по-прежнему оставались для него атрибутами несуществующей жизни.

Два дня спустя длинный чёрный автомобиль подвёз Майкла и Честера к одному из многочисленных, разбросанных по всему миру заводов «Линкольн Индастриз». Отец показывал сыну конвейеры, на которых собирались роботы, лаборатории, где тестировали экспериментальные модели, рассказывал о том, как сложно организован весь процесс производства. Затем они поехали в главный офис Линкольна – двадцать пять этажей сверкавших на солнце стекла и металла. В вестибюле их встречал громадный экран, на котором демонстрировалось, как продукция «Линкольн Индастриз» используется в самых различных сферах жизни человека. Мальчик внимательно смотрел на то, что ему показывали, и слушал объяснения отца, однако увиденное никак не затрагивало его чувств. Роботы были частью реального мира и вряд ли могли стать в его глазах хоть ненамного привлекательнее от того, что он мог наблюдать, как их собирают. На лифте они поднялись на самый верхний этаж, где располагался рабочий кабинет Майкла, помещение, напущенное самой передовой электроникой. Чуть дальше по коридору находился зал заседаний. В этом месте верхушка корпорации собиралась для решения вопросов особой важности. Одну из стен зала полностью занимало огромное бронированное стекло, открывавшее головокружительный вид на раскинувшийся внизу город. Ещё здесь был демонстрационный интерактивный экран и длинный стол с двумя рядами чёрных кожаных кресел. Лишь одно из них, стоящее во главе стола, отличалось от всех остальных какой-то особой внушительностью. Линкольн-старший подвёл сына к стеклянной стене, положил ему руку на плечо и так они некоторое время неподвижно стояли, думая каждый о своём. Потом Майкл развернул мальчика в сторону своего кресла, указал на него и произнёс: «Когда-нибудь ты сядешь сюда и поймёшь, как это прекрасно – знать, что такой большой город не может жить без того, что ты ему даёшь каждый день». «Да, папа», – только и мог ответить Честер, не умея, да и не желая выразить всё то, что он испытывал в тот момент. Роботы, автономные дома и даже космические корабли совсем не казались ему прекрасными – герои его книг жили, радовались и совершали подвиги, обходясь без подобных вещей. Мальчик не мог ответить иначе, так требовали правила мира, в котором он существовал, но это вряд ли могло обмануть его отца. В двух словах, сказанных сыном, Линкольн-старший услышал всё то,



что так старался скрыть Честер. Майкл молча взял ребёнка за руку и повёл его через двери зала заседаний к лифту. На протяжении всей обратной дороги он не произнёс ни слова, а дома отослал мальчика в его спальню, а сам закрылся с женой в своём рабочем кабинете, находившемся в другом крыле. Оставшись в одиночестве, Честер сразу же разделся и, не зажигая света, лёг в кровать. Он понимал, что отцу не понравилось сказанное им, но почему так произошло, он не знал. Честеру вдруг пришло в голову, что до этого он никогда не думал, чем хотел бы заниматься. Ему нравилось играть на пианино и рисовать, но он совсем не мечтал стать известным музыкантом, концерты которых показывали по телевидению, или художником, чтобы выставлять свои картины в музеях. В его книгах описывалось множество интересных профессий, но ни разу Честеру не приходило в голову примерять их на себя. Самое же ужасное заключалось в том, что ни мать, ни отец не предупредили его, что ему придётся так рано выбирать своё дело. В конце концов, детское, пусть и не по годам развитое сознание Честера не выдержало груза этих мыслей, и он начал плакать, натянув одеяло на голову, чтобы его случайно не услышали родители. Так он и лежал в темноте спальни, проливая слёзы, ощущая бессилие и вину перед взрослыми, а потом незаметно сам для себя заснул, в то время как в противоположной части дома развивалась ещё одна драма.

Едва зайдя в кабинет, Линкольн начал рассказывать жене о событиях прошедшего дня, и она поймала себя на мысли, что никогда раньше не видела его в таком взвинченном состоянии. В итоге Майкл заявил, что всё дело было в занятиях музыкой и рисованием, и потребовал их прекратить. Вирджиния старалась оставаться спокойной и рассудительной, но все её доводы по поводу возраста ребёнка, в котором он просто не мог понять некоторых вещей, разбивались о раздражённость мужа. Тогда она сказала, что сама поговорит с Честером, и вышла из кабинета. Вирджиния понимала, что ей было необходимо успокоить сына, и в то же время она нуждалась в передышке, чтобы привести в порядок нервы и продумать, как вести дальше диалог. Она тихо зашла в спальню мальчика, зажгла ночник и осторожно убрала одеяло с головы спящего. Даже во сне лицо Честера оставалось напряжённым и сосредоточенным, словно бы он не переставал о чём-то размышлять, и Вирджиния заметила на его щеках ещё не высохшие дорожки от слёз. Внезапно её охватила острая жалость к сыну, как и она, ставшему заложником общества, а вслед за этим пришла ненависть. Она расправила одеяло, выключила свет, бесшумно покинула спальню и направилась к кабинету Линкольна. Когда она вошла, Майкл сидел спиной к двери за своим портативным компьютером, но какое-то странное ощущение заставило его повернуться при появлении жены. «Ты ещё хуже, чем твои роботы, у них, по крайней мере, нет детей», – отчеканила Вирджиния, глядя прямо в глаза Линкольну, резко повернулась и вышла, не дожидаясь реакции. Ту ночь они оба провели вне супружеской спальни. Майкл устроился на софе в кабинете, а Вирджиния нашла место на диване в детской. Ей долго не удавалось уснуть, и незадолго до того, как нырнуть в забытё, она внезапно вспомнила, как совсем маленький Честер, никогда до этого не видевший обыкновенной двери, спросил у неё, что это такое, обнаружив её изображение на картинке в какой-то книге. Вирджиния подумала, что автоматические двери, производства компании её мужа, имели один неоспоримый недостаток – ими нельзя было громко хлопнуть, выходя из помещения. Это была последняя мысль женщины перед тем, как сон поглотил её сознание, чтобы хотя бы на некоторое время избавить его от мучительных раздумий.

Произошедшее тем вечером выглядело столь непривычным для семьи Линкольн, что на следующее утро все трое чувствовали себя неловко. Завтрак прошёл в молчании, и, едва покончив с едой, Честер поспешил в свою комнату. Было воскресенье, день свободный от занятий, поэтому мальчик мог распоряжаться своим временем как хотел. Как обычно, он забрался с ногами в угол дивана в компании с очередной книгой. Больше всего ему хотелось как можно дальше убежать от пугающей реальности в мир фантазий. Но не успел он прочесть и трёх строк, как дверная панель отошла в сторону и на пороге появилась Вирджиния. Она подошла к дивану, присела рядом с сыном и обняла его. Честер прижался к матери, всем телом впитывая исходившее от неё ощущение защищённости, она же старалась подобрать слова, которые были бы способны объяснить маленькому мальчику происходящее в мире взрослых. И когда Вирджиния уже готова была произнести первую фразу, в дверном проёме внезапно возникла фигура Майкла. Женщина почувствовала, как напрягся под её рукой Честер. Она подняла глаза на мужа и с удивлением увидела на его лице неуверенность. Каким-то вихляющим шагом он приблизился к жене и сыну, опустился рядом с ними и вдруг положил руку им на плечи. Они сидели в полной тишине и смотрели, как падающий в окно солнечный луч весело разбивался о стекло книжного шкафа. Больше никогда они не вспоминали о произошедшем, хотя Майкл и извинился перед женой за свою реакцию, признав, что слишком много ждал от ребёнка в возрасте Честера. Жизнь в доме Линкольнов потекла как и раньше. И всё же эти события что-то изменили внутри мальчика. Он всегда ощущал, что в реальном



мире для него есть только одна дорога, но воспринимал её как непреложную данность. Отныне где-то глубоко в душе у него поселилось чувство, что этот путь не принесёт ему счастья.

Осенью того года Честер пошёл в школу. То было элитное заведение, где учились исключительно дети привилегированных родителей, что, однако, не предполагало для них никаких поблажек со стороны учителей. В школе царил непререкаемая дисциплина, а требования к знаниям учеников отличались особой строгостью. Всё это, впрочем, никак не смутило Честера, привыкшего к интенсивным занятиям. В школьную жизнь он также вошёл без особых проблем. Мальчик не слишком стремился налаживать тесные контакты с одноклассниками, они же, подсознательно чувствуя его отстранённость, не донимали маленького Линкольна излишним вниманием. Можно было бы сказать, что для Честера ничего принципиально не изменилось, если бы не знакомство с Эндрю Греем. Сын крупного промышленного магната, он обожал бейсбол, видеоигры и чтение. Последнее и сблизило его с Честером. Однажды учитель в их классе спросил, чем они любят заниматься в свободное время. Большинство называли всё те же видеоигры, мультфильмы и спорт. На этом фоне Честеру было неловко говорить о своём увлечении, и тем сильнее оказалось его удивление, когда Грей заявил, что очень любит читать. На перемене Линкольн, превозмогая робость, подошёл к однокласснику и спросил, какие книги ему нравятся. Выяснилось, что оба предпочитали античные мифы и истории про Волшебника из Зелёной Страны. С этого и началась их дружба. Для Честера подобные отношения стали чем-то совершенно новым, он просто не знал, как должны вести себя друзья, если не считать информации, почёрпнутой из книг. Тем не менее, генетический опыт, накопленный поколениями предков, сделал своё дело, и мальчик с радостью погрузился в неизведанный доселе мир.

Теперь после уроков и в выходные дни Линкольн и Грей много времени проводили в гостях друг у друга. Они часто делились прочитанным, но ещё больше им нравилось придумывать игры, в которых они продолжали и развивали знакомые истории. Вначале разрабатывался сюжет, потом распределялись роли (как правило, по две-три каждому) и обсуждалась экипировка. Последнее заключалось в том, что из своих игрушек мальчики выбирали необходимое по сюжету либо же то, что хотя бы условно могло заменить требуемую вещь. Иногда по ходу игры изначальная канва менялась, в основном потому, что кого-то из друзей переставала вдохновлять выбранная роль. Впрочем, до ссор дело почти никогда не доходило, во многом благодаря покладистости Честера. Часы, проведённые вместе, были для Линкольна самыми долгожданными. Такое счастье он испытывал лишь в раннем детстве, играя с матерью. Вирджиния очень радовалась тому, что её сын наконец-то нашёл себе друга, хотя отношения эти и обнажили некоторые тревожившие её моменты. Она видела, как Честер ждёт появления Эндрю, как огорчается, когда тому приходит время отправляться домой, как ревнует его к мальчикам из бейсбольной команды, в которой Грей играл с пяти лет под влиянием отца, заядлого любителя спорта. Порой Вирджинии приходило в голову, что она совершила ошибку, с детства загрузив своего ребёнка занятиями, пусть даже они и развивали его творческую составляющую. Поздними вечерами, лёжа в кровати одна или рядом со спящим мужем, она вела с собой долгие беседы. В попытках найти оправдание своему поведению, она говорила себе, что в семьях их круга дети с детства ограничены в выборе друзей и свободе передвижений, находясь под постоянным присмотром. Время, которое их сверстники проводят в бесконечных играх, необходимо чем-то заполнять, и можно было только радоваться, что рано проявившиеся способности Честера сделали занятия необременительными для мальчика. И всё же Вирджиния отдавала себе отчёт, что её линия воспитания имела в основе не только логические соображения. Глубоко внутри женщина знала, что таким образом она пыталась сделать всё, чтобы Честер не вырос таким же холодным и расчетливым, как её муж, чтобы показать ему мир прекрасного, мир, альтернативный механической вселенной Линкольна-старшего. Она уже достаточно много сделала на этом поприще, когда однажды, неизвестно почему проснувшись посреди ночи, вдруг поняла, что забыла, каким хотела видеть своего сына. Вслед за этим пришла и другая, ещё более тягостная мысль, ведь теперь она даже не представляла, кем её терпеливый, никогда не жалующийся и отчаянно одинокий мальчик мог бы стать вообще.

Прошло несколько лет. Особых изменений в жизни Честера не происходило, он продолжал учиться в школе, рисовал и играл на пианино, общался с Греем. На каникулах мать всегда брала его в туристические поездки за границу. Нередко к ним присоединялся и Эндрю со своей матерью Джоанной, которая сблизилась с Вирджинией благодаря дружбе их детей. Отец Честера больше не предпринимал попыток заговаривать с сыном о будущем. На данном этапе его вполне удовлетворяли школьные успехи мальчика, по крайней мере, так казалось Вирджинии, надеявшейся, что муж сделал правильные выводы из случившегося инцидента. Честер был лучшим учеником класса, занятия давались ему легко, хотя это никак не



сказывалось на его чувстве ответственности. Он всегда старательно подходил к выполнению всех заданий, зная, какими важными выглядели его результаты в глазах родителей. Честер не спрашивал себя, почему его оценки всегда должны были быть безупречными, это просто являлось одним из условий жизни в реальном мире. За годы учёбы круг его общения несколько расширился благодаря компании Грея. Экстраверт по натуре, весёлый и живой, тот собрал вокруг себя группу мальчиков из своего класса. На выходных они отправлялись в развлекательный центр, где играли в видеоигры или устраивали лазерные войны. Вoley-неволей Честер вынужден был проводить свой досуг с ними, хотя он и не считал это слишком высокой ценой за периодически выпадавшую возможность побыть наедине со своим единственным настоящим другом. Время шло своим чередом, и вот четыре года после поступления в школу в жизни мальчика произошло событие, существенно повлиявшее на его дальнейшее существование и поступки.

На летних каникулах после окончания четвёртого класса Честер с матерью отправился в двухнедельную поездку на Побережье Континента. Один из старых друзей Вирджинии, перебравшийся на Континент, пригласил её с сыном провести время на его вилле. Он показывал им город, где жил, и они с удовольствием гуляли по мощёным булыжником мостовым, заходили в церкви и соборы, сидели на уютных скамейках парков и скверов. Наиболее же интересной частью их отдыха стало посещение знаменитых Прибрежных Замков, когда-то служивших резиденциями королей и знати. Каждое из четырёх увиденных ими мест могло похвастаться своей уникальной особенностью, будь то спиральная лестница, проектировка которой до сих пор оставалась тайной для архитекторов, висячие сады или коллекция скульптур работы гениальных мастеров прошлого. И всё же ничто из этого не могло сравниться по силе впечатления с самым старым замком региона, находящимся в крошечном городке, число жителей которого не превышало тысячу. На всю жизнь Честер запомнил момент, когда их автомобиль остановился возле подъёмного моста. Он вылез из салона наружу, и над ним нависли огромные каменные стены, безмолвные свидетели мрачных событий былых времён. Что-то шевельнулось в тот миг в душе мальчика, странное чувство, невыразимое словами. Они поднялись по мосту и купили билеты в кассе при входе. Кирк, друг Вирджинии, взял на себя роль гида. По-видимому, он в своё время увлекался историей замка, потому что не ограничивался переводом пояснительных табличек возле экспонатов, дополняя их собственными комментариями. Честер переходил из зала в зал, рассматривая старинные гобелены, утварь и оружие, вдыхая воздух, так отличавшийся от того, что был снаружи, и необъяснимое чувство, что возникло у него при входе, крепло с каждой минутой. Внезапно они оказались в большом помещении, в дальней части которого за толстыми канатами замерло собрание восковых фигур. Как Честер выяснил позже, их было пятнадцать, вместе же они представляли сцену бракосочетания молодого короля и дочери властителя соседнего княжества, состоявшегося в замке четыре столетия тому назад. Ничего величественного не было в лице юного монарха с длинным носом и скошенным подбородком, так же как и в смиренно опущенных вниз глазах девушки. На стене рядом с восковой свадьбой висел экран, на котором крутился закольцованный ролик, рассказывавший об обстановке, царившей в стране в то время. Кирк дождался, когда коротенький фильм в очередной раз начнётся с начала, и стал синхронно переводить закадровый текст. Он рассказывал, как мать короля (в экспозиции её фигура стояла чуть поодаль от жениха и невесты, пристально наблюдая за ними) устраивала этот брак, суливший столько политических выгод. К сожалению, новая королева, от рождения слабая здоровьем, прожила всего год после свадьбы, а муж её после этого начал подавать признаки сумасшествия. Тогда его мать объявила о том, что собиралась занять престол в связи с душевным недугом монарха, и в стране началась кровавая смута. Честер ловил каждое сказанное слово, не отрывая глаз от экрана. Король с растерянными глазами и его болезненно хрупкая избранница были на тот момент для него самыми близкими и важными людьми. Пройдёт несколько лет, и повзрослевший Линкольн чётко определит для себя, что его так взволновало в судьбах этих двоих, умерших за века до его рождения. Слушая повествование об их жизни, он подсознательно сравнивал молодую пару с собой и находил немало общего. Как и он, они были рабами реального мира и своего положения, вынужденными поступать собственными желаниями во имя государственных интересов. У них были богатство и власть, им прислуживали сотни слуг (пусть и людей, а не роботов), но всё это не делало их счастливыми. И, тем не менее, существовало нечто, разительно отличавшее царственных молодых людей от маленького наследника миллиардов. Честер чувствовал, что пара эта, пусть и скованная сословными предрассудками и ограничениями, всё же жила лучшей жизнью, чем он. Они принадлежали эпохе, где царила антисанитария, невежество и религиозная нетерпимость, но люди там ещё помнили, что такое честь и благородство. Это было время, когда фанатичные учёные, не имея за спиной никакой научной базы, жертвовали жизнями в поисках ответов на вопросы, кажущиеся нам теперь элементарными, и не жалели об этом. Это было время философов, которые, презрев теологию



ческие догмы и страх перед неизбежным наказанием, призывали людей быть свободными. Пройдут годы, Честер прочитает о зверствах господних рыцарей в землях неверных, о том, как они поступали со своими крестьянками и с какой нечеловеческой жестокостью подавляли мужицкие бунты, но ничто не сможет замутнить в глазах Линкольна образ, что открылся ему в одном из залов древнего Замка на Побережье. Образ этот не принадлежал реальному миру, но был столь ярким и живым, что впервые в жизни, покидая стены замка, Честер понял, что больше всего на свете хотел бы стать рыцарем.

Три дня спустя Вирджиния с сыном вылетели домой на частном самолёте «Линкольн Индастриз». После двухнедельного путешествия жизнь мальчика снова вошла в прежнее русло, однако теперь в ней появилось новое измерение, в исследование которого он с наслаждением погрузился. Начав с адаптированных версий рыцарских легенд, он постепенно перешёл к романам и книгам по истории Континентальных Войн. Мир, что так неожиданно открылся его глазам в старинном замке, приобретал всё больше и больше граней. На некоторое время рыцарская тематика стала главенствующей в играх Честера с Греем, однако Эндрю достаточно быстро пресытился романтикой турниров и поисками священных артефактов, предпочтя более современные моменты. Линкольну было немного обидно, что друг не разделал с ним его страсть, но это чувство вскоре прошло. Будучи ещё ребёнком, Честер уже умел принимать людей такими, какими они являлись, и не считал себя вправе требовать от них меняться в угоду его желаниям.

Однажды в сборнике произведений для детей Линкольн случайно обнаружил небольшой рассказ, заставивший его серьёзно задуматься. Речь шла о мальчишке возраста Честера, точно так же увлечённого всем, связанным с рыцарством. Он был толстым, неуклюжим и замкнутым, одноклассники смеялись над ним, и никто не догадывался, какое благородное сердце билось в столь неказистой оболочке. Как-то зимой, гуляя в одиночестве вдоль берега замёрзшей реки, он увидел своего одноклассника, кричавшего и звавшего на помощь. Оказалось, что какой-то малыш решил пройтись по тонкому льду и провалился в ледяную воду. Главный герой, не раздумывая, бросился спасать ребёнка и всё-таки вытащил его на берег, хотя лёд под его весом ежесекундно угрожал треснуть. Одноклассник, всё это время наблюдавший за происходящим со стороны, оживился и предложил самому отвести трясущегося от холода и испуга малыша домой. Озябший спаситель вернулся к себе и, никому ничего не сказав, лёг на диван и тут же уснул. На следующий день в школе состоялось собрание, где того самого трусливого одноклассника чествовали, как спасшего от смерти маленького ребёнка. Толстый мальчик вначале хотел было вмешаться, но побоялся привлечь к себе внимание, а к концу собрания и вовсе поверил в новую версию случившегося. Придя в класс, он сел за стол, придвинул к себе тетрадь и ручкой стал рисовать в ней рыцаря. Честер сочувствовал герою рассказа, видя в нём родственную душу, однако при этом он понимал, что тот просто не мог поступить иначе. В какой-то момент в голову ему пришла волнующая мысль: а смог бы он сам совершить подобное, рискуя жизнью и в итоге оставшись неизвестным? В течение последующих лет Линкольн неоднократно возвращался к этому вопросу и каждый раз думал о том, что для такого поступка ему вряд ли хватило бы силы духа. Но тогда, столкнувшись с осознанием собственной слабости, он впервые ощутил столь несвойственное для себя раздражение от того, что жил в мире, где услужливые и вездесущие механизмы не оставляли места для подвига.

Родители по разному отнеслись к увлечению сына. Майкл воспринял его как очередную игру, которая рано или поздно прискутит и будет заменена на что-то другое. В конечном счёте, ему достаточно было того факта, что хобби мальчика никак не влияло на его учёбу. Нельзя сказать, чтобы он совсем не интересовался внутренней жизнью своего ребёнка, однако интерес этот был скорее поверхностным. Линкольна-старшего вполне удовлетворяло то, что мальчик всегда выполнял требующееся от него, не доставляя никаких проблем в воспитании, и потому он просто не задавался вопросами по поводу того, что могло скрываться в душе Честера. Вирджиния, прекрасно осознававшая важность доверительных отношений с сыном, напротив, чувствовала, что за проснувшейся в нём любовью к прошлому кроется нечто важное. Проблема заключалась в том, что при всём желании она всё меньше и меньше понимала, что творилось в духовном мире её мальчика. Порой он напоминал ей умудрённого опытом пожилого человека, которого возраст сделал отстранённым от радостей и горестей бытия. Вирджиния ни секунды не сомневалась в том, что Честер любил своих родителей, бабушку и дедушку, любил Энди Грея, как любил читать или музицировать, но это была любовь, исходящая от рассудка, а не от сердца. Человек, наделённый такой любовью, осознаёт важность близких людей в своей жизни, он благодарен им за то, что они существуют, но ему совершенно не нужно регулярно общаться с ними. По большому счёту, ему достаточно знания, что они присутствуют в мире, и всё потому, что подобные люди живут, смотря только в себя. Вирджиния отчаянно пыталась найти причину, по которой её сын стал таким, искала



и не находила ничего. В своё время она сама пережила душевный надлом, и всё же внутри у неё была любовь – любовь к своему ребёнку, к сердцу которого она так хотела подобрать ключ. Как и прежде, она много общалась с сыном, но теперь в их разговорах время от времени стали появляться прорехи, словно бы Честер избегал определённых тем, не желал озвучивать то, что считал только своим. Иногда Вирджиния мечтала, чтобы её ребёнок был простым мальчишкой, в меру ленивым, в меру балованным, предпочитавшим книгам незатейливые забавы со сверстниками. Она ни с кем не могла поделиться своими мыслями, ни муж, ни родители не способны были её понять, и ей оставалось лишь надеяться, что рано или поздно она всё же сможет преодолеть невидимый барьер, окружавший Честера. Время показало, что надеждам этим не суждено было сбыться.

В тот холодный февральский день Честера, которому не так давно исполнилось тринадцать лет, из школы вместо Вирджинии приехал забрать один из шофёров семьи Линкольн. Мальчика это не удивило: обычно мать заезжала за ним сама, но порой дела заставляли её присылать вместо себя кого-то из водителей. Лишь оказавшись дома и обнаружив там бабушку, Честер понял, что произошло что-то действительно серьёзное. Он начал задавать вопросы, его пытались отослать в его комнату, но мальчик был настойчив. В конце концов, бабушка с застывшим лицом сообщила, что Вирджиния попала в автокатастрофу, и сейчас врачи борются за её жизнь. Обладая Честер чуть большим жизненным опытом, он понял бы, что мать его уже мертва, но в тот момент он не способен был размышлять. Его охватило ощущение полной ирреальности происходящего, и он стал трясти головой из стороны в сторону в безумной надежде, что это поможет ему очнуться от кошмара. Бабушка подошла к нему и неловко прижала к себе. Голова Честера на секунду замерла у неё на груди, потом что-то щёлкнуло у него в мозгу, и, теряя сознание, он обмяк под пыгающимися удерживать его руками.

Вирджиния Линкольн умерла мгновенно, не успев почувствовать боли, так, по крайней мере, утверждали эксперты. Это случилось, когда она возвращалась от подруги, жившей в пригороде. У неё ещё оставалось достаточно времени до того, как нужно было забирать сына из школы, и по дороге она планировала заглянуть в одно из своих любимых кафе, чтобы выпить чашку кофе. Вирджиния как раз собиралась вписаться в поворот, который шоссе делало при въезде в город, когда крохотный сосуд лопнул у неё в голове. Потерявшая управление машина с мёртвой женщиной за рулём выехала на обочину, где и замерла, остановленная электронной системой безопасности. Миссис Линкольн никогда не жаловалась на здоровье, и произошедшее, по словам врачей, относилось к тем редким случаям, которые медицина, за неимением более достоверной версии, осторожно объясняет генетической предрасположенностью. Подробности эти Честер узнавал в основном из обрывков разговоров взрослых, но всё услышанное его почти не трогало. За время, прошедшее после катастрофы, он ни разу не заплакал, включая и день похорон, проходивших под тяжёлым грязно-серым небом, когда пронизывающий ветер гудел и выл, заглушая голос священника. Мальчик не замкнулся в себе, поведение его не было вызвано подсознательным чувством вины за смерть матери, просто порвалась единственная нить, связывавшая реальный мир с миром, в котором он мечтал жить. Отныне, и Честер чётко отдавал себе в этом отчёт, у него не оставалось никакого другого пути, кроме того, что предназначала ему судьба в соответствии с происхождением. Линкольн-младший понимал, что жизнь его вскоре круто изменится, и, используя немного оставшееся время, уходил от окружающей действительности, чтобы без помех попрощаться с матерью и с прошлым.

Майклу Линкольну потеря жены нанесла серьёзный удар. Он не любил Вирджинию, да и вряд ли вообще был способен испытывать это чувство в привычном понимании. Для него она стала кем-то вроде давнего партнёра, которого уважаешь и которому доверяешь настолько, насколько это вообще возможно в мире, полном интриг и лицемерия. Линкольн осознавал, что со смертью супруги ему придётся кардинально поменять свою линию поведения по отношению к сыну. Кто-то должен был заниматься воспитанием Честера, следить за его учебными результатами до тех пор, пока мальчик не станет юношей. Тогда, используя уже накопленные знания, он сможет начать приобщаться к деятельности корпорации. Майкл знал, что не мог положиться в этом отношении на семью Делсон. Первую неделю после похорон мальчик провёл в основном со своей бабушкой, и было видно, с каким трудом давалось ей общение. Она горевала по дочери, но эту женщину, с ранних лет привыкшую к безмятежности светской жизни, угнетала сама мысль о том, что ей придётся существовать в иной атмосфере, чуждой и непонятной. Она совершенно не представляла, как вести себя с таким *странным* ребёнком, как Честер, как она сама иногда его называла, общаясь с подругами.

Решение проблемы, так сильно занимавшей Линкольна-старшего, пришло со стороны его тестя. Именно Финикс Делсон предложил Майклу определить Честера в закрытую частную школу для мальчиков





Гейтс-Фоллз, находившуюся в получасе езды от Города. Школу эту, известную как строгой дисциплиной, так и высоким уровнем преподавания, скорее можно было назвать пансионом. Ученики жили там круглогодично, отправляясь домой только на выходные и праздники, и не имели права без специального разрешения покидать территорию. Для многих богатых родителей это была прекрасная возможность получить отдых от своих донельзя избалованных, развращённых деньгами отпрысков. Впрочем, мистера Делсона не отпугивала перспектива того, что ближайšie несколько лет его внук проведёт бок о бок с рано повзрослевшими вырожденками, некоторые из которых к четырнадцати годам уже успели вкушать прелести алкоголя и лёгких наркотиков. Благодаря общению с компетентными людьми, он знал, что в суровых условиях жизни в школе даже самые запущенные экземпляры приобретают черты джентльменов. Ко всему прочему упор в Гейтс-Фоллз делался на точные науки, знание которых было необходимым для будущего главы «Линкольн-Индастриз». Естественно, подобная позиция администрации и педагогов стимулировалась весьма солидной стоимостью обучения. С учётом всего сказанного, Майкл Линкольн нашёл идею превосходной. К разговору с сыном о предстоящей смене места учёбы он готовился долго, опасаясь негативной реакции. К его приятному удивлению мальчик воспринял новость спокойно. Спустя всего лишь две недели после этой беседы, чему активно способствовали деньги и связи Линкольна, Честер прощался со своим классом. В тот день последней в списке занятий шла литература, и учитель, выполняя просьбу директора, выделил оставшиеся до звонка пятнадцать минут на то, чтобы мальчик и его одноклассники могли сказать друг другу то, что хотели. Прощание вышло сухим, ведь Линкольн никогда не был душой компании. Даже ребят, с которыми он проводил время благодаря Грею, хватало лишь на несколько приличествующих случаю банальных фраз. Сам Энди до конца урока не сказал ни слова, и только тогда, когда прозвучал звонок, и школьники один за другим покинули класс, он сделал Честеру знак подождать его. Мальчики устроились в коридоре возле оконного проёма и некоторое время молчали, не зная, как начать разговор. Грей понимал, что в жизни его друга наступили большие перемены, он жалел его, но не мог выразить свои чувства словами. «Ну, мы же будем иногда общаться на каникулах и в Сети», – наконец неуверенно выдал он. Честер кивнул, и внезапно они неожиданно сами для себя крепко обнялись и на время замерли, вложив в этот полудетский-полувзрослый жест горькое сознание того, что им уже никогда не быть вместе. Грей первым прервал объятие, словно бы стыдясь своего порыва, как-то неловко сунул Честеру руку и, резко повернувшись, зашагал по коридору прочь. Линкольн смотрел вслед уходящему другу, и на секунду в груди его что-то дрогнуло, отозвавшись болью. На следующий день двери школы Гейтс-Фоллз приняли в себя нового ученика.

За последующие три с половиной года Честер неоднократно имел возможность проверить справедливость рассказов об этом привилегированном заведении, и, как выяснилось, действительности они отвечали лишь частично. Учителя в Гейтс-Фоллз были профессионалами, знающими и требовательными, но всем им не хватало человеческого подхода к своим подопечным. Между педагогом и классом всегда стоял барьер – в этом заключалась концепция школы. Неукоснительное соблюдение субординации являлось законом и превращало изучение предмета в лишённый эмоционального обмена процесс. Исключение составлял разве что преподаватель литературы, поощрявший индивидуальный подход в анализе произведений. Честер был искренне благодарен этому человеку, без которого вряд ли смог бы в полной мере оценить книги, входившие в обязательный для чтения список. Со всеми остальными учителями Линкольн сохранял нейтральные отношения, выгодные обеим сторонам. Честер полностью устраивал педагогов как не доставлявший никаких проблем ученик, они же интересовали его исключительно в контексте знаний, которые могли дать. Что же касается учащихся Гейтс-Фоллз, то многие из них были весьма далеки от образа вступивших на путь джентльменства, вопреки мнению знакомых Финикса Делсона. С самого детства привыкшие к вседозволенности, лицемерные и циничные, в школе и дома они старательно поддерживали образ пай-мальчиков, используя любую возможность, чтобы вернуться к своим совсем не детским развлечениям. В часы досуга, прогуливаясь на школьном дворе, эти милые подростки вели разговоры, которые повергли бы в шок значительно более искушённых в жизни людей. Честер слушал откровения одноклассников с некоторой брезгливостью, но и не без любопытства, изучая новые для себя грани человеческой натуры. В своём классе Линкольн, как и прежде, держался особняком, не стремясь стать частью давно сложившихся компаний. Покушений на его свободу не предпринималось. В Гейтс-Фоллз не было принято травить новичков (во многом из страха наказаний), к тому же Честер никогда никому не отказывал в помощи, когда речь шла, например, о решении хитроумной задачи по физике или математике. Одиночества он не ощущал. Ему хватало дел, да и среди соучеников попадались те, кто своими взглядами и суждениями вызывал у него определённую симпатию. С ними он мог общаться в свободное время, если, конечно, того хотел.



Каждый из учащихся школы занимал отдельное помещение с достаточно скромной обстановкой. В этих мини-квартирах были кровать, рабочий стол, стул, два вместительных шкафа, один для одежды, другой для книг и прочих учебных принадлежностей, несколько настенных полок. К комнате прилегла небольшая ванная. Справа от входа в стене располагалась панель, ведущая к жерлу мусоропровода. Уборка помещения осуществлялась во время занятий. Кое-кто утверждал, что в комнатах скрывались круглосуточно включённые камеры, хотя справедливость этого предположения выглядела несколько сомнительной. Ученики, возвращавшиеся в школу после выходных или каникул, при входе в обязательном порядке проходили со своими вещами через сканеры. Таким образом исключалась всякая возможность пронести с собой что-либо запрещённое, включая сигареты, алкоголь или наркотики. На каждом из сканеров стоял логотип «Линкольн Индастриз». Во всех комнатах учащихся были портативные компьютеры, подключённые к Сети. Специалисты при помощи электронной системы слежения контролировали все перемещения в виртуальном пространстве, блокируя доступ к нежелательной информации.

Распорядок дня в Гейтс-Фоллз был чётко выверен практически по минутам. Ученики поднимались в семь утра и к семи пятнадцати шли на утреннюю зарядку на стадион, находившийся в двух минутах ходьбы от жилых корпусов. В зимнее время зарядка проходила в спортзале, который примыкал к стадиону. В семь сорок все отправлялись на завтрак. В школе имелось две столовых – одна для старшеклассников, другая для учащихся седьмых-восьмых классов. Меню было великолепно сбалансированным и полностью отвечало потребностям молодых организмов. Занятия начинались в половине девятого. По понедельникам, средам и пятницам в первой половине дня было четыре урока, а в двенадцать тридцать наступала пятидесятиминутка спорта. Школа располагала футбольным и бейсбольным полями, баскетбольной площадкой, залом для игры в настольный теннис. Каждый учащийся был обязан выбрать для себя ту или иную дисциплину. Ежегодно после экзаменов в течение двух последних недель мая проходили соревнования по каждому из видов спорта. При переходе в следующий класс имелась возможность поменять практикуемую дисциплину, однако на протяжении семестра делать это запрещалось. Полчаса после физических нагрузок отводились на принятие душа и переодевание, а потом в два часа дня ученики собирались на обед. После еды полагалось свободное время, которое можно было проводить по своему усмотрению, гуляя по территории или оставаясь у себя в комнате. В двадцать минут четвёртого уроки возобновлялись. Они заканчивались ровно в пять часов, затем наступала очередь работы над домашними заданиями. В это время не разрешалось выходить за пределы своих помещений, впрочем, такое желание мало у кого возникало, учитывая объём учебной загрузки в Гейтс-Фоллз. В семь вечера начинался ужин. Оставшиеся два с половиной часа снова посвящались домашним заданиям. В десять во всех ученических комнатах гас свет, специальные устройства отключали компьютеры. Слабая подсветка оставалась только в ванной. По вторникам и четвергам расписание несколько видоизменялось. Занятий спортом не было, и до обеда учащиеся имели пять полноценных уроков. Два оставшихся проходили сразу после еды. Они заканчивались в десять минут пятого, а потом школьники могли отдыхать до прихода времени выполнения домашних заданий. Для желающих предусматривались несколько факультативных секций, таких, например, как продвинутые компьютерные курсы или обучение игре в шахматы. Остаток дня проходил так же, как и обычно.

Привыкший к упорядоченности своей жизни, Честер с первых же дней легко вписался в этот распорядок. Ему даже нравилось подобное расписание, так как оно до минимума сводило контакты с нежелательными людьми. Из спортивных дисциплин он выбрал настольный теннис – единственный из предлагаемых вариантов, где не нужно было взаимодействовать с командой, а перейдя в восьмой класс, серьёзно увлёкся шахматами. До того он никогда не играл в эту игру, однако быстро начал делать успехи и в двух последних классах занимал первые места на общешкольных соревнованиях, оставляя позади более опытных соперников. Из-за недостатка времени теперь он читал меньше, чем раньше, довольствуясь в основном произведениями, которые изучались на уроках литературы. Музичирование и рисование остались в прошлом, равно как и мечты о славных рыцарских временах. Если он и испытывал по этому поводу сожаление, то оно пряталось глубоко в подсознании. Убедившись в бессмысленности своих попыток убежать от реального мира, Честер отныне преследовал только одну цель. Ему было необходимо как можно раньше доказать отцу, что он способен начать вместе с ним руководить корпорацией, и таким образом получить независимость. Линкольн не обольщался по поводу возможности обрести в обществе полную свободу от всех и вся. Он лишь ждал того времени, когда сможет принимать решения самостоятельно и, ещё не зная точно, как будет жить тогда, надеялся, что это что-то изменит в его существовании.

Выходные и каникулы Честер проводил дома. Майкл был очень рад, что его сын стал проявлять ин-



терес к деятельности «Линкольн Индастриз», и нередко брал его с собой в рабочие поездки по стране и за границу. Для отца Честера их общение стало значительно более комфортным. В основном они говорили об учёбе в Гейтс-Фоллз, строили планы на будущее, обсуждали различные аспекты работы корпорации – темы близкие и интересные Линкольну-старшему. В то же время отношения Честера с бабушкой и дедушкой всё больше и больше сходили на нет. Смерть дочери оборвала нить, связывавшую супругов Делсон с внуком, и они полностью погрузились в свою жизнь, лишь изредка напоминая о себе посещениями по праздникам. Что касается Эндрю Грея, то они периодически обменивались письмами в Сети, однако переписка эта вскоре приобрела формальный характер, как часто случается, когда люди не имеют возможности видеться живую. Происходящее не удивляло и не угнетало Честера – он жил в себе, не считая никого из окружающих обязанным интересоваться его внутренним миром. Во многом его даже радовало то, что близкие люди не стремились поддерживать с ним контактов. Так он был избавлен от необходимости отвечать на вопросы о его жизни, стремлениях и желаниях. Ложь тяготила Честера, но отвечать правдиво было не легче, отчасти потому, что он сам не всегда мог объяснить происходящее у себя внутри, отчасти из-за ощущения неспособности окружающих его понять. Никогда сознательно не формулируя для себя этих понятий, Линкольн жил с чувством одиночества и разобщённости, царящих в мире, когда даже родные по крови люди не могут разделить эмоций друг друга, обречённые на вечные скитания в стенах своего микрокосмоса.

Первый сексуальный контакт произошёл у Честера на каникулах перед переходом в выпускной класс. Один из его одноклассников, с которым он периодически общался, пригласил его на вечеринку по случаю своего шестнадцатилетия. Празднование проходило в двухэтажном родительском особняке с бассейном, на сутки отданном в полное распоряжение виновника торжества и его гостей. Честер редко посещал подобные мероприятия. Его нечасто звали в компании, да и сам он не получал от этих сборищ никакого удовольствия. Развлечения сверстников с бешеными танцами, обливанием шампанским и последующим нырянием в бассейн его не прельщали, с алкоголем он старался не иметь дел вообще. Виски, которое он пару раз пробовал, будоражило его сознание, будило малопонятные желания. Это путало Линкольна, словно бы перед ним приоткрывалась дверь в мир, с которым он всегда жил бок о бок, но о существовании которого даже не подозревал. Честер мог бы отказаться от приглашения под каким-нибудь благовидным предлогом. Он понимал, что его отсутствие никоим образом не скажется на атмосфере праздника, но всё же решил пойти, в первую очередь из уважения к товарищу. Весь вечер Линкольн не знал, чем заняться, чувствуя себя совершенно чужим среди подогретых спиртным и гормонами подростков. Наконец, решив, что дипломатическое время его пребывания на празднестве истекло, он потянулся к телефону, намереваясь вызвать своего водителя. В этот момент к столу, за которым он сидел во дворе, подошла незнакомая девушка. Кинув быстрое «привет», она опустилась в плетёное кресло рядом с Честером и без всяких предисловий поинтересовалась, что он делает в одиночестве. Линкольн был настолько обескуражен этим вопросом, что не нашёл ничего лучшего, чем сказать, что пришёл на вечеринку только из нежелания показаться невежливым в глазах школьного приятеля. Девушка неопределённо хмыкнула и спросила, чем бы он предпочёл заняться вместо того, чтобы убивать время до ухода. «Сыграть партию в шахматы и лечь спать», – неожиданно сам для себя произнёс Честер. Линкольн не имел никакого опыта в общении с противоположным полом и совершенно не стремился произвести на девушку впечатление, поэтому на её вопросы он отвечал честно, без всяких приукрашиваний, что, казалось, вызвало у его собеседницы интерес. Они представились друг другу. Её звали Шайла, она была подругой родной сестры именинника, дочерью известного модельера. Как и Честер, она переходила в выпускной класс и в следующем году собиралась поступать на модный факультет дизайна Городского Университета. Невысокая блондинка с несколькими кукольными чертами лица, Шайла казалась неглупой, и Линкольн даже не заметил, как за их разговором прошёл целый час. В конце беседы девушка предложила ему увидеться ещё раз и дала свой номер телефона.

Минули сутки. Вспоминая события вечера, Честер вдруг ощутил желание позвонить по оставленному номеру. Сам он, вероятнее всего, не решился бы сделать первый шаг, но проявленная Шайлой инициатива придала ему смелости. Нельзя сказать, чтобы она вызвала у Линкольна какие-то сильные эмоции. Дело было скорее в смеси любопытства и ещё одного, доселе незнакомого и трудно поддающегося определению чувства, которое толкало его на непривычные поступки. Так или иначе, но Честер, преодолевая робость, совершил звонок, и они условились встретиться в знакомом обоим ресторанчике в центре. Отец никогда не контролировал его передвижения, и всё же юноша, повинувшись смутному ощущению, попросил шофёра остановиться в двух кварталах от ресторана. Оставшееся расстояние он прошагал пешком,



дождавшись, когда машина уедет. Встреча (назвать её свиданием у Линкольна не повернулся бы язык) вопреки его опасениям прошла непринуждённо и даже весело. Шайла рассказывала о своей семье, школе, отношениях с учителями и поездках, в которых она бывала с друзьями. Слушая её, Честер периодически с удивлением отмечал, что ему нравились эти, в сущности, незамысловатые истории, нравились именно своей простотой, казалось, навсегда ушедшей из его жизни. Девушку, похоже, не слишком смущало то, что её собеседник в основном предпочитал слушать, нежели говорить. Сам Линкольн был вполне доволен таким развитием событий, так как слабо представлял себе, о чём вести беседу. Проведя в ресторане более двух часов, они расстались, условившись о следующей встрече. Три дня спустя они увиделись вновь, и в этот раз Честер был значительно более красноречив. Он говорил о своих одноклассниках, припоминая разные курьёзы из школьной жизни, на которые раньше не обращал особого внимания, и даже обнаружил в себе способность вполне пристойно шутить. Тем не менее, Линкольн всё ещё неуверенно чувствовал себя в общении с Шайлой. Порой за её словами ему чудился некий скрытый смысл, и он мучился, пытаясь понять их значение, но его уже подхватила и понесла за собой сила, сопротивляться которой он не мог, да и не хотел. Воспоминания и планы на будущее отступили для него на задний план, освободив место для новых эмоций, противоречивых и оттого ещё более привлекательных. Они продолжали встречаться, выбирая для этого знакомые заведения. Привыкший передвигаться в основном на автомобиле, Честер не очень хорошо знал город, да и мысль о том, что они будут гулять вдвоём на глазах у окружающих, вызывала у него отторжение. Постепенно атмосфера их общения стала приобретать оттенок напряжённости. Честер чувствовал, что Шайла ждала от него каких-то шагов, осознавал их необходимость и одновременно испытывал страх. Однажды, провожая девушку после очередного свидания до угла, где её ждала машина, он, ощущая резкий прилив крови к голове, вдруг остановился, развернул Шайлу к себе и припал к её губам. Она с готовностью ответила на поцелуй, и они застыли посреди наполняющейся сумерками улицы, нисколько не заботясь об обходящих их прохожих. В тот вечер они расстались, почти ничего не говоря друг другу. Уже по дороге домой, отделённый от водителя звукопроницаемой перегородкой, Честер раз за разом мысленно возвращался к случившемуся, не понимая, как мог на такое решиться. Он не думал, какими станут их отношения после его поступка. Линкольна просто радовала мысль о том, что отныне между ними возникла связь, которую, как ему казалось, будет сложно разорвать. Может быть, впервые в своей сознательной жизни Честер не смотрел в завтрашний день глазами логика. Он наслаждался настоящим и верил, что будущее сулит ему ещё много прекрасных сюрпризов.

Следующим вечером они встретились вновь. Поначалу Честер чувствовал себя неловко. К вчерашней эйфории теперь примешивалось опасение того, что Шайла могла не воспринять его поцелуй всерьёз, и Линкольн всячески старался избегать этой темы. Наконец, девушка напрямую спросила у него, в чём дело. Смущаясь, Честер признался, что не совсем понимал, в каком статусе они находились. В ответ Шайла хитро улыбнулась. «Ну, после твоего подвига нас, наверное, теперь можно назвать парнем и девушкой», – сказала она, и Линкольн почувствовал, как волна облегчения разливается у него внутри. Остаток вечера юноша был оживлён и весел: опьянённый сознанием взаимности своего чувства, он непривычно много говорил и смеялся. С того времени отношения их перешли в новую фазу. Честер частично преодолел своё нежелание показываться с девушкой на людях, и теперь они периодически встречались то в парке, то на набережной, и даже пару раз катались по заливу на экскурсионном катере. Линкольн рассказывал Шайле о прочитанных книгах, своих поездках за границу, любимых сюжетах рисунков. Девушка слушала его с интересом, но постепенно стало видно, что такое времяпровождение начинало её тяготить. Честер и сам понимал всю важность вопроса сексуальных отношений, который они до этого ни разу не обсуждали. Его влекло к Шайле, но стеснительность оказывалась сильнее желаний тела, и потому он постоянно оттягивал решающий момент, предпочитая радоваться тому, что имел. В конце концов, Шайла решила взять инициативу в свои руки. Однажды утром она позвонила Честеру и пригласила его к себе домой. Отец девушки, как это часто случалось, уехал на Континент на показ своей новой коллекции, мать же отправилась к подруге, чтобы поддержать её мужа, начинающего художника, у которого на следующий день открывалась первая персональная выставка. Предчувствуя, чем должна была закончиться эта встреча, Линкольн ужасно нервничал. У него даже возникло желание отказаться от приглашения, мотивируя это срочными делами, но он всё же подавил в себе приступ малодушия. Доехав до границы фешенебельного района, где проживала семья Шайлы, он отпустил водителя и дальше шёл пешком, ориентируясь по электронной карте в телефоне. В итоге всё получилось лучше, чем он ожидал. Девушка, уже имевшая определённый сексуальный опыт, контролировала процесс и, казалось, даже получала от него удовольствие, несмотря на неопытность своего партнёра. Сам Честер был слишком



взволнован, чтобы говорить о каких-то ярких ощущениях. Вернувшись домой, он уединился в ванной и долго рассматривал себя в зеркале. До этого Линкольн не задумывался о том, как выглядит, и теперь, пристально вглядываясь в своё отражение, пытался понять, что могло привлечь в нём Шайлу. Он видел перед собой высокого смугловатого юношу с чистой кожей и правильными чертами лица. Пряди густых тёмных волос, падающих на высокий лоб, выразительные карие глаза, хорошо очерченный рот – всего этого было вполне достаточно, чтобы добиться успеха у противоположного пола. Тем не менее, Честер не относился к числу людей, умеющих объективно признавать свои достоинства, поэтому вопрос, заданный им самому себе, оставался без ответа. Мысль о том, что его могут воспринимать в первую очередь как наследника богатой и могущественной семьи, его не посещала.

Теперь Линкольн стал часто приезжать в дом родителей Шайлы, пользуясь их отсутствием. Однако по мере того, как любовный опыт Честера рос, в его отношениях с девушкой стали проявляться разногласия. Шайлу раздражало, что её парень по-прежнему не хочет, чтобы его водитель знал, куда он ездит, и начинает собираться в дорогу как минимум за час до прихода кого-то из её родных. Тот факт, что она встречается с будущим главой огромной международной корпорации, не особенно волновал девушку. Она привыкла, что в её круг общения входили молодые люди из семей с высоким статусом, к тому же была ещё слишком юна, чтобы строить серьёзные планы на будущее. В Честере ей нравилась именно его непохожесть на тех, с кем она обычно проводила время, его эрудиция и начитанность в сочетании с удивительной наивностью. У Шайлы не было ни достаточного опыта, ни желания для того, чтобы попробовать разобраться в происходящем в душе Линкольна. Ей хотелось веселья и новых эмоций, но всё то, что поначалу увлекало и забавляло, вскоре приелось и вызывало недовольство. Честер и сам ощущал некоторый дискомфорт. Подруги Шайлы, которых она несколько раз приглашала присоединиться к ним в ресторане, чтобы разнообразить общение, были ему неинтересны. Он не понимал, о чём с ними разговаривать, и тяготился необходимостью отвечать на вопросы о жизни «в такой богатой семье». Трижды они ходили вместе на вечеринки. Глядя на загорелую не обременённую комплексами молодёжь, самозабвенно танцующую после нескольких коктейлей, он особенно остро чувствовал собственную чужеродность. Лишь нежелание бросить свою девушку в одиночестве удерживало его на месте. К тому же, чем меньше времени оставалось до конца августа, тем больше беспокоил Честера вопрос о том, во что превратятся их отношения после возобновления учёбы. Он знал, что не сможет целиком посвящать встречам с Шайлой оба выходных в неделю. Ему было необходимо заниматься, да и частые отлучки из дома однозначно вызвали бы реакцию со стороны Линкольна-старшего, привыкшего, что сын практически весь уик-энд проводит в своей комнате за книгами. Возможность же рассказать отцу о девушке или представиться её родителям казалась ему абсолютно нереальной по причине, которую он сам до конца не осознавал. Наконец, после долгих раздумий Честер решил поделиться своими сомнениями с Шайлой. Одним днём он приехал к ней, настроенный на серьёзный разговор, не замечая ни выражения лица открывшей дверь хозяйки, ни тона, которым она к нему обращалась. Он попросил девушку сесть напротив себя за стол и, не тратя время на предисловия, словно желая поскорее высказать всё накопившееся, заговорил. Некоторое время Шайла слушала его, не перебивая, а потом поднялась из-за стола и сделала какое-то странное движение рукой, заставившее Линкольна оборваться посреди фразы. «Я думаю, ты зря так нервничаешь, нам всё равно придётся расстаться», – произнесла она, и слова эти, такие простые и неожиданные, тяжёлым грузом рухнули на грудь Честера, заставив сердце судорожно подпрыгнуть. Ошеломлённый, путаясь и сбиваясь, он начал спрашивать о причинах, одновременно чувствуя бессмысленность своих попыток что-либо изменить. Шайла с видимой неохотой стала перечислять то, что её не устраивало – было видно, что она уже всё для себя решила, и необходимость давать пояснения вызывала у неё раздражение. Какое-то время Честер ещё пытался найти в её словах надежду, перебивал девушку, доказывая, что готов измениться, но произносимое им падало в пустоту, не находя ответа. Он плохо помнил, как звонил шофёру, шёл до машины, почти не помнил обратную дорогу. Приехав домой, он поднялся в свою комнату и повалился на кровать. Мысль о том, что ещё вчера необходимость ходить с Шайлой на вечеринки и общаться с её друзьями вызывала у него недовольствие, теперь казалась абсурдной. Сейчас он был готов на всё, лишь бы изгнать пустоту, без остатка заполнившую его душу, пустоту, давившую изнутри и вызывавшую боль, граничившую с физической. Честер мучительно напрягал мозг в попытках найти выход, перебирал в уме десятки стратегий поведения. Поначалу они казались ему разумными, несущими надежду, но проходило несколько минут и его охватывало сознание безнадежности этих выкладок. Обессиленный и истощённый, он уснул, а проснувшись, обнаружил, что всю его комнату заливал густой багровый свет заходящего солнца. Последние лучи клонящейся к закату звезды падали через окно на поверхность письменного



стола, и в этом почему-то было столько тяжести и безысходности, что Честер заплакал. Слёзы немного притушили боль, и он заставил себя сползти с кровати и добраться до ванной. До прихода отца оставалось ещё достаточно времени, но Линкольн хотел исключить любую возможность того, что тот заметит на его лице следы пережитого в этот день. Вернувшись в комнату, он снова лёг на кровать и замер, прислушиваясь к собственным ощущениям. Им овладела апатия. Ему не хотелось ничего делать, но оставаться наедине со своими мыслями было ещё невыносимее. Честер слабым голосом произнёс несколько слов, включив телевизор, чего практически никогда не делал ранее. Какое-то время он бездумно переключал каналы движениями указательного пальца в воздухе, а потом погасил экран. Он несколько раз вставал, доставал из шкафов любимые книги, открывал учебники, но слова расплывались перед глазами, и ему приходилось по несколько раз перечитывать одну и ту же фразу, чтобы вникнуть в её смысл. Незадолго до того часа, когда его отец обычно приезжал домой, он постелил постель и выключил в комнате свет – меньше всего в тот момент ему хотелось общаться с кем бы то ни было. Он сколько-то пролежал без сна, а затем незаметно сам для себя задремал. Линкольн проснулся посреди ночи с мыслью о том, что не знал, как ему жить дальше. Он не представлял, как выдержит ещё один год в Гейтс-Фоллз с уроками, домашними заданиями, настольным теннисом и этой пустотой внутри, как станет общаться с учителями и одноклассниками, ни с одним из которых не сможет поделиться своей тоской. Честер не мог даже подумать, что для большинства его сверстников произошедшее с ним не стоило бы и выеденного яйца. В его личном мире это стало трагедией.

Линкольн больше ни разу не звонил Шайле, хотя некоторое время после разрыва с трудом сдерживался от того, чтобы набрать её номер. Из своих первых личных отношений он вынес то, что никогда впредь не хотел бы испытать подобную боль. Отныне, решил Честер, он будет предпринимать всё, чтобы этого избежать. Майкл Линкольн ни на секунду не заподозрил, что с его сыном происходило что-то неладное. Приученный к дисциплине, Честер усилием воли заставил себя не выбиваться из привычного распорядка. Поначалу ему тяжело было сосредоточиться на занятиях, но спустя некоторое время он даже обрёл в этом облегчение. Интенсивная интеллектуальная работа позволяла отвлекаться от тягостных мыслей, и в школу Линкольн вернулся в относительно стабильном состоянии. С первого же дня он полностью погрузился в учёбу. Воспоминания о Шайле преследовали его всё реже и реже, а с наступлением зимы Честер неожиданно осознал, что был даже рад приобретённому опыту. Теперь он понимал, что выбирать спутницу жизни нужно руководствуясь не любовью, но логикой и здравым смыслом, и в дальнейшем намеревался следовать исключительно этому принципу. Порой ему казалось, что события лета произошли с кем-то другим, ведь сам он, находясь в здравом уме, никогда не стал бы мыслить и вести себя подобным образом, напроць позабыв о главной цели своего существования. В конце учебного года Честер блестяще сдал выпускные экзамены, а полтора месяца спустя, продемонстрировав не менее достойные результаты, стал студентом одного из престижнейших Университетов страны, поступив на факультет Финансов и Менеджмента. Будущий глава корпорации обязан был умело управлять деятельностью её многочисленных филиалов и знать законы рынка – в этом мнения отца и сына Линкольнов полностью совпадали.

Вопреки ожиданиям Честера, учёба в Университете отнимала у него меньше времени, чем школьные занятия. Теперь он изучал только узкоспециализированные дисциплины, к тому же здесь не было ни факультативов, ни интенсивных спортивных нагрузок, как в Гейтс-Фоллз. Освоившись с особенностями студенческой жизни, Честер начал ещё активнее вникать в деятельность «Линкольн Индастриз». Наставником его стал Алекс Беннингтон, правая рука Майкла Линкольна, держатель второго по величине пакета акций корпорации. Всё ещё крепкий для своих семидесяти, с отменной скоростью реакций и изощрённым умом, Беннингтон начинал свою карьеру вместе с отцом Майкла и в кругу своих подчинённых слыл живой легендой. Долгие вечера они проводили за разбором схем работы «Линкольн Индастриз». В какой-то момент Честер с удивлением понял, что этот значительно старший человек вызывает у него всё большую и большую симпатию, причём не только как профессионал, но и как личность. Беннингтону также нравилось их совместное времяпрепровождение. У него был внук возраста Честера, но, в отличие от последнего, он не проявлял интереса ни к чему, кроме развлечений золотой молодёжи. Алексу импонировали трудоспособность и гибкость мышления его подопечного, к тому же, он чувствовал в нём одиночество, которое сам нередко испытывал подобно многим пожилым людям. Майкл Линкольн был весьма доволен, слушая отчёты об успехах сына. Всё шло по задуманному им плану, и счастье заключалась в том, чтобы неукоснительно следовать намеченным путём.

В конце первого года учёбы Честер сошёлся со своей одногруппницей Стейси Морган. Он сразу обратил внимание на эту девушку, благодаря её ответам и докладам, свидетельствующим об умении глубоко



и нестандартно мыслить. К тому же её спокойствие и рассудительность в общении выгодно выделялись на фоне остальных сокурсниц. Как обычно, Линкольн держался особняком, ни с кем не заводя тесных знакомств, и он не мог не отметить, что Стейси также не выказывала стремления присоединиться к какой-либо компании. Всё это нравилось Честеру, однако он не решался сделать первый шаг в стремлении сблизиться с девушкой. К врождённой неуверенности теперь примешивался ещё и страх разочарования, возникший после истории с Шайлой. Линкольн боялся, что его попытка завязать отношения не встретит взаимности, либо же, что было бы ещё хуже, будет высмеяна. Он слишком хорошо помнил свою реакцию на разрыв. Отныне для того чтобы начать предпринимать какие-то действия, ему необходима была твёрдая убеждённость в том, что его интерес взаимен.

Вплоть до того апреля они со Стейси не сказали друг другу и сотни слов, поэтому для Честера стало большой неожиданностью то, что девушка сама подошла к нему в перерыве между занятиями. Она попросила его помочь ей разобраться с темой, которая обсуждалась на лекции, где она отсутствовала. Они встретились в университетском кафе и провели там несколько часов, из которых большую часть времени обсуждали вещи, весьма далёкие от биржевых игр. Уже позже, сравнивая Стейси и Шайлу, Линкольн нашёл, что они были полными противоположностями. Внешне Стейси напоминала ему мать. Ростом чуть ниже Честера, она выделялась стройной фигурой, мягкими чертами лица и большими карими глазами. Даже пшеничного цвета волосы, спускавшиеся до лопаток, цветом и длиной были почти такими же, как и у Вирджинии. Что же касается внутреннего мира, то в отличие от Шайлы, не питавшей страсти к чтению, юная мисс Морган оказалась большой любительницей литературы, которая и стала основной темой их первой беседы. Для Честера с его минимальным опытом общения с женским полом явился открытием тот факт, что с девушкой можно было общаться на равных. Его рассказы о книгах и музыке нравились Шайле, но лишь с точки зрения их непривычности. Стейси, напротив, высказывала свои собственные комментарии по поводу услышанного, и наблюдения эти удивляли Линкольна своим юмором и оригинальностью. Они стали встречаться во время больших перерывов, сидя в кафе или неспешно прогуливаясь по университетскому парку, разговаривая о литературе, музыке и живописи, и встречи эти постепенно приобретали для обоих всё большее и большее значение. Находясь рядом со Стейси, Честер совершенно не ощущал дискомфорта, сопровождавшего последний период его общения с Шайлой. Где-то на интуитивном уровне он чувствовал, что эта девушка именно тот человек, с которым он сможет спокойно идти к своей цели, уверенный, что его не будут ждать потрясения, однажды уже всколыхнувшие его существование. Именно эта уверенность и позволила Честеру пригласить одним днём Стейси в ресторан. Девушка, не раздумывая, согласилась. Там за ужином они наконец-то рассказали друг другу о себе. Отцом Стейси оказался Стивен Морган, известный финансист, имя которого Честер несколько раз слышал от Майкла, причём всегда в положительном контексте. Это было весьма показательным, ведь при всей своей тяге к власти Линкольн-старший сохранил в себе способность давать объективные оценки людям, которые того заслуживали. Стейси с детства увлекалась творчеством, занималась в литературной мастерской при школе и писала стихи. Однако, когда пришло время определяться с высшим образованием, она к радости семьи приняла решение последовать по стопам отца. Свой выбор она объяснила тем, что не считала себя достаточно талантливой, чтобы заниматься исключительно искусством, к тому же девушка её положения должна была иметь серьёзную профессию. Впрочем, в разговоре с Честером Стейси призналась, что руководствовалась в основном желанием порадовать отца. Стивен Морган не имел наследников мужского пола, которые бы могли продолжить его деятельность, и, несмотря на то, что он любил свою дочь и уважал её решения, было видно, что финансист переживал из-за невозможности разделить своё дело с родным по крови человеком. Честер слушал девушку, и с каждой новой подробностью удивление его становилось всё больше и больше. Его поражало, насколько схожими были их взгляды, как спокойно они оба жертвовали своими желаниями во имя интересов семьи. Они расстались далеко за полночь, договорившись увидеться вновь на следующий день. Всё, что происходило между ними затем, тоже совершенно не напоминало краткосрочный роман с Шайлой. Как и Линкольн, Стейси абсолютно не интересовалась клубами и прочими популярными в среде богатой молодёжи местами. Вместе они гуляли по набережной, ходили в музеи и на выставки, наведывались в мало кому известные книжные лавки, которые в своё время показала сыну Вирджиния. Теперь Честер не чувствовал никакой неловкости от того, что кто-то может узнать об их общении, напротив, стремясь закрепить свои позиции, он решил познакомить Стейси с отцом, мысль о чём ранее могла бы вызвать у него ужас. Линкольн-старший одобрил выбор сына, и последовавшая встреча оправдала все ожидания Честера. Майкл весьма благосклонно отнёсся к Стейси и в течение всего вечера задавал ей вопросы о работе её отца, учёбе и планах на будущее. Не



последнюю роль в этом сыграло уважение главы «Линкольн Индастриз» к личности Стивена Моргана, однако главной причиной, обуславливающей его отношение к дочери известного финансиста, было то, что он сразу же понял, что привлекло его отпрыска в Стейси. В своё время он сам выбирал жену подобным образом, и потому не мог не поддержать Честера. Все трое расходились вполне удовлетворённые проведённым вместе временем, но Честер никогда не узнает о том, что в ту ночь Майкл Линкольн впервые в своей жизни увидел во сне Вирджинию. Она явилась ему такой, какой была при их первой встрече, в белом открытом платье, с улыбкой в уголках рта и глазами, где пряталась грусть, которую так никто и не смог разглядеть. Этот образ был настолько живым, что сердце спящего дёрнулось, на секунду сбившись с привычного ритма. Проснувшись утром, Майкл ничего не помнил из своего сна, лишь непривычное чувство утраты не давало ему покоя, пока он следовал из спальни в гимнастический зал. После получаса физических упражнений оно полностью исчезло, и когда глава корпорации выходил из душа, уже ничто не стояло на его пути к новым свершениям.

Первый секс у Честера и Стейси состоялся в её квартире, которую чета Морганов преподнесла дочери в подарок ко дню окончания школы. Из предыдущих бесед Линкольн знал, что любовный опыт девушки несколько превышал его собственный, однако, как ни странно, это не вызывало у него особого волнения. Всё та же интуиция подсказывала, что сложившееся между ними взаимопонимание будет поддержано и на физиологическом уровне. В их любви было больше рассудочности, чем страсти, больше стремления доставлять удовольствие другому, нежели упоения собственными ощущениями, и это вполне устраивало обоих. Вскоре выяснилось, что в отношениях им подходила скорее роль партнёров, а не любовников. Секс являлся лишь приятным дополнением к их встречам, которые они теперь часто стали посвящать совместной подготовке к тестам, зачётам и экзаменам. Порой они могли обсудить что-то из новостей искусства, а иногда просто лежали рядом друг с другом, каждый погружённый в свою книгу. Вместе они проводили не так уж и много времени, учитывая всё возрастающее вовлечение Честера в дела «Линкольн Индастриз». Впрочем, ни его, ни её это не угнетало. Стейси, не слишком тяготевшая к общению с окружающими, вполне комфортно чувствовала себя наедине с собой, довольствуясь нечастыми визитами к нескольким подругам, с которыми познакомилась в годы учёбы в школе. Честера радовало сложившееся положение вещей. В Стейси он обрёл поддержку, без которой ему было бы значительно труднее идти к желанной независимости. Расставаясь с девушкой во время своих зарубежных поездок с отцом или Беннингтоном, он не испытывал никакой грусти, зная, что по возвращению найдёт её там же, где она и должна быть. Они жили в полном согласии, устремив глаза в завтрашний день, даже не испытывая нужды в том, чтобы делиться друг с другом горестями и страхами прошлого. Значение имело лишь то, что несло с собой будущее, и оба были готовы делать всё для того, чтобы оно пришло к ним стабильным, таким же, как и настоящее.

Четыре года после начала отношений Честера и Стейси пробежали незаметно. Оба много занимались, тем охотнее получая знания, чем больше возможностей для их практического применения у них появлялось. За это время Линкольн полностью освоился в роли будущего главы корпорации и даже разработал несколько проектов новых направлений её деятельности, вызвавших интерес у отца и Алекса Беннингтона. В частности, Честер предлагал обратиться к потребностям представителей среднего класса, желающим обезопасить своё имущество от посягательств различных криминальных элементов. Живя в обществе, где преступность являлась едва ли не нормой, и уровень её всегда оставался стабильно высоким, эти люди готовы были не раздумывая платить за защиту своих автомобилей, квартир и домов. С одобрения отца и при поддержке Беннингтона Честер возглавил отдел по разработке нового типа охранных систем. Целью было создать продукцию, которая, обладая высоким уровнем надёжности, отличалась бы умеренной себестоимостью. Линкольн понимал, что, завоевывая внимание людей со средним достатком, он открывал для корпорации новые горизонты, а, соответственно, и пути к колоссальным прибылям. Ставку он решил сделать на молодых специалистов, относительно недавно работавших в «Линкольн Индастриз» и ещё не привлекавшихся к серьёзным проектам. Расчёт оказался верен. Благодаря нескольким нестандартным решениям, отделу за два года удалось создать опытный экземпляр системы безопасности нового типа. Последняя имела способность анализировать поведение людей, оказывавшихся в непосредственной близости с охраняемым объектом, и в случае наличия потенциальной угрозы препятствовала всяческой возможности проникнуть внутрь. Нечто подобное уже было спроектировано «Линкольн Индастриз» при создании концепции «умного дома», однако новая разработка обладала одним неоспоримым преимуществом: охранная система Честера являлась автономной и потому стоила сравнительно недорого, тогда как в «умных домах» всё было взаимосвязано между собой, и функционирование любого элемента





напрямую зависело от работы всех остальных. В серийное производство новинку запустили лишь через полтора года после проведения тестирования, однако опытный Майкл Линкольн сразу же разглядел всю её перспективность. Никто, включая самого Честера, не знал, какое значение имел его успех для главы корпорации. Отныне Линкольн-старший был твёрдо уверен, что его сын станет достойным продолжателем семейного дела и, вполне возможно, откроет в нём новые направления. Стейси тоже не имела времени на скуку, активно постигая премудрости рыночных отношений под руководством отца. Несколько раз молодые люди ездили вдвоём на отдых за границу. Это, правда, было скорее данью устоявшейся традиции, ведь будучи поглощёнными каждый своим делом, они не нуждались в том, чтобы переключаться на что-либо другое. Отношения их оставались ровными и стабильными. Родные Стейси очень хорошо приняли Честера в качестве потенциального мужа девушки. Перспектива породниться с наследником баснословных капиталов семьи Линкольников выглядела весьма привлекательной, к тому же мистер Морган подметил схожесть характеров молодых людей и то, насколько комфортной она делала их совместную жизнь. Университетские экзамены оба сдали прекрасно, практически без напряжения, что было неудивительным, учитывая пять лет регулярной и продуктивной работы. В честь получения дочерью диплома в доме Морганов организовали вечеринку, и именно на ней Честер предложил Стейси стать его женой. Четыре проведённых вместе года стали для него достаточным сроком, чтобы прийти к необходимости узаконить их отношения, к тому же Линкольн понимал, что в обозримом будущем им вряд ли представится лучшая возможность это сделать. По окончании учёбы оба планировали полностью сосредоточиться на своей работе, поэтому Честер предпочитал совершить церемонию как можно скорее, чтобы впоследствии иметь возможность сконцентрироваться исключительно на делах корпорации. Стейси согласилась, не колеблясь. Предложение руки и сердца она восприняла без удивления, как приятное, но ожидаемое событие. Начались приготовления к свадьбе, причём основную роль в них играла миссис Морган. И её дочь, и Честер весьма смутно представляли себе предстоящее празднество, да и вообще не жаждали никаких пышных торжеств. Бракосочетание должно было состояться двумя месяцами позже дня, когда пара сообщила родным о своём решении. Затем Честер планировал отправиться в свадебное путешествие куда-нибудь на Острова, чтобы по возвращению с головой погрузиться в работу над новыми проектами «Линкольн Индастриз». Не так давно ему исполнился двадцать один год, голову его переполняли идеи, и он, наверное, мог бы даже назвать себя счастливым человеком, если бы позволял себе об этом задумываться.

О том, что его отец болен раком предстательной железы, Честер узнал за месяц до свадьбы, когда на внешнем виде Майкла уже стали отражаться признаки пожирившего его недуга. Линкольн-старший всегда следил за своим здоровьем и физической формой и потому при первых же признаках заболевания сразу обратился к специалистам. Результаты обследования были неутешительными. Опухоль оказалась злокачественной, а метастазы в организм поступали с такой интенсивностью, что за каких-то две недели Майкла похудел на несколько килограммов и постарел на десяток лет. В попытке избежать хирургического вмешательства врачи назначили ему курс облучения, и именно в этот период Линкольн решил рассказать всё Честеру, который и так уже начал замечать тревожащие перемены во внешности отца. Майкл допускал, что не сможет выиграть схватку с болезнью, и хотел, чтобы сын был готов в скором времени принять бразды правления корпорацией. Честер нашёл в себе силы спокойно выслушать Линкольна-старшего и пообещал ему, что станет выполнять все рекомендации Алекса Беннингтона в период пребывания Майкла в клинике, однако в душе его поразило сказанное. Он был потрясён не столько тем фактом, что речь шла о жизни родного человека, сколько осознанием того, какие изменения это могло внести в тщательно распланированную картину его дальнейшего существования. Два дня спустя Майкл Линкольн на частном самолёте отправился на Континент, где его ждало лечение в одной из лучших клиник мира, специализировавшейся на раковых заболеваниях. В его отсутствие пустующее место главы «Линкольн Индастриз» в зале заседаний занял Алекс Беннингтон, Честер же расположился по правую руку от кресла отца. В сложившихся обстоятельствах одной из своих главных задач Беннингтон считал поддержание стабильности работы корпорации и сохранение доверия акционеров, поэтому Честер на время был вынужден отказаться от продвижения своих проектов, сосредоточившись на анализе деятельности многочисленных зарубежных филиалов, отчёты которых теперь каждое утро ложились на его стол. Свадьбу со Стейси пришлось отложить на неопределённый срок. Девушка старалась как можно больше времени проводить с женихом, всячески его поддерживая, но даже с ней Честер не мог поделиться происходившим в своём сознании. Он регулярно связывался с Майклом по телефону, обсуждал с ним положение дел в корпорации и его здоровье, был рад слышать, что врачи констатировали некоторое улучшение в состоянии больного под влиянием облучения. После одного из таких разговоров он поймал себя на



том, что не испытывал настоящего страха за жизнь отца. Дело было, конечно же, не в том, что Честер стремился как можно быстрее оказаться в роли главы корпорации, напротив, он искренне желал, чтобы всё шло своим чередом, вполне удовлетворяясь своим местом на данном этапе. Проблема заключалась в том, что мысли о болезни Майкла и связанных с ней физических страданиях не вызывали у него тех жалости и сочувствия, о которых он так часто читал в любимых книгах. Честер пытался понять причину своих реакций, но не находил ответа. Спасением от этих размышлений для него в очередной раз стала работа, в которой, учитывая сложившуюся обстановку, не было недостатка.

Два месяца спустя начала болезни Майкла Линкольн окончил все курсы облечения и вернулся домой. Он полностью лишился бровей и волос на голове, кожа его приобрела желтоватый оттенок, у него расстрескались ногти, и всё же в нём чувствовалось больше энергии, чем до поездки на Континент. Врачи назначили ему множество общеукрепляющих препаратов и настоятельно рекомендовали воздержаться от любых нагрузок. Однако уже через несколько дней после возвращения Линкольн затребовал к себе отчёты по работе корпорации за период его отсутствия. Он понимал, какие эмоции могло бы вызвать его появление на совете директоров, однако не допускал и мысли о том, чтобы устранившись от дела, которому посвятил всю жизнь. Ремиссия заняла около трёх недель, а потом затаившаяся ненадолго болезнь нанесла ещё один удар. Майкл слабел на глазах, и теперь лишь операция могла дать ему хоть какой-то шанс на выживание. Впрочем, вероятность положительного исхода выглядела весьма небольшой, и Линкольн первым был готов это признать. Честер каждый вечер навещал отца, и посещения эти оставляли у него гнетущее чувство. Человек, которого он видел лежащим в палате, мало чем напоминал того, к которому он так привык. Они разговаривали немного, и дело было не только в том, что у больного не хватало на это сил. Лишённый возможности руководить корпорацией, долгими часами предоставленный сам себе, он волей неволей стал задумываться о лежащей у него за плечами жизни. Майкл не верил в бога и загробную жизнь, он никогда не нуждался в религии и не испытывал ужаса перед смертью, целиком занятый строительством своего царства в этой единственной известной ему реальности. И всё же, оказавшись перед лицом небытия, Линкольн почувствовал страх, животный страх существа, осознавшего, что совсем скоро ему предстоит раствориться во всепоглощающей черноте, исчезнуть не только для других, но и для себя самого. В глубинах космоса роботы, сошедшие с конвейеров его корпорации, исследовали просторы далёких миров, начинённые электроникой «Линкольн Индастриз» спутники кружили над планетой, заполненной механизмами того же производства, его сын был готов занять место на троне и продолжить расширять созданную им империю – ничто из этого не приносило умиротворения душе Майкла Линкольна. Впадая в забытие под влиянием транквилизаторов, он видел Вирджинию и Честера. В этих снах они заходили к нему в палату и садились по обе стороны кровати. Он рассказывал им о своих страхах, они брали его за руки, и уродливые густки чёрных мыслей съёживались и исчезали где-то в дальних углах. Потом действие успокаивающего заканчивалось, и Линкольн возвращался в реальный мир. Его встречала физическая боль, но и она меркла, когда Майкл вспоминал, что жена его давно мертва, а при встречах с сыном он никак не может подобрать нужные слова, чтобы объяснить, что чувствует. За мгновение до начала операции врач приблизил к его лицу пластиковую маску, и внутри неё Майкл отчётливо увидел чёрную дыру, откуда нет возврата. «Боже, как же страшно», – успел подумать он, и это стало последней мыслью миллиардера перед тем, как пустота поглотила его сознание. Изнурённый болезнью организм не выдержал хирургического вмешательства, и Майкл Линкольн скончался на операционном столе, не дожив нескольких суток до своего пятидесяти пятого дня рождения.

Похороны главы «Линкольн Индастриз» состоялись дождливым ноябрьским днём. Отдавая дань приличиям, проводить покойного пришли даже те, с кем он практически не общался в последнее время своей жизни. В числе собравшихся на кладбище были супруги Делсон, их сын Фредерик, дядя Честера, Стейси с родителями, все члены совета директоров корпорации. Почти никто из них не испытывал искренней скорби по усопшему, предпочитавшему не поддерживать с людьми близких отношений. Исключение составлял разве что Алекс Беннингтон, прошедший с Майклом немало битв за господство на мировом рынке. В течение всей церемонии Честер выглядел отрешённым. Он машинально отвечал на соболезнования, объятия и рукопожатия, однако мысли его были далеко от происходящего вокруг. Линкольн думал, что, в конце концов, он убедился в том, к чему жизнь подталкивала его все предыдущие годы. Теперь он знал, что в этом мире не существовало никаких гарантий спокойствия и благоденствия. Ни деньги, ни власть не могли защитить человека от душевных ран, мук болезней, ухода близких или собственной преждевременной смерти в расцвете сил. Бытие, которое веками пытались объяснить философы и богословы, на самом деле было безбрежным океаном хаоса. Своё плавание по нему люди



начинали на кораблях, построенных из иллюзий и мечтаний, но первый же сильный шторм вдребезги разбивал эти непрочные суда. Упрямство свойственно человеческой природе, и выжившие после крушения не переставали вести борьбу со стихией. Изю всех сил стараясь удержаться на воде, они подплывали к обломкам своих кораблей. Кому-то доставались совсем маленькие доски, и они просто цеплялись за них, без усталости гребя ногами, ежесекундно рискуя быть схваченными судорогой и пойти ко дну. Другим везло больше, их находки были достаточно широкими, чтобы взобраться на них как на плот, и они продолжали свой путь в никуда, помогая себе руками, а порой и доской, оставшейся от канувшего в бездну собрата по несчастью. Почти все эти люди со временем забудут, с чего начиналось плавание, и их жалкие средства передвижения станут казаться им естественными и даже достаточно комфортными. Немногие будут осознавать, что от смертоносной пучины их отделяет лишь жалкий кусок обшивки, которая на самом деле не существует, и только у единиц хватит мужества прекратить ненужное сопротивление, соскользнув в тёмную воду. Честер завидовал этим последним, одновременно понимая, что у него не было достаточно сил, чтобы последовать их примеру. Он просто стоял и смотрел на мёртвое лицо лежащего в гробу Майкла Линкольна. Океан растворил в себе его отца, но это не вызывало у него ни скорби, ни боли. Таков был порядок вещей в мире, и краем сознания он всегда знал об этом. В какой-то момент рука Стейси сжала его предплечье, и Честер спросил себя, сможет ли он так же спокойно смотреть на её тело. Ответ пришёл словно бы сам собой, и он нёс такое бремя одиночества, что Линкольн пошатнулся. Его отвели в сторону, усадили на принесённый кем-то складной стул, дали воды. Честер прикрыл глаза, и в это время священник начал читать зауспокойную молитву...

На следующее утро он поехал на кладбище, чтобы возложить цветы на могилу отца. Затем Честер вернулся домой, выключил все телефоны и так в полном уединении провёл три дня, ни разу не ступив за порог. Ни Стейси, ни Беннингтон не нарушали его затворничества, выполняя данное ими обещание. Как и после смерти матери, Линкольну необходимо было время, чтобы окончательно смириться с ещё одной потерей, но если тогда из его жизни уходили мечты, то сейчас он прощался с реальным миром. На четвёртый день он встал со своей кровати, сорок минут провёл в гимнастическом зале, принял душ и позвонил Беннингтону. Ровно в полдень он вошёл в зал заседаний «Линкольн Индастриз», чтобы под пристальными взглядами собравшихся занять место в пустом кресле во главе стола.

Майкла Линкольн без сомнения был бы счастлив, узнай он, насколько быстро его сын освоился с ролью главы одной из могущественнейших корпораций мира. Честер понимал, что в первое время ему предстоит столкнуться с некоторой настороженностью со стороны представителей совета директоров, и потому одной из основных своих задач полагал чёткое определение приоритетов дальнейшей деятельности «Линкольн Индастриз». Основной акцент он планировал сделать на постепенной адаптации продукции корпорации к нуждам и материальным возможностям людей среднего достатка. Разработанная под его руководством охранная система нового типа могла служить весомым аргументом в пользу данного направления. Работа в этой области была поручена уже знакомой Честеру команде молодых специалистов. Линкольну также пришлось выдержать несколько серьёзных экзаменов в виде встреч с представителями правительства, Национального Космического Агентства и двумя крупными магнатами с Континента, связанными с его отцом многолетними деловыми отношениями. В результате все участники этого общения, независимо друг от друга, отметили уверенность и компетентность молодого Линкольна, продемонстрированные им в обсуждении важных финансовых вопросов. Они не знали, что Честер был обязан этому не столько постоянной поддержке Беннингтона, сколько всепоглощающему желанию утопить в работе мысли о безысходности своего существования. Линкольн сильно изменился со дня похорон отца. Стейси, теперь жившая в его доме, принимала периодически проступавшее у него на лице выражение суровой сосредоточенности за скорбь, не догадываясь, какие демоны поселились в душе её жениха. Целый день он проводил в своём кабинете на двадцать пятом этаже сердца корпорации, но и это не всегда спасало его от приступов бессонницы. Часто, неподвижно лёжа рядом со Стейси во тьме своей спальни, Честер вновь и вновь возвращался в мыслях к образу океана, явившегося ему на кладбище, и в эти минуты он был готов поменяться местами с последним нищим, уверенным, что он стоит на твёрдой земле. По утрам после таких бдений Линкольн ощущал себя вымотанным и опустошённым, и ему приходилось усилием воли загонять свои чувства глубоко внутрь, чтобы не обнаружить их перед окружающими. Потом наступал наполненный работой день, и горечь вновь пережитых воспоминаний отступала. Следующие несколько ночей Честер спал без сновидений, а потом бессонница неизбежно возвращалась. Несмотря на соблазн, он ни разу не прибегнул к снотворному, опасаясь оказаться в зависимости от таблеток. Ещё более ему претила мысль обратиться к психологу и выслушивать рекомендации человека, не имеющего никакого



понятия о том, что представляет собой жизнь. Честер плыл на своей доске по тёмной воде, стараясь не смотреть вниз, обратив взгляд к недостижимому горизонту.

Ресторан «Сайлент Бэй», куда Линкольн ежедневно ездил обедать, находился в трёх кварталах от главного офиса корпорации. Когда-то это место показал ему отец, и вместе они провели в нём немало часов в перерывах между бесконечными сражениями за процветание «Линкольн Индастриз». Честер никогда не был привередливым гурманом, его, скорее, привлекала бережно поддерживаемая атмосфера покоя и уюта, ставшая фирменной особенностью заведения. Сюда приходили для того, чтобы снять напряжение в середине или в конце рабочего дня, расслабиться, ненадолго отвлекшись от суеты деловой жизни. Внутри ресторана даже в светлое время суток царил полумрак, звуконепроницаемые стены полностью изолировали посетителей от уличного шума, в интерьере преобладали приятные для глаза цвета. Из колонок стереосистемы здесь всегда приглушённо звучала неспешная инструментальная музыка, которой еле слышно вторило журчание воды в небольшом фонтанчике в дальнем углу зала. Столики в «Сайлент Бэй» располагались таким образом, что у сидящих за ними при любом наплыве людей возникало ощущение уединения, кроме того, к услугам желающих было несколько отдельных кабинок. Одну из них Майка Линкольн в своё время зарезервировал за собой ежедневно с половины второго до половины третьего пополудни, теперь же пользоваться ею стал его сын. Честер любил это заведение, в нём он чувствовал себя не владельцем миллиардного состояния, а обыкновенным человеком. Последнему в немалой степени способствовал местный персонал, одинаково вежливо и приветливо относившийся к любому посетителю, несмотря на его статус. В ресторан Линкольн ездил самостоятельно. Ни память о судьбе матери, ни осознание собственного общественного положения не могли заставить его постоянно прибегать к услугам водителя. Ко всем опасностям, связанным с самостоятельным передвижением, Честер относился с фатализмом человека, убедившегося в невозможности изменить предначертанную ему судьбу. Линкольн всегда очень внимательно управлял автомобилем, не позволяя себе отвлекаться на мысли о делах корпорации, но эта сосредоточенность в одиночестве салона была для него во много раз привлекательнее, чем возможность размышлять о текущих проектах в присутствии, пускай и молчаливом, постороннего человека.

В тот ясный тёплый день в конце апреля Честер, как обычно, приехал в «Сайлент Бэй» к половине второго и занял своё привычное место в отгороженном от зала помещении. В ресторане не было принято утомлять посетителей долгим ожиданием, и уже через минуту после того, как Линкольн вошёл внутрь, раздвижная дверца кабинки поползла в сторону. Честер поднял глаза, и слова приветствия неожиданно застряли у него в горле. Ограниченный жёстким расписанием своей жизни, он не часто сталкивался с незнакомыми людьми, да и мало кто из них способен был привлечь его внимание, но в лице девушки, приблизившейся к его столику с меню в руках, было нечто, от чего по телу Линкольна пробежала дрожь. Это был тот тип внешности, когда правильные черты казались подсвеченными изнутри некой тихой печалью, придававшей им неизъяснимое очарование. Глубокие тёмные глаза, высокие скулы, тонкий изгиб губ, черные волосы, схваченные на затылке гребнем – Честер не мог оторваться от лица официантки. Девушка улыбнулась, поздоровалась и протянула ему меню. Будто со стороны, Линкольн услышал свой голос, отвечающий на приветствие. Последующие примерно полчаса он провёл в полубредовом состоянии. Честер автоматически выбирал какие-то блюда, озвучивал заказ, пережёвывал и глотал еду, совершенно не чувствуя вкуса. Он и сам не знал, где были в тот момент его мысли. И лишь когда официантка принесла ему счёт, Линкольн неожиданно произнёс: «Я раньше не видел вас здесь, наверное, вы работаете недавно?» – «Да, я только что окончила стажировку, сегодня мой первый рабочий день», – девушка снова улыбнулась, казалось, несколько не удивлённая вопросом. «Спасибо вам», – внезапно охрипшим голосом сказал Честер. На мгновение глаза его скользнули по табличке с именем, приколотой к фирменной белой блузке. «Спасибо вам, Джулия». – «Всегда рады видеть вас снова, мистер Линкольн», – официантка послала ему ещё одну улыбку и исчезла за дверью.

С того времени сознание Честера словно бы раздвоилось. Он вернулся в свой офис, где остаток дня штудировал отчёты директоров нескольких крупных филиалов «Линкольн Индастриз» на Континенте. Когда багровый шар солнца почти полностью скрылся за заполонившими западную часть Города небоскрёбами, Честер отправился домой. Они со Стейси съели приготовленный приходящим поваром ужин, немного поговорили о прошедшем дне и отправились в постель. Стейси, проводившая в офисе отца долгие часы, быстро уснула. Слушая её ровное спокойное дыхание, Честер вдруг осознал, что после своего ухода из «Сайлент Бэй» он, занимаясь делами, просматривая документы, беседа с людьми, непрестанно думал о Джулии. Тех считанных минут, в течение которых он видел её лицо, было недостаточно для того,



чтобы оно отчётливо отпечталось в памяти. В какие-то моменты Линкольн даже начинал сомневаться, было ли произошедшее с ним наяву, и лишь последняя фраза девушки, крепко засевавшая в сознании, убеждала его в реальности встречи в ресторане. Честер понимал, что Джулино не могли не предупредить, какого клиента она будет обслуживать, и всё же в словах её ему чудилось нечто большее, чем обычная вежливость официантки. В ту ночь сон его был беспокойным и прерывистым, а когда наступило утро, он, открывая двери своего кабинета, поймал себя на мысли, что с нетерпением ожидал часа, когда сможет отправиться в «Сайлент Бэй». Впрочем, ни тогда, ни на следующий день он так и не увидел Джулино. Его обслуживали хорошо знакомые официантки, и он с трудом сдерживался от того, чтобы спросить у них о девушке, воспоминания о которой не давали ему покоя. Они увиделись снова лишь на третьи сутки после первой встречи. Честер заметил её сразу, едва дверь ресторана закрылась за его спиной. В зале «Сайлент Бэй» было пустынно, только один столик занимала пожилая пара. В миг, когда Линкольн вошёл внутрь, Джулия как раз закончила принимать заказ и развернулась, намереваясь проследовать на кухню. Взгляды их встретились, и Честер, преодолевая оцепенение, шагнул по направлению к девушке.

«Добрый день, Джулия», – произнёс Линкольн, поравнявшись с официанткой, ощущая сладкий запах её духов.

«Здравствуйте, мистер Линкольн», – девушка с лёгкой улыбкой склонила голову в приветствии. Честер по инерции сделал ещё несколько шагов к своей кабинке, затем остановился на месте и резко повернулся на сто восемьдесят градусов.

«Я был бы очень рад, – отчётливо выговорил он, – если бы сегодня меня обслужили именно вы».

В тишине зала голос Честера прозвучал столь неожиданно, что ему показалось, что Джулия даже вздрогнула перед тем, как обернуться, но увидев её лицо, он не прочёл на нём растерянности.

«Если вы будете любезны немного подождать, мистер Линкольн, я подойду к вам, как только принесу заказ», – сказала она. Честер лишь кивнул в ответ, не в силах произнести ни слова, ошеломлённый тем, что слетело с его губ несколько секунд назад. Не чувствуя ног, он добрался до кабинки, опустился на стул, положил на прохладную столешницу руки, почувствовав, как мелко подрагивают его пальцы. Линкольн не понимал происходящего с ним – его трясло от волнения, и, в то же время, сказанное им в зале совершенно не походило на экспромт, вызванный возбуждённостью психики. Создавалось впечатление, что в мозгу у него включился некий механизм, выполняющий заложенную в нём программу вне зависимости от состояния организма.

Некоторое время спустя Джулия вошла в его кабинку. Честер, не глядя в меню, перечислил несколько блюд, названия которых хорошо помнил. Девушка записала заказ и вышла. Прошло около пяти минут, и она вернулась с подносом в руках. Линкольн молча наблюдал за её движениями, и лишь когда Джулия поставила на стол последнюю тарелку и уже готова была пожелать ему приятного аппетита, произнёс:

– Вы работаете по каким-то конкретным дням?

– Да, я работаю четыре раза в неделю, по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам.

– В прошлый раз, – Честер сделал паузу, – в понедельник после того как вы обслужили меня здесь, я вернулся к себе в офис и узнал, что переговоры по одному очень важному для нашей корпорации делу завершились успешно. Не хочу показаться суеверным, но я почему-то решил, что это вы принесли мне удачу. Я хотел бы поблагодарить вас и надеюсь, что и в дальнейшем смогу рассчитывать на вашу лёгкую руку.

Впоследствии, когда он вспоминал эту фразу, будто бы сошедшую со страниц дешёвого любовного романа, Честер не переставал удивляться, как подобное могло сорваться с его языка. Джулия, тем не менее, не выглядела обескураженной.

– Я совсем не суеверна, – она заправила за ухо выбившуюся из причёски прядь, – и вам, конечно же, не за что благодарить меня, мистер Линкольн. Но если вы считаете, что успех вашего дела не случаен, я всегда буду рада помочь.

Следующие несколько недель стали одним из самых странных периодов в жизни Честера Линкольна. Ни Стейси, ни люди, с которыми он ежедневно сталкивался в офисе, не замечали в нём никаких перемен, и никто не мог даже представить, что за мысли посещали голову молодого главы корпорации, когда он оставался в одиночестве. Механизм, запущенный у него внутри в тот памятный день в «Сайлент Бэй» продолжал действовать, непрестанно наращивая обороты. Работая и общаясь с окружающими, Честер был рассудителен и сконцентрирован, но стоило ему оказаться наедине с собой, он сразу же начинал думать о Джулии. Теперь Честер знал, что в неделе было четыре дня, в которые он имел возможность увидеть девушку, и судьба, казалось, содействовала ему в этом. В те часы, когда Джулия находилась на работе, как правило, именно она заходила в его уютную кабинку, чтобы принять заказ. Для них даже



стало чем-то вроде ритуала приветствовать друг друга при встрече заговорщицкими улыбками. Кроме этого они успевали обменяться несколькими фразами по поводу погоды или прошедшей половины рабочего дня. Ночами Честер раз за разом прокручивал в голове минуты, проведённые наедине с Джулией. Порой под влиянием душевного подъёма ему представлялось, что девушка нарочно старалась подгадать таким образом, чтобы самой обслужить его столик. Чуть позже эйфория исчезала так же внезапно, как и появлялась, и тогда Линкольн вспоминал о том, что, в сущности, ничего не знал о жизни Джулии. На её пальце он не видел кольца, но она вполне могла быть счастлива, встречаясь с каким-нибудь кассиром из соседнего магазина. В такие моменты лицо Честера сводило гримасой, и он с трудом сдерживался от того, чтобы немедленно не отправиться в ванную и принять снотворное, хранившееся там в стенном шкафчике. Иногда эти мысли приходили к Линкольну после того, как Стейси засыпала у него на плече, как делала всегда после секса. Любовью с ней Честер занимался без чувства отторжения – механизм в его голове продолжал исправно тикать.

И ещё одно обстоятельство изрядно омрачало его существование. Близился день, когда Честер должен был отправиться в традиционную поездку по основным филиалам корпорации на Континенте, в ходе которой ему предстояло лично встречаться с их руководителями, чтобы подытожить проведённую за год работу. Поездки эти, вот уже много лет регулярно совершаемые предыдущими главами «Линкольн Индастриз», занимали обычно около трёх недель. В глубине души Честер понимал, что до сих пор был способен не обнаруживать бушующие в нём эмоции во многом благодаря возможности периодически видеться с Джулией. Он не знал, как могла повести себя его психика вдали от родного города, где в самом его сердце находился уютный ресторанчик «Сайлент Бэй». По мере приближения отъезда от осознания этого становилось всё тягостнее, и, в конце концов, Линкольн не выдержал.

Вылет частного самолёта корпорации «Линкольн Индастриз» из аэропорта Города был назначен на субботу, двадцать шестое мая. За два дня до этой даты, когда наручные часы Честера показывали 13.28, он вошёл в двери ресторана. У него не существовало никакого плана действий, им лишь владела необходимость увидеть Джулию до отлёта. Своё место в кабинке он занял, будучи готовым к тому, что по окончании обеда ему придётся идти к администратору и просить позвать девушку. Размышления о том, как преподнести этот разговор, настолько увлекли его, что Линкольн едва не подскочил на стуле, увидев входящую Джулию. Как и всякий раз за последнее время, она подарила ему улыбку, и тогда Честер медленно поднялся из-за стола, опёрся на него руками и взглянул официантке прямо в глаза.

«В ближайшие дни мне придётся на некоторое время уехать из города, – ровным голосом произнёс он, – и я подумал, что было бы справедливым, если бы мы с вами на время поменялись ролями. Позвольте мне пригласить вас куда-нибудь, где я смогу поухаживать за вами так, как вы делаете это здесь».

Повисло молчание. Джулия опустила глаза, а когда она вновь посмотрела на Честера, на лице девушки не было уже ни тени улыбки.

«Вы имеете в виду какое-то конкретное место, мистер Линкольн?», – тихо спросила она.

Смена Джулии заканчивалась в шесть часов вечера, и они договорились, что Честер заедет по указанному ею адресу к половине восьмого. Предварительно Линкольн позвонил Стейси, предупредив, что будет вынужден задержаться допоздна. Нажав на кнопку окончания разговора на своём телефоне, он поймал себя на том, что не чувствовал ни малейших утрызнений совести. Джулия жила в высоком многоквартирном доме всего в нескольких минутах ходьбы от «Сайлент Бэй». Она спустилась почти сразу же после того, как машина Честера затормозила возле подъезда, и он впервые увидел девушку без униформы официантки. На Джулии была узкая тёмная юбка до колен, чёрные туфли на высоком каблуке и белая блузка без рукавов. Волосы она забрала в хвост, оставив только одну свободную прядь, которую обернула вокруг лба. Прядь эта в сочетании с тонкими загорелыми руками заставила Честера нервно слотнуть. По дороге, занявшей около двадцати минут, они обменялись всего несколькими фразами, чувствуя повисшую в воздухе неловкость. Линкольн привёз девушку в знакомый ему ресторан, в котором он несколько раз присутствовал на деловых обедах с отцом. Здесь тоже имелись отдельные кабинки, и место это как нельзя лучше подходило для конфиденциального общения людей, желавших обсудить свои секреты подальше от любопытных глаз и ушей. Посоветовавшись с Джулией, не проявившей, впрочем, особого энтузиазма в выборе блюд, Честер заказал лёгкий ужин и бутылку белого вина, к которому так и не приоткнулся до конца вечера. Беседа завязалась неожиданно, и они сами не заметили, как бесследно исчезла неловкость, преследовавшая их с самого момента встречи у подъезда. Они говорили и говорили, двое красивых молодых людей, радующихся отдыху после наполненного заботами дня, и со стороны невозможно было представить, какая социальная пропасть их разделяла. Честер узнал, что Джулии исполнилось



двадцать лет, и что она заочно училась на Юридическом Факультете Института Права. Жить самостоятельно и работать она начала совсем недавно. Её родители, оба также юристы, согласились оплачивать жильё дочери с условием, что та сама станет добывать деньги на все свои повседневные нужды. Джулия любила весёлые компании и дискотеки. Достаточно долго она посещала танцевальную школу, однако в какой-то момент вынуждена была прекратить занятия по причине, которую предпочла не озвучивать. В свою очередь Честер рассказывал о работе корпорации и своих новых проектах. Девушка слушала его с видимым интересом. Они ни словом не обмолвились о своей личной жизни, что было вполне естественным, однако Линкольн увидел в этом добрый знак. Время летело незаметно, и Честер опомнился только тогда, когда стрелки на его часах вплотную приблизились к полуночи. Он довёз Джулию до дома, и они поблагодарили друг друга за прекрасный вечер. Ни девушка, ни Линкольн не упомянули о возможном продолжении общения, но к себе Честер возвращался окрылённым, ведь теперь в его телефоне хранился номер Джулии. Когда он вошёл в свою спальню, Стейси была уже погружена в сон.

За три с половиной недели отсутствия в Городе Честер постоянно вспоминал их встречу. Периодически его посещало желание позвонить Джулии, но он всякий раз заставлял себя отказаться от этой мысли. Он вернулся из поездки во вторник, и на следующие сутки снова сидел за своим столиком в «Сайлент Бэй». Среда была выходным днём Джулии, но отныне Честера это уже не беспокоило: поход в ресторан он воспринимал лишь как возможность остаться наедине с собой и сделать звонок, о котором так мечтал. Его руки тряслись, пока он искал в списке нужное имя, и подсознательно Линкольн ожидал услышать только ряд длинных гудков. Облегчение, которое он испытал, когда голос Джулии прозвучал в трубке уже после третьего звонка, было настолько сильным, что он едва не выронил телефон. Девушка поздравила его с возвращением, и радость, услышанная им в её словах, мгновенно вымела из его головы всё, что он собирался ей сказать, и что так тщательно продумывал заранее. Подстёгиваемый адреналином, Честер предложил Джулии отметить его приезд, и было какое-то волшебство в том, что он знал ответ ещё до того, как тот успел слететь с её губ.

На следующий день Линкольн не стал заезжать в «Сайлент Бэй». В душе он боялся, что, увидев его, девушка откажется от встречи, и с той же мыслью он тянулся к телефону, когда тот начинал звонить. Уже в четверть восьмого его автомобиль стоял возле дома Джулии. Как и в прошлый раз, она появилась вовремя и помахала рукой в сторону знакомой машины. Вечер они провели всё в том же ресторане, и постороннему человеку могло показаться, что эти двое знают друг друга много лет. Джулия рассказала, что с первого курса встречалась с мужчиной значительно старше её, по всей видимости, опытным ловеласом. Она ничего не требовала от него, но он всё равно её бросил, не утруждаясь объяснением причин. У Джулии случился нервный срыв, родители даже вынуждены были заставить дочь наблюдаться некоторое время у психиатра. Она оставила танцы, перевелась на заочное отделение и уже больше года не имела ни с кем личных отношений. После того, как Джулия немного отошла от депрессии и вновь стала общаться с друзьями, отец, в надежде, что самостоятельная жизнь окончательно её излечит, снял для девушки квартиру. Рассказ Джулии вызывал у Честера сочувствие, и в то же время голова его кружилась от эйфории. Из ресторана они возвращались далеко за полночь. В течение всего обратного пути Линкольн искал повод для следующей встречи, и за миг до того, как девушка взялась за ручку дверцы автомобиля, его осенило...

Своё двадцатитрёхлетие Честер Линкольн, как и всегда, отмечал скромно. Приняв поздравления в офисе, в конце дня он поехал к родителям Стейси, где и провёл весь вечер. Сама Стейси ради праздника даже уговорила отца немного скорректировать дату деловой поездки, в которую они должны были отправиться вместе. Морган и его дочь вылетели следующим утром, а несколькими часами спустя автомобиль Линкольна уже стоял возле дома Джулии. Он знал номер её квартиры, поэтому просто поднялся на лифте на седьмой этаж и нажал на кнопку звонка. Джулия открыла дверь, и Честер вошёл в её небольшую студию, наполненную тем удивительным светом, который бывает только на закате солнца. Потом они пили сухое вино, купленное Линкольном в честь его дня рождения, заедая его сыром из холодильника Джулии, и когда что-то толкнуло их друг другу в объятия, они не колебались, потому что так должно было произойти. Это оказалось прекраснее, чем самые смелые мечты, и сознание гасло, и наслаждение становилось таким острым, что уже не имело значения, даришь ты его или получаешь. Ещё позже они, мокрые и огушённые, лежали рядом, сплетая пальцы. В дальнем углу комнаты слабо светил ночник, и она говорила о том, что боялась и ждала этого момента, что устала от одиночества, что ей страшно смотреть в будущее, и безразличны его деньги. Честер слушал и молчал, а потом притянул её к себе, и всё повторилось снова, только на этот раз до мучительной истомы медленно. Около трёх часов ночи Джулия, наконец, заснула. Тогда Честер тихо поднялся с кровати, нетвёрдыми руками натянул на себя одежду и



ещё какое-то время смотрел на спящую девушку, перед тем как выйти. И уже лёжа в своей постели, за мгновение до того, как выпасть из реальности, он подумал о том, что был счастлив.

В течение шести следующих суток Честер и Джулия виделись каждый вечер. Они любили друг друга с невыразимой словами жадностью, ещё и ещё, и после этого у них хватало сил только на то, чтобы вполголоса разговаривать, лёжа среди растерзанных простыней. Джулия не так много читала в своей жизни, её больше интересовало современное кино и новости фэшн-индустрии, но Честеру это было абсолютно безразлично. Закрыв глаза, ощущая, как пот понемногу высыхает на его лице, он слушал рассказы девушки о её подругах, учёбе, школе танцев и наслаждался блаженной пустотой в голове. На протяжении целого дня, проведённого в офисе, его мозг напряжённо работал, но едва он переступал порог квартиры Джулии, на него сниходила нирвана. Ни разу за это время Честер не задумывался о будущем – для него оно словно бы перестало существовать.

В город вернулась Стейси, и вечер после её прибытия стал первым за последнюю неделю, который Линкольн провёл дома. У Джулии был выходной, и он позвонил ей, чтобы предупредить, что не сможет приехать по причине неотложных дел. В голосе девушки слышалось плохо скрываемое огорчение. Той ночью Стейси долго не засыпала после секса, рассказывая о своём пребывании на Континенте. Честер слушал, а перед глазами его стоял прямоугольник окна, через который в студию на седьмом этаже пробивались лучи заходящего солнца. На следующий день он опять поехал к Джулии. Теперь они виделись два-три раза в неделю, как правило, совпадавшие с её сменами в ресторане. Девушка не задала Честеру ни одного вопроса по поводу изменившейся частоты их свиданий. Они по-прежнему встречались у неё на квартире, и встречи эти были не менее страстными, чем в самом начале. Как-то, охваченный эмоциональным порывом, он разыскал в Сети её личную страницу. Там, просматривая многочисленные фотографии, он впервые увидел её родителей и нескольких подруг. Он не желал думать о том, что ждёт его впереди.

Минуло полгода с тех пор, как Честер впервые вошёл в студию Джулии. Наступил октябрь, принеся с собой в Город сырость и холод. Низкое серое небо дробилось в беспокойных водах залива, и ветер шаркал по тротуарам мокрыми тряпками листьев. В один из таких дождливых осенних вечеров Стейси заговорила о свадьбе. После смерти Линкольна-старшего прошло достаточно времени, и больше не имело смысла затягивать с тем, что давно уже было оговорено и решено. Честер кивал и улыбался, чувствуя, как растерянность липкой капшей расплзается у него внутри. Весь следующий день он вёл себя как автомат, следующий заложенной программе. Покинув офис, он сразу же направился к Джулии, даже не предупредив о своём приезде. Она открыла дверь, и на лице её отразилось радостное удивление. Девушка потянулась к Честеру и вдруг осеклась, поймав его взгляд. Линкольн молча прошёл внутрь и тяжело опустился на кровать. Она села рядом с ним на колени, взяла его руки в свои, и тогда он начал говорить. Потом была долгая тишина. Джулия стояла у окна, и в ступившихся сумерках казалось, что капли дождя за стеклом падали ей прямо на плечи.

«Я сама виновата во всём, – произнесла она, наконец. – Глупо считать, что мы можем быть вместе, и глупо было запрещать себе об этом думать. Я, наверное, люблю тебя, но если ты сейчас не уйдёшь, ты сделаешь больно и себе, и мне, и твоей невесте. Уходи, Честер».

Линкольн медленно поднял гудевшую от прилива крови голову. Смысл последних сказанных слов ещё не дошёл до его сознания, и он встал и сделал движение в сторону Джулии. Неловко, скорее рефлексивно, она отшатнулась, и в этом было что-то, отчего Честер Линкольн развернулся и двинулся к двери размеренным шагом робота.

Ветер и дождь, пришедшие с севера, не утихали в Городе целую неделю, но в сознании Честера гнездилась только пустота и ничем не тревожимый туман. Лишь механизм продолжал равномерно отсчитывать обороты, потому что остановка означала смерть. А потом ступившуюся тишину взорвал звонок, дрожью прокатившийся по стенкам сосудов, первый за всё время. Он гнал свою машину сквозь струи дождя и бежал по лестнице, забыв о лифте. Дверь была открыта, и она сидела на кровати, как сидел он неведомо сколько лет тому назад. Он попытался что-то сказать, но она закрыла ему рот рукой, и всё завертелось и рухнуло в бездонную чёрную пропасть, откуда не возвращался никто и никогда.

Стейси со своей матерью занималась приготовлениями к свадьбе, позиции «Линкольн Индастриз» на мировом рынке выглядели незыблемыми, а они любили друг друга со страстью обречённых на смерть, не считая дней, не думая, почти не разговаривая. Серая хлопьяющая осень сменилась серой рыхлой зимой. Однажды, когда февральская метель утонула в полуслепший Город, Честер обнаружил Джулию сидящей перед своим компьютером. Слова на экране сообщали, что бракосочетание главы «Линкольн Индастриз» и его давней подруги состоится через два месяца. Это был единственный раз, когда наслаждение их





объятий обернулось болью. Они расстались молча, не прощаясь. Перед тем, как поехать домой, Честер долго сидел в салоне автомобиля. В какой-то момент он достал телефон, отыскал в нём фотографию, где они со Стейси обвиняли друг друга на фоне тропических деревьев, и подумал, что это было всё, что оставалось ему в жизни.

За два дня до свадебной церемонии Стейси с несколькими подругами отправилась в один из модных клубов Города, чтобы отметить окончание свободной жизни. Повинуясь традиции, Честер также пригласил на мальчишник своего будущего шурина вместе с некоторыми его друзьями. Он деликатно отклонил предложения собраться в одном из названных ими мест, и попросил всех быть у него дома к девяти часам вечера. Он не поехал в офис и полдня провёл в кровати, глядя в потолок. Без десяти семь Честер встал, взял телефон и набрал номер, который безуспешно пытался заставить себя стереть в течение двух месяцев, хотя и каждый раз вздрагивал, случайно наткнувшись на него в телефонной книге. Совершенно спокойный, он знал, что не станет колебаться, делая ей предложение, знал, потому что не имел другого выхода. Голос в трубке сообщил ему, что набранный номер больше не обслуживается. Линкольн бросился к компьютеру, вошёл в Сеть и узнал, что запрошенная им страница пользователя была удалена. Дверь на седьмом этаже высотного дома ему открыла пожилая женщина, которая вселилась в освободившуюся квартиру несколько недель тому назад. За вечер Честер выпил больше спиртного, чем за всю предыдущую жизнь, и после пятой порции перестал удивляться незамутнённости сознания. Потом, сославшись на головную боль, он выпроводил собравшуюся компанию, зашёл в свой кабинет, набрал код сейфа и достал оттуда отцовский пистолет. Однажды, Линкольн-старший объяснил сыну, как пользоваться этим оружием, и теперь увиденное когда-то с удивительной ясностью всплыло у него в памяти. Он зарядил пистолет, зачем-то навинтил на ствол глушитель, отвёл предохранитель и поднёс холодную сталь к виску. Кисть его руки бешено плясала в воздухе, никак не желая успокаиваться, и за мгновение до того, как Честер спустил курок, ствол, словно обретя собственную жизнь, дёрнулся в сторону. Негромкий хлопок растворился в звоне бьющегося стекла. Дрожа всем телом, Честер поднялся со стула, повернулся и увидел своё отражение в старинной работы зеркале, стоявшем на полу. Почти в самом центре его зияла дыра, от которой по поверхности расходились уродливые трещины. Изображение пляло и качалось перед глазами Линкольна, будто в одном из тех несовершенных зеркал, которые давным-давно устанавливали в рыцарских замках. В этот момент Честер понял, что должен был делать...

После свадьбы, прошедшей с приличествующей статусу новобрачных степенью торжественности, молодожёны отправились в путешествие, чтобы провести свой медовый месяц на Островах. В первый же вечер после возвращения в Город Честер явился в дом Алекса Беннингтона. Он говорил долго и подробно, стараясь не упустить ни одной детали, и уже в самом конце, заметив на лице старика изумление пополам с недоверием, выложил на стол пистолет, в обойме которого не хватало одного патрона. Некоторое время Беннингтон молчал, не сводя глаз с оружия, а потом задал вопрос. Линкольн говорил ещё несколько минут, механически отмечая, как бледнеет лицо его наставника. Последовали два часа бесплодных уговоров, а неделю спустя Честер положил перед Беннингтоном детально проработанный план замка. Из всех проектов «Линкольн Индастриз» серии «умный дом» этот, без сомнения, являлся самым масштабным. На пустынном, площадью всего три квадратных километра острове, затеряншемся среди безбрежных океанских просторов вдали от оживлённых судовых маршрутов, из каменных блоков было возведено подобие скалы, на вершине которой началось строительство замка. Конфиденциальность всегда лежала в основе политики корпорации, которая имела достаточно рычагов для того, чтобы проводить все работы в обстановке максимальной секретности. За полтора года, в течение которых шло строительство, смерть с перерывом в несколько месяцев унесла жизни дедушки и бабушки Честера. На похоронах Линкольн, прижимая к себе плачущую Стейси, думал, что сама судьба способствовала его планам, унося последних родных ему по крови людей. Стейси с удивлением и некоторой опаской отнеслась к неожиданному желанию мужа научиться управлять вертолётom. Сверхнадёжные электронные системы «Линкольн Индастриз», не знавшие сбоя, фактически свели пилотирование к взлёту и заходу на посадку, и в единичных случаях – манёврам, во избежание столкновения с тем или иным объектом в воздухе. Вручную вертолётom управляли лишь военные в зоне конфликтов, спасатели и редкие любители экстремальных развлечений. Именно потребностью в острых ощущениях Честер и объяснил свою идею. Под руководством опытных инструкторов он быстро прогрессирует и вскоре смог самостоятельно совершать недолгие полёты над океаном. О том, что возведение замка завершено, Беннингтон сообщил Линкольну немногим раньше запланированного срока. Несколько недель спустя Честер последний раз поцеловал жену, сообщив ей, что собирался немного полетать. Сев в кабину вертолётom, он вставил в при-



ёмник чип, содержавший программу маршрута, составленную лично Беннингтоном, и поднял машину в воздух. Через два с половиной часа он спустил на плиты замка, который должен был стать его добровольной тюрьмой до конца жизни. Честер не беспокоился о том, что его будут разыскивать, усомнившись в катастрофе вертолёт. Не боялся он и того, что его уединение нарушит какое-нибудь судно, случайно оказавшееся в этом месте. Линкольн верил, что судьба поможет ему прожить остаток дней в покое. В ту ночь он впервые за долгие месяцы спал глубоким сном без сновидений.

\*\*\*

На высоте ста метров над уровнем моря на балюстраде своей тюрьмы Честер Линкольн, скрестив на груди руки, стоит у ограждения и смотрит внутрь себя, туда, где рухнул последний песочный замок, последний искусственный смысл существования. Его лицо вдруг искажается, и он бежит вдоль балюстрады, спускается по лестнице, распахивает входную дверь, несётся вперёд и застывает у самого края скалы. Высота с размаху бросается ему в глаза, ветер туго бьёт в лицо, и он стоит у обрыва, не в силах ни броситься вниз, ни повернуть назад. Честер не знает, что старик Беннингтон перед смертью виделся со Стейси, и сейчас она летит по небу в кабине вертолёт, за штурвалом которого сидит пилот корпорации, а в приёмник вставлен двойник чипа, помогшего ему покинуть мир людей. На краю обрыва Честер Линкольн смотрит на горизонт и ждёт чуда, крохотная фигурка на фоне огромного замка.

*P.S. Идея этой повести возникла у меня одной душевной летней ночью в комнате без окон, на съёмной квартире старого друга и его жены. Сам не знаю почему, в моём сознании вертелись кадры из клипа Linkin Park, того самого, где музыканты играют на стенах какого-то странного сооружения с химерами (впоследствии я решил дать многим из персонажей, включая главного героя, имена и фамилии участников группы). Так появился образ человека, обрётшего себя на заточение в замке. То, что изначально задумывалось как рассказ, я начал писать часов тридцать спустя, на рассвете, в комнате с окнами, выходящими в сторону железнодорожного вокзала, в которой уже другой мой друг любезно разрешил мне переночевать. Он же подарил мне тетрадь, куда я записал первые строчки, а ручка у меня была в наплечной сумке. Тетрадку эту я долгое время носил с собой и писал в ней ещё в нескольких чужих квартирах, во дворе Института связи, в плацкартном вагоне поезда, и даже сидя на скамейке возле высотного дома, находящегося в славном городе Евпатория. Потом был перерыв длиной почти в девять месяцев и четыре дня работы, позволивших наконец-то поставить точку под фразой, которая до самого конца оставалась для меня загадкой. Временами повесть писалась так, будто рукой моей водил кто-то извне, в другие дни я мог по десять минут ходить по комнате, чтобы вымучить хотя бы одно предложение. Честер Линкольн живёт в мире, очень похожем на наш, и вещи, которые он так отчаянно ищет, надеюсь, всегда останутся главными в системе приоритетов человека. Мне искренне жаль моего героя, и я хочу верить, что судьба всё-таки позволит ему вырваться из им же возведённого замка из песка. Последняя строчка написана. Спасибо боли, разочарованию и одиночеству.*

# ЮЛИЯ ДОЛГАНОВСКИХ

---

## ЧУТЬ СЛЫШНЫЙ ПРИВКУС КИСЛОРОДА

КОНЕЧНО, ЭТО БУДЕТ СТРАННО...

Конечно, это будет странно –  
однажды воды Иордана  
уйдут под лёд,  
а над Кшипрой,  
качая ветхой головой –  
так мирт качает голой веткой –  
волшебный слон зальёт каток.

Весь туристический поток,  
качнувшись на мосту Риаљто –  
каков кульбит! тройное сальто! –  
коснётся льда грудною клеткой  
и многоликою толпой  
поедет вдаль, а за собой  
потянет сумки, чемоданы...

И это тоже будет странно –  
страницы старого Корана  
среди напевных, пряных сур  
предъявят тишину иврита  
библейского, но сигнатур  
Бог не оставил – Книга сшита  
разноязыкою гурьбой.

...Качая ветхой головой –  
так мирт качает голой веткой –  
летит Земля в ледовой клетке  
без нас, без книг, без чемоданов.  
Скользит печальный слон.  
Как странно –  
всего лишь воды Иордана  
ушли под лёд.  
А над Кшипрой...

## МОЛЧАНИЕ

*Идут слова – молчаний Каины...*

*В. Хлебников*

Погибло слово. Грозный росчерк  
разрезал черноту угла –  
чем ночь длинней, тем день короче,  
не вспыхнет свет – здесь небо ропщет  
дождями на твои луга.

Травы некошеное племя  
течёт, не чуя берегов –  
так землю вспарывает лемех,  
так дремлет лес под птичий лепет,  
так люди ждут своих богов.

Речь не слышна – лишь лёгкий шелест,  
неутолимая алчба  
высушивает реки, стелет  
покров червлёный. Лиловеет  
рубец позорного столба,

чьи корни оплели окраины.  
...Во рту расцвёл болиголов.  
Нет, не слова – молчаний Каины,  
молчание – вот Каин слов.

## ДОН-КИХО

Чугунный Дон Кихо – игрушечная шпага,  
прочитанная кни в негнущейся руке.  
Прожорливое вре упорно, шаг за шагом,  
глотает скрип каре и стрёкот кастанье.

Какой анжамбема! Бравурная Ла-Манча  
врывается, как смерч, в суровые Касли!  
Холодного плеча коснусь – а был ли мальчик?  
Ответа нет, а ло... а лошади всё шли

по берегу реки, переставляли ноги,  
неспешно погружа в стареющий песок.  
Мой бедный Росина! Ты был одним из многих,  
и тень твоя грустит среди притихших строк.

...В заржавленных руках болит копьё Лонгина,  
на острие копья качается Грааль.  
Превозмогая вре, толкающее в спину,  
чугуня каждый шаг, идёт идальго вдаль.



## САГА О ДЕРЕВЬЯХ

На ещё не открытой планете Я л м е з  
обитают двуногие и к е в о л е ч –  
волоокне женщины крошат алмаз,  
меднокрылые птицы слетают с их плеч.

Чудо-женщины трудятся в поте лица –  
выкорчёвывают из силля дома,  
не жалеют лачуг, не оставят дворца –  
расчищают Я л м е з для деревьев-громад.

Оседлав меднокрылых, плывут к облакам –  
в колыбелях, среди непролазных ветвей,  
тонко плачут беспомощные и ш ы л а м,  
ждут они волоокных своих матерей.

Льётся небо, течёт через край о к о л о м –  
и ш ы л а м, напившись, раскрошит алмаз  
и с улыбкой сорвёт распутившийся дом  
на ещё не открытой планете Я л м е з.

\*\*\*

Вот вы говорите, что нет у деревьев рук,  
что ветер колышет крону – и ветви шумят.  
Но это неправда! Когда покидают юг  
перелётные птицы и к нам на север летят,

их встречают деревья приветственным взмахом ветвей,  
их зовут вразнобой деревья – ко мне! ко мне! –  
и птицы садятся, чтоб вывести в мир сыновей  
и дочерей – навстречу тревожной весне.

Дерево держит в объятьях своих колыбель,  
дерево песню поёт – баю-бай, баю-бай,  
солнце окрестит птенцов – ветвяная купель  
выдержит бурю, и дождь, и озлобленный грай.

Куда б ни стремилась птица, замкнётся круг –  
вдруг потускнеет лето, и на крыло  
встанут птенцы, рекой потекут на юг –  
туда, где ещё тепло, где ещё светло.

Я РАССКАЖУ ТЕБЕ, РЫШАРД...

*tak mało radości – córki bogów w naszych wierszach Ryszardzie\**  
*Збигнев Херберт, «Рышарду Крыницкому – письмо»*

Я расскажу тебе, Рышард, как воев в груди  
ветер, захваченный в плен у морских берегов.



Рыщет мой пленник среди золотых валунов –  
слов, столь тяжёлых, что мне не понять, не поднять.  
Голос, срываясь, скользит по их гладким бокам,  
падает голос и тает в солёной волне.

Горлица мелким стежком вышивает узор –  
это звезда обронила в полёте крыло?  
или трезубец войны, что пронзил остриём  
веру, надежду и отзвук забытой любви?  
Голос, срываясь, скользит к охладевшим пескам,  
падает голос и вмиг зарастает травой.

Что за трава, скажешь ты, на холодном песке?  
Рышард, мой Рышард, тебе ли названья не знать?  
Боги покинули берег, оставили нас –  
голос, лишившись опоры, стремится к земле –  
силу найти – не найдя, поскорей умереть.  
И разгибает колени трава-говорун,

и поднимает на хрупких зелёных руках  
те валуны, что порочным металлом блестят,  
те валуны, что надменны и столь тяжелы –  
но не срывается, но не даёт им скользить –  
тянет трава-говорун валуны к небесам,  
чтобы с размаху разбить их о толщу воды.

Рышард! Послушай, как море, проснувшись, взревет!  
Выбросит волны на берег, погубит траву,  
перемешает и звёзды, и горлиц – с песком,  
голос и ветер сольются и вновь зазвучат.  
...Боги вернутся на берег, детей приведут,  
солнце согреет песок, засверкают на нём

свежеотлитые морем цехины-слова –  
радости, дщери богов, будет столько в стихах,  
сколько, о Рышард, в ладони ты сможешь набрать –  
и принести этот дар замолчавшей траве,

горлице, ветру и даже летящей звезде,  
что обронила крыло у морских берегов.

*\* так мало радости – дочери богов в наших стихах Рышард  
(перевод с польского, пунктуация Э. Херберта)*

## МЁД

В субботний вечер погружаешься, что в мёд –  
жужжишь и набиваешь брюшко негой,  
краюшка солнца тает в тёплой кружке неба –  
а сколько неба! –  
будто кто-то льёт и льёт  
лазурь из нескудеющей руки.



Прозрачен мёд, легки и редки пузырьки –  
тронь хоботком –  
чуть слышный привкус кислорода  
запомни – вдох! – и тонкокрылая порода  
на дно отчаянно потянет вопреки  
привычке быть на грани синего и трав.

Коварен мёд – и выдох резок и кровав –  
а сколько боли!  
Опустевших средостений  
касается озябшая рука  
в надежде, что случится воскресенье.  
...Снисходит смерть –  
легка, сладка и глубока.

# АНДРЕЙ КОСТИНСКИЙ

---

## И Н О Й А

*Квадрофуга-мистерия без начала*

Посвящение:  
*Героям (и их предателям),  
Р О Д И Н е, Солнцу над Нею,  
Богом данной Жизни  
и Жизнью данной Смерти*

В этой стране сторонятся своей тени,  
если она думает немножко иначе.  
И если тень становится на колени  
перед иконой, то это ещё не значит,

что производящий тень – между ею и солнцем.  
В этой стране отстранён и поэтому странен  
каждый второй от первого и от второго первый  
не потому, что от хвори ломает социум,  
а потому, что целым никак не станет  
символ такой простой и понятной веры.

Только пускай не упадут при этом  
те волоски, что сочтены Богом.  
Он... Он посмотрит на нас и, с Третьим Заветом,  
крест подобрав наш, нашей пойдёт дорогой.

1

На распев, извлекая из – в лекаря  
то ли звука толику, то ли придыхание,  
вторю тому, подобно эху, в ряд  
с отражёнными «я» из каждого зеркала, – камни ем.

Не пытаюсь ни прорицать: «Кто ударил?»  
Не бросаю копьё навстречу комете. – Метил?  
Живу от рождения смерти. – Дар ли?  
Натираю щит до рассолнца меди.

От молитвы утренней до вечерней,  
от засыпания до пробуждения –  
кажется Я(Вь)СОН каждой вдове черней,  
чем обещания преднаваждение.





Но не возвращается лскарь сюда –  
он, не найдя где он сейчас.  
В нём \*ил(л)нон жизней, и у «да»,  
и у «нет» в изгойловье – свейча.

Шепчу имена тех святых,  
чьи образа видел в церквях.  
Себе в зеркало: после «ТЫ» – «Х»,  
но сначала после «Я» – «Х».

Веди буки аз...  
Житие мое.  
Въедет буква в глАз.  
Г? Д? Е?

## 2

И как будто возник в жизни чужой:  
чужое утро – интересно и ново,  
чужой день – невнятен и жёлт,  
а вечер чужой – цвета совсем никакого.

Но ночь чья-то  
тоскливей всего.  
Будто изъято  
лицо, и воск

налит на него, и  
маску мою  
кто-то в притворе  
кладёт на скамью.

Кто-то её надевает,  
и вот  
сидит на диване  
и чипсы жуёт,

и пиво пьёт  
под «Севилья» – «Шахтёр».  
Там всё – не моё...  
Где неба шатёр?

Где вены ручьёв  
и выстрелы звёзд?  
Где пивы ручонки,  
а не хэпши бёзд?!

ГДЕ – а я знаю точно, что она была  
Та – а я помню верно, что всё то было  
К-о-т-о-р-а я так высоко держал флаг  
Единственн а я – новый день надевал на вырост.



## 3

И встаёт надо мною  
образ – Спаси! – Оранты,  
над моею неназванною страну,  
где каждый пятый – орагай,  
каждый четвёртый – кузнец,  
каждый третий – мудрец,  
и каждый каждый – слепец.

А когда рассчитаются на первый-второй,  
то вторым окажется первый,  
но каждый с единственно верной  
истиной: Я – иной.

## 4

И когда с востока Солнце придёт,  
в этом будет какая заслуга,  
ведь на Западе ночью разрежут лёд  
и разрежат воду варяжки струги –

то ли вражки, то ли товарищей,  
варящих веры щи с теми, то тварь ищет  
Божью ли, истуканову? Но с Запада уже встаёт  
навстречу Солнца и на встречу идёт.

И слово читается взад-вперёд,  
и в зеркале шуйца одесную жмёт,  
и падает с неба не манна, а пти-чей помёт,  
и горклостью в привкусе – западный мёд...

И ветер приносит от Альбы-и-Альп  
дождь, собранный из луговой росы.  
И сохнет их Солнце, как содранный скальп,  
снятый с того, кто недоголосил.

Кто перебежал горизонт – сгорел.  
Заря расплавляет даже мысли о ней.  
Кажется покров ночи из стрел  
движущейся крышей крушенья к моей стороне.

Меняются буквы и чертежи.  
На запястье нащёлкиваются часы.  
И подбирается каждому жизнь  
новая – вместо старой... Спаси!

## 5

Заслони рукою ли, частоколом,  
прорубить помощи для нашего Солнца путь!  
Даже Луна смотрит с лезво-прищуро-узором  
месяцем, будто хочет моргнуть.



/-\ (-) РГА кричит утра:  
 Добрь  
 Ий дей,  
 новый день!  
 Пока Ночальника тьмы стрела  
 из всей-то тьмы не поразит цель,  
 он прокажет: «Солнце своё обесцень,

обездвижь, обезвесь, обе гласные сомкни  
 в любой губной звук, дабы дыбы избежать.  
 Звезда воскотилась, восточилась, и  
 попросила горизонт руку разжать,

перевязанную памятью... кап, кап...  
 И так до брызга заревной крови.  
 Левое Солнце – словно с головы сорвали скальп.  
 Правое – голова младенца, покидающего лоно.

ТЫ – МЫ из ТЬ МЫ, где I погрузилось в шторм,  
 и что Рим теперь, что мир,  
 что эМ эР обратноМоРное шторм*мммммм*-  
 развивание на ветру, чей вой – РРРРык – миг.

## 6

И вот я охвачен дверью, обвёрнут, как плащаницей,  
 на дверную цепочку взят от «убежать бы!»,  
 и будто бы в бочке такой вот брошен волниться,  
 пока не прибьёт к берегу, на котором сидят жабы,

и у каждой во рту по стреле,  
 и каждая раскрасавилась:  
 «Иди ко мне!»  
 «Ко мне!»  
 «Ну, смелей!»  
 И как тут не сделаться цаплей?

Но у меня война.  
 Двух солнц сближаются орбиты.  
 И ветра гудит вой над  
 мечтами-самолётами сбитыми.

Аб ово – в авис. Из тела – лет. К спасенью ль?  
 Ийк. Кий. Яик. Я и к Омснатке родной.  
 А пока обездверены сени,  
 и я спелённут дверью же и ветром сплюнут в прибор.

Когда раскроют плащаницу,  
 и раскроют по моему контуру,  
 то увидят лицо не моё, а маски восковой.

И спрячется одно из солнц за Луну,  
 а пербер – в конуру.  
 Тени вберутся, и присловянятся:  
 «Матка Боска!»



спаси... спаси...  
 иже еси...  
 на небеси...  
 не искуси...  
 пронеси...  
 и...  
 и..  
 и.

## 7

Какое из двух солнц – истиннее,  
 решит ли верящий только своему?  
 Созданная Инойа – изначального оплот.  
 Дверь-плащаница, на меня выстененная,  
 собрала по контуру светотворимую тьму,  
 чтобы в новой коснулся дна солнца луч-лот.

Луна... та, которая «луна»=«звучит»,  
 укрывает собой первородное Солнце Востока.  
 Западное Солнце обжигает уже кирпичи  
 для новой башни – начинается стройка.

Я-зык к ъ я-зыку. Зву к к зву к у.  
 Оба уха – э( и обратное э).  
 Но я смотрю, будто кантуженный... вакуум...  
 И слышу только треск – лопающийся трест.

Надвигается Луна на Солнце. Зажмуриваю глаза.  
 Западное Солнце ближе. Как навстретенные поезда.  
 Слышу скрип... визг... тормоза...  
 Тот, кто в пути, забывает, спешил куда.

Птица в небе внебеспокойная  
 замирает, крылья расправив –  
 угустившись, воздух держит её иконою  
 над землёю моею – правдою.

Останавливаются вагоны в метро.  
 Замирают чернила в ампулах истории.  
 Будто свет в луче, в венах плотнится кровь,  
 набираемая в амбулаториях.

На плацу духовой оркестр замер на (Δ)о-р(е).  
 Диктор не договорил в конце «Д о з а...»  
 В храмах косичка воска замерла на свече на полдор...  
 У плачущих слеза замерла до п о с л е з а...  
 Камень Луны  
 Солнце Грот  
 С Той Стороны  
 Грохот Торг



Луна прикрыла Солнце – кругом круг.  
 Казалось бы, Солнце Запада – свети да грей!  
 Да только... темно стало что-то вдруг,  
 и алый твой парус чёрным стал, Грей...

И обесцветились небеса,  
 и отемнели цветы, сады.  
 И от Осаки до Кюрасао  
 почувался осады дым.

Второе Солнце ... Оно потемнело,  
 как будто луна оба солнца закрыла.  
 И сделалась тьма, как в пещере неолита,  
 когда костра угасала сила.

И Солнце Запада, потеряв соперника,  
 к тому же – и отраженье его! –  
 забыв учение Н. Коперника,  
 исче зло зло вон но вон!

Луны откатывался камень  
 от солнечного грота.  
 Amen.  
 Nota:

*Пусть всегда будет Солнце!*

—  
 Квадрокругзма – «т» в виде квадрата.  
 «0» в виде круга =  
 Квадрокруг+зма))

# ОЛЕСЯ РУДЯГИНА

---

## ЦВЕТУЩИЕ И ПЕВЧИЕ САДЫ

\*\*\*

Мамочка – печальная  
деточка войны,  
бремя изначальное  
без вины – вины:  
вечный призрак голода,  
тлеющий пустырь,  
Господи, как холодно! –  
прибыли. Сибирь...

Жизнь – эвакуация  
из дражайших мест,  
где конечной станцией  
лес забвенья, Лес –  
вьюгами стреноженный,  
смертный волчий вой, –  
болью вдоль исхоженный  
маленькой тобой.

Самоотрицание –  
путь в твой первый класс!  
Детством испытание  
длится посейчас:  
Одинокость колкая  
хрупкого дичка,  
снег в глаза осколками –  
А дочка...

## В ДЕРЕВНЕ У ОТЦА

Долгий медленный дождь  
над сомлевшей Волокой\*,  
всхлипы иволги, – пленницы лета, –  
всё глуше,  
от, когда-то, – в «день третий» –  
означенной суши  
не осталось ни пяди  
в тиши волоокой.



Поднимается лес по течению  
 всё выше,  
 небесами смиренно  
 трава прорастает,  
 Слышно лишь, как во сне,  
 осторожная, дышит,  
 притаившись в ветвях  
 голубиная стая

листопада грядущего... И от порога  
 взгляд скользит по волнам,  
 в зыби их различая:  
 вот скатилось в подол  
 босоногого бога  
 недозрелой звездой нежной –  
 яблоко рая...

—  
 \* деревня под Черновцами

### СМЯТЕНИЕ

Мамамамама не засыпай  
 тонкими пальцами горькими не холодей  
 вешней снегурочкой облаком робким не тай  
 где твой характер железная воля где

это мчит слышишь свиридовская метель  
 это Пер Гюнт запряг вороного коня  
 это отчаянья грех страха смертного лютый эль  
 колокол бьёт зеркала тролль хоронят меня меня

Вот тебе тёплые со снегирями носки  
 их вязали тамбовские бабушки продавали в Москве  
 от разлуки на веки печали убойной тоски  
 видишь алые ягоды по белой белой канве

ах пойдём погуляем пойдём на руках понесу  
 только б дальше уйти от пространства где выхода нет  
 помнишь снилась тебе я всё в пубке чёрной в лесу  
 да на саночках с горки к болезни одна из примет

это мчит слышишь свиридовская метель  
 это Пер Гюнт запряг вороного коня  
 это отчаянья грех страха смертного лютый эль  
 колокол бьёт Рождество вечность нового дня

### ПЕСНЯ АКЫНА ПРОСТИТЕ

Чего не переделаешь, пока умирает мама сто раз её разбудишь растормошишь  
 откроешь закроешь окно поменяешь воду василькам стоящим на подоконнике в кружке старинной  
 баварской  
 пощупаешь памперс «Не мучай меня!» -  
 попытаешься накормить дашь смешные лекарства  
 параллельно



дважды вычитаешь прекрасную рукопись Тани Н.  
 проверишь дипломную сядешь писать рецензию отзыв  
 не получается снова откроешь дверь смотришь смотришь  
 покачиваясь на сквозняке  
 дышит?

\*\*\*

На верхнем этаже колотится бешено дрель  
 единственный раз наверное этому рады на свете – я рада  
 мама живая сердится морщится не открывая глаз  
 бормочет этого ещё не хватало  
 мешаем мешаем мешаю  
 не наученная опытом горьким  
 если не дашь уйти  
 будет хуже  
 всегда только хуже  
 вспыхнет пожар  
 наводнение  
 землетрясение  
 тот кого ожидают  
 уйдёт всё равно

а потом приснятся в белых одеждах кто-то  
 скажут сочувственно ласково  
 ну время её пришло

\*\*\*

*Как же тебе страшно* говорила младшая по телефону  
*моя маленькая как же тебе*

мама попросила вчера пожарить картошку  
 впервые за две недели  
 я не заставляла её кушать  
 не впихивала в рот ложку  
 но не вкусно не вкусно всё ей не вкусно  
 хоть я хорошо готовлю и стараюсь  
 Чего тебе хочется мама скажи  
 всё достану  
 птичьего молока  
 шербета  
 мангавокадо  
 теперь всё всё есть лежит на полках  
 правда не покупаем нам не нужно  
 не в кайф не до жиру  
 говорите хамон смешно  
 мама спрашивает так мы теперь не с россияй  
 нет а с кем  
 мы теперь кто  
 что нет больше союза  
 вот дураки то вот дураки  
 снова спит





говорит с кем-то во сне  
 молодым таким голосом звонко  
 – Хорошо? Хорошо?!  
 вновь очнулась  
 видимо договорилась там об отсрочке  
 утром перемигиваемся с соседних кроватей  
 улыбаясь  
 дотрагиваемся до кончиков пальцев  
 правой руки друг дружки  
 хорошо

### ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ИЮНЯ

Такие дожди ниспадали,  
 органно так липы цвели,  
 что прочие думы и дали  
 не трогали стельной земли.

И ветра горячего волны  
 ломались с полудня в окно,  
 ликующей иволгой полный,  
 сон спутал пути, но на дно

гремучего млечного лета  
 сияющего не уволок  
 старухурёбёнка...  
 И эта  
 отсрочка от небыли – Бог.

\*\*\*

Спасибо, бессонная птица канюк,  
 за то, что канючишь со мною,  
 а то бы мне был однозначно каюк  
 под жгучей бесслёзной луною.  
 А то бы меня заломала тоска  
 ужасным дубровским медведем, –  
 о том, что на море уже никогда  
 мы с мамой моей не поедем.  
 Спасибо брат-птица за голос живой,  
 за – полночь пробившее – сердце.  
 Канюк... Ты ль не Ангел хранителю мой,  
 последнюю прячущий дверцу?

\*\*\*

Я тебя сторожу сторожу  
 и совсем на исходе сама  
 словно время прилежно слежу  
 как мелькает дыхание сна



как проносится тень по челу  
 как меняет улыбка лицо  
 как в окно в жаркий полдень пчелу  
 не пуцу эту смерть на крыльцо  
 рядом рядом прилягу с тобой  
 на соседнюю детства кровать  
 может быть кто-то там даст отбой  
 или спугают – что выбирать?

#### ВСТРЕЧА У МОРЯ

То ли полоз, то ли уж,  
 То ли чёрная гадюка –  
 Выползла из моря,  
 муж  
 всё рисует и – ни звука!

Щурясь, смотрит на волну,  
 Кистью всё быстрее водит,  
 Будто вверенное сну  
 На бумагу переводит.

Вот и осень. Пятый день.  
 Неба щедрого подарок:  
 Пенный, ясный, сини сень –  
 Тёплый шторм, как счастье, ярок!

Ах, полосочка косы  
 Между морем и лиманом, –  
 Грусти золотой часы  
 Облаками – караваном!

И под зонтиком сидит  
 Мой художник-под присмотром  
 Глаз змеиных... Так глядит  
 Вечность взглядом приворотным.

\*\*\*

Вот новость – дождь,  
 так долго жданный летом,  
 нелепый нынче в щедрости своей.  
 Планета осень, тленье,  
 и об этом  
 стремительность и нежность наших дней.  
 Оглядываться – времени не хватит,  
 и, к морю отпуская только в снах,  
 жизнь промотает нас, прожжёт,  
 растратит,  
 остынет пеплом горьким на губах  
 всех в мире войн, безденежья и страха,  
 отчётливым предчувствием потерь...



Но на краю отчаянья и краха  
в бреду есть брод  
и – отвратима плаха:  
Люблю. Любима.  
Навсегда теперь.

\*\*\*

Сходи в аптеку, детка,  
принеси  
сбор тайных трав –  
последнюю надежду:  
траву полынь,  
траву забвенья,  
между  
её стеблей  
истаявшую тень.

#### ИВОЛГА

От птицы до звезды –  
подать крылом.  
От птицы до звезды –  
мгновенье лета,  
Когда, прильнув к дыханию рассвета,  
Душа моя не помнит о былом.  
Любить тебя.  
От птицы до звезды,  
не меркнущей  
в луче зари неспешном,  
жизнь пролегла в сиянии кромешном –  
цветущие и певчие сады...

\*\*\*

– Несёт меня лиса  
за синие леса,  
за высокие горы!  
Заметает хвостом небеса,  
стихли ангелов голоса,  
ни к чему уговоры.

Забей, забудь, усни,  
звезду полей присни,  
да приспи ненароком...  
В рыжих лапах слежу из-под век, –  
то ли птицы жар, то ль человек  
с истекающим сроком, –



как берег пуст и бел,  
как век мой отсвистел,  
отхлестал рваной раной.  
В дуплах мёд диких пчёл загустел,  
на подмогу никто не поспел.  
Лишь листвы пятна ряной...

\*\*\*

влезешь в левое ухо белой своей собаки  
из правого вылезешь уже на том берегу  
кроме заветных чудес остальное всё враки  
кроме души ничего я не уберегу

кроме неё птицы-жар яблоньки молодильной  
мёртвой живой воскресающей вечной воды  
чем же ещё жить в преддверье вселенской давяльни  
кем населять кущи райские божьи сады

\*\*\*

Жизнь – только повод упасть в стихи,  
как в заросли пастушьей сумки цветущей,  
которой поля футбольные заросли  
заброшенных пионерлагерей – амнезии сущей.  
И остается отчетливый след  
тела с распахнутыми крылами  
в траве, когда я ушла, а вслед –  
кукушка и кто-то без имени  
летними голосами...

# АННА ГАЛАНИНА

---

## ДВА СЕЗОНА В ТРИ ДОЖДЯ

\*\*\*

Я проснулась, чтоб присниться –  
я давно пообещала.  
А вокруг – чужие лица,  
рваный парус у причала,  
чёрный кот замёл дорогу,  
чёрт на рее корчит рожи...  
Здесь ли строить недотрогу,  
где Весёлый Роджер ожил?  
В мутном небе альбатросы,  
башмаки дырявы, сети...  
На столе – пиастров россыпь,  
и фонарь украдкой светит.  
Карта мира и сокровищ...  
Нет на ней дороги к дому.  
И нелепо хмурить брови  
в снах, обещанных другому.

\*\*\*

В той таверне остановиться  
мог любой, и харч был недорог.  
А хозяйке было лет тридцать,  
моряку – пожалуй, за сорок.  
Он спешил, был странным немножко...  
– Как зовут, моряк?  
– Можно Грэм.  
Засмеялась, глядя в окошко,  
руки над кастрюлями грея,  
и запела что-то про берег  
и шторма девятого балла.  
А когда он вышел за двери –  
вслед ему рукой помахала.  
После – вилки чистила мелом  
и сама себе улыбалась...  
Жаль, что показать не успела  
аленький заштопанный парус.



\*\*\*

Чемоданы ползут черепахами,  
пассажиры идут караванами,  
путевые обходчики – пахари,  
проверяют пути между странами.  
Проводницы плывут вереницею  
и разносят чай в подстаканниках,  
провожают их взглядами рыцари  
в разноцветных и мятых подштанниках.  
Машинисты бессонно-усталые  
восседают за пультами-башнями.  
Чередой – поезда за составами,  
полосой – перелески за пашнями.  
Вдоль пути – города с полустанками,  
в них живут неприметные граждане  
и глядят сквозь окошки да ставеньки,  
и дорога мерещится каждому.

\*\*\*

Путеводной рекламы месиво  
все пути и дороги залило,  
занавесками машет весело  
забегаловка привокзальная.

На пороге стоит буфетчица –  
хороша, как реклама бубликов.  
Усмехаясь, глядит, как мечется  
по перрону шальная публика,

восвояси не зло топорщится  
и бесстрашно к метро трамбуется.  
Вслед за дворником и уборщицей  
их сметает куда-то улица,

там вдали – переливы звонами  
и щебечет бульвар трамваями...  
Там становятся люди волнами,  
и огнями в окне, и сваями.

\*\*\*

Дом закрыт на два ключа  
в три неполных оборота –  
не откроешь сгоряча.  
Позвонив, услышишь: «Кто там?»,  
и ответишь: «Кто-нибудь».  
Это славное начало  
для того, кто держит путь  
до порога от причала.



Я открою, может быть:  
расставанье – повод веский.  
Дождь начнёт морзянку бить  
по окну с весёлым треском,  
транспорантик теребя,  
где вождём хранимы даты:  
от неожиданного тебя  
до забытого когда-то  
два сезона в три дождя,  
пара линий на ладони  
и от прежнего вождя  
гвоздь, забитый в подоконник.

\*\*\*

Хмурого города свет слеп,  
каждый фонарь без причин бежев.  
Лужи обходятся след в след  
неторопливо, почти нежно.  
Скачут автобусы: прыг-скок,  
каплями в окнах блестят лица.  
Если бы только трамвай смог,  
он бы над рельсами взмыл птицей –  
штанги расправив, смахнул пыль  
серых дождей с кружевной тучи.  
И тротуар бы за ним плыл,  
весело морщась, а был – скучен.  
А пассажиры, мокрей туч,  
пели бы песни, открыв окна,  
и глупый город бежал прочь  
к лесу – неважно, каким боком.

\*\*\*

Грея солнце на ладонях,  
приготовила обед.  
Занавеска в маков цвет  
прилегла на подоконник  
и глядит себе во двор,  
где старушечки-соседки  
оседлали табуретки  
спозаранку, с давних пор.  
Между ними, невесом,  
рыжий кот обходит лужи.  
Он придёт ко мне на ужин –  
чтоб согреть на лапах дом.

\*\*\*

Вечер лимоновый. День – к ночи...  
Сонно кружит вертолёт – мухой,  
облако спелое рвёт в клочья  
и от натуги жужжит глухо.



Солнце стекает за край света –  
прямо в туман, от реки справа,  
ветер вишнёвый летит с веток  
и опадает росой в травы.

Прошелестел вертолёт – тенью,  
и за туманом исчез в прочерк.  
Что-то проходит – весна, день ли...  
Пух одуванчиковых точек.

\*\*\*

Весь шар земной обойду едва ли я,  
зато в одном я почти уверена –  
что после смерти рвану в Италию  
и непременно потом – в Америку.  
Теперь понятна судьбы ирония,  
но задохнётся она в бессилии,  
когда заметит мой след в Японии,  
и дивный призрак – в лесах Бразилии.  
Явилось глобуса откровение –  
по мне удача, конечно, плакала,  
и вальс прощальный танцую в Вене, я  
уйду под звон колокольный в Кракове.  
Но как бы ни был весь мир прекраснее, –  
чтоб жизнь запомнилась послевкусием,  
я загляну перед вечным странствием  
в глаза болотные Белоруссии.



# «МЕГАФОН»

## АНДРЕЙ ВОЗНЕСЕНСКИЙ: «УСПЕТЬ БЫ СВОЙ ВЫПОЛНИТЬ ЖРЕБИЙ»

*Так, давно, 26 января 1989 года, строкой из стихов Андрея Вознесенского я назвал интервью с ним, опубликованное в «Вечерней Одессе». Думаю, не только для меня, для всех, кто в 60-е воспринимал стихи А. Вознесенского как глоток чистого воздуха, смерть поэта стала личной утратой. Взял в руки самый первый томик его стихов «Мозаика» с автографом поэта:*

*«Очень сердечно.  
Евгению Михайловичу Голубовскому  
от автора  
через тысячу лет  
Одесса 1989  
Андрей Вознесенский».*

*Да, тогда казалось, что нас от 1960 года, когда вышла «Мозаика», отделяла тысяча лет. Но, кажется, ещё одна тысяча лет прошла от того зимнего морозного дня, когда в гостинице «Красная» мы разговаривали, пили вино, Андрей Вознесенский надписывал книгу, — до сегодняшнего дня.*

*Заведующая отделом искусств библиотеки имени М. Горького Татьяна Васильевна Щурова сразу же в своих папках нашла мне эту страницу из «Вечёрки», я перечитал интервью и решил, что есть смысл познакомить с ним сегодняшнего читателя — оно сквозь годы несёт живой голос поэта.*

*А далее текст из газеты — без единой правки.*

***Евгений Голубовский***

В нашем городе в филармонии и университете с творческими вечерами по приглашению Объединения театральных студий выступает Андрей Андреевич Вознесенский. Читает стихи — давние и последние, отвечает на записки. И я, готовясь к встрече с поэтом, взял томики его стихов, благо у меня они есть все — от «Мозаики», выпешедшей в 1960 году во Владимире тиражом 5000 экземпляров, до «Рва», изданного в 1987 году «Советским писателем» тиражом в 200000 экземпляров.

Перелистывая книги, вспоминая старые, давно знакомые строки, вчитываясь в забытые, я вдруг обнаружил, что А. Вознесенский — поэт диалога. Он не только восклицает, при этом мощным жестом занося над головой руку (вспомните, как Никита Сергеевич Хрущев кричал ему: «Вы не вождь! Не вождь! Не думайте, что за вами пойдут!»), но и спрашивает, всё время задает вопросы.

Так родилась форма этой беседы. Андрей Андреевич согласился ответить на вопросы, которые он сам ставил в своих стихах и поэмах.

**— «Писатели, что в вашем околке?»**

— Могу отнестись этот вопрос и лично к себе. И тогда признаюсь, что я суеверен, не люблю рассказывать о замыслах, планах. Разве о том лишь, что уже сделано. Это, прежде всего, новая книга стихов с моими же рисунками «Чёрный ящик». Для меня это определение — символ поэзии, души, жизни. Но много времени, сил отнимает и то, что я назвал бы «стихами в жизни». К примеру, 31 января во Дворце молодежи я веду вечер поэтов новой волны. Считаю, что нужно им помочь пробиться, так как среди них есть люди, безусловно талантливые. Но пробиться им трудно. И дело сейчас уже не в цензуре.

Это нас резала цензура, а они оттираются от издательств десятками тысячами профессиональных писателей, членов нашего творческого союза. Как молодым (да и не молодым) начинающим преодолеть это сопротивление... Возможно, если бы и у нас платили литератору не тогда, когда выходит книга, а когда она раскуплена, положение было бы проще...

Как видите, от себя я перешёл к общим писательским проблемам. Что я могу сказать о литературной ситуации в стране? Писатели должны заниматься своим делом – писать. А ведь сегодня читателя больше интересует не книга одного из этих 10000, а книга А. Платонова, М. Булгакова, Б. Пастернака... Это создаёт новую ситуацию, когда писатель должен выступать в одном и том же номере журнала с классиками. И мне кажется, что писатели сегодня больше читают, чем пишут. Но убеждён – будет скачок. Через год или два, но будет. Литература молодых, а может, не только молодых, станет серьёзней, глубже.

В стихотворении «Стенограмма недавних лет», из которого вы взяли эту строку вопрос, был и мой ответ:

*Писатели, что в вашем околке?*

*Писатели: фрызём друг другу глотки.*

К сожалению, это происходит и сегодня. И только что на встрече с руководителями партии и государства все говорили, что нужна консолидация, а вслед за тем – письмо в «Правду». Старый способ выяснения правоты в творческих спорах. Нет, нужно писать не письма, а стихи и прозу.

**– «Кто мы, фишки или великие?» – так ставили вы вопрос уже в самой первой своей книге.**

– Этот вопрос обращён к любому человеку. В нашей державе столько лет процветало холуйство, нас так долго убеждали, что незаменимых нет, что все мы фишки, винтики, гаечки... И думаю, не только Сталин виноват, но и молчаливое большинство. Нам необходимо поверить в себя, не быть инертными.

Мы как то уже привыкли к мысли, что у нас всё, кроме запасов недр, второсортное. Эта мысль мешает творчеству. И художник, и слесарь – каждый в своём деле – должны хотеть быть гениями. Тогда мы все станем великими, всей державой.

**– «Который век? Которой эры?» – спрашивали вы, переключаясь с пастернаковским: «Какое, милые, у нас тысячелетие на дворе?».**

– А сейчас бы мне хотелось всерьёз сказать несколько слов про наш XX век. Он вот вот кончится, а какие-то полуграмотные люди ещё не могут его «признать». В искусстве это век Хлебникова и кинематографа, это век, давший русский авангард. И пора уже понять, что К. Малевич и В. Кандинский – это не «новации», а классика XX века, это не эксперимент и поиск, а находки, повторию – уже ставшие классикой.

Конечно же, наш XX век был и веком чудовищным. Таких преступлений, как те, что совершил Сталин против своего же народа, не знала история. И это одна из составляющих нашего века. Пора подвести его итоги. XX век родился в XIX. И в наше время уже рождается XXI век. Очень важно распознать его, понять, оценить.

**– «Где ещё в мире так ждут Живаго?» – это вопрос не только поэта, влюблённого в поэзию Б.А. Пастернака, но и председателя комиссии по его литературному наследию.**

– Сейчас, в феврале, в день рождения Б. Пастернака, а ему в этом году исполнилось бы 99 лет, пройдут вечера, затем Пастернаковские чтения, на которые приедут и профессора-русисты из других стран. Это должен быть серьёзный разговор о сути его поэтики, о философии творчества.

Что же касается романа «Доктор Живаго», то о том, насколько ждали этой книги, можно сказать языком статистики – прыжком тиража журнала «Новый мир». Знаю, что многие из тех, кто прочёл роман сейчас впервые, остались разочарованными. Ждали лобовой политической сенсации. Помнили, что Н. Хрущёв и его окружение обвиняли книгу в клевете на народ и антисоветизме. Но ведь в «Докторе Живаго» ничего этого нет. Так что произошло незапланированное разоблачение, мы увидели – как нам гнали.

Я слушал чтение этого романа автором. Ещё с тех пор люблю книгу и считаю её великим художественным произведением. Сейчас все читают политическую прозу – это естественно. Но пройдёт несколько лет, мы всё узнаем, надеюсь, и про Сталина, и про Берия, и тогда, я убеждён, читатель перечитает «Доктора Живаго» – и откроет его для себя уже навсегда.

**– «Зачем среди ночной поры  
Встречаются антимир?»**

– А вы знаете, очень хорошо, что встречаются. Ведь казалось, что антимир, к примеру, это наша



интеллигенция и наша же эмиграция. А ведь новое мышление позволило нам понять неделимость нашей культуры. И вот с выставками приезжают М. Шемякин и Э. Неизвестный, уже был в СССР и завершил «Бориса Годунова» Ю. Любимов, сейчас в Москве Н. Коржавин, автор антисталинских стихов, написанных ещё при Сталине, должен приехать на гастроли М. Барышников. Сейчас в Ленинград должна приехать балерина Н. Макарова. И встречи этих антимиров плодотворны для нашей культуры.

– **«Я думаю, право ли большинство?»**

– Казалось бы, в годы утверждения демократии вопрос так ставить нельзя. Но в искусстве большинство ничего не решает. вспомните, что одна из главных тем А.С. Пушкина – гений и толпа. Мне возражат – иные социальные условия. А разве в XX веке понимали художников-новаторов, того же Малевича, Мельникова, Платонова?

– **«Как занесло васильковое семя  
На Елисейские, на поля?»**

– Это из стихов о Марке Шагал. Но сейчас хотелось бы шире взглянуть на то, что приоткрывают эти строки. Ведь мы не бережливы к своим национальным ценностям. Разве можно было допустить, чтобы уехал Виктор Некрасов, автор «В окопах Сталинграда», чтобы уехал тот же Шагал, навсегда оставшийся верным своему Витебску? Но если положить руку на сердце, разве можем мы сегодня сказать, что, останься Шагал, останься Кандинский, – они не погибли бы в сталинской мясорубке? Увы, не можем. Вот это и занесло васильковое семя. И думаю, мы должны радоваться, что тот же Шагал, Кандинский выжили. Ведь это не просто вершины искусства XX века, это то, чем обогатила Россия весь мир.

– **«Ольга! Ольга! Облик молодой.**

**Богоматерь – год 37 й.**

**Разве позабыть тот стыд и страх?**

**Кто-нибудь есть в русских городах?»**

– Сегодня я отвечаю: есть! Есть люди, не потерявшие стыд и совесть. А историю, положенную в основу стихотворения «Богоматерь 37», мне рассказала Ольга Федоровна Берггольц, которую так избивал на допросах следователь, что у неё, беременной, случился выкидыш. И больше не было детей. А со следователем она ещё встретилась. Спустя годы он подошёл к ней на одном из торжественных заседаний и, улыбаясь, спросил: «Не узнаете?». Возможно, он был рад встрече, как же, известная поэтесса. А Ольга Берггольц повернулась и ушла с заседания. Тогда это был её молчаливый протест. Но мы сегодня не позабыли ни тот стыд, ни тот страх, – и эта память позволяет надеяться.

– **«Все марты поменялись на июли.**

**Коровы, что ли, балуют, Бедуля?»**

– Эти стихи написаны давно. Но и тогда белорусский председатель колхоза В. Бедуля был ростком сегодняшнего дня. Да, даже в годы застоя он пытался что-то сделать толковое. А если есть упрямый, упорный человек, ощущающий и свои возможности, и обязанность творить, тогда приходит успех.

– **«А может быть, всё же прямая корочка?» – этим вопросом вы задавались ещё в «Параболической баладе». Но и вторую книгу назвали всё же не «Прямая», а «Парабола».**

– Прямая, конечно, корочка. Но как жить по прямой? Посмотрите на историю нашей страны за семьдесят лет. Разве это – путь по прямой? Да и все судьбы людей, про которых мы сегодня говорили, – параболические. Они к нам возвращаются после сложного витка. Но главное – возвращаются. Некоторые – с неба.

– **«Вы – автоответчик Вознесенского?» – этот вопрос прозвучал в полупуточном стихотворении 1989 года.**

– Я действительно поставил дома автоответчик, чтобы не чувствовать свою подневольную зависимость от телефона.

Но дело тут и в другом. В слове «автоответчик» я слышу два смысла: ты отвечаешь на вопросы человечества и ты отвечаешь за то, что происходит при твоей жизни. Это единство – в традиции русской культуры от Достоевского до наших дней.



Конечно, это не все вопросы, которые задавал себе, да и нам в стихах Андрей Вознесенский. И так же, как неисчерпаемы вопросы, – неисчерпаемы ответы. Последнюю свою книгу «Ров» поэт открыл стихами:

*Успеть бы свой выполнить жребий.*

*Хотя бы десятое спеть,*

*Забвенное слово «свобода»*

*по-русски осмыслить успеть.*

.....

*Не мысля толпе на потребу,*

*но именно потому*

*успеть бы свой выполнить жребий,*

*народу помочь своему.*

Это уже не вопросы. Это программа, где слыты и ответственность, и ответы поэта.

*Интервью Евгения Голубовского*

# АЛЕКСЕЙ ХОЛОДОВ

## CAUGHT BY THE CRABBING SUN

рассказ

*Especially when the October wind  
With frosty fingers punishes my hair,  
Caught by the crabbing sun I walk on fire  
And cast a shadow crab upon the land.*  
Dylan Thomas<sup>1</sup>

Первые полчаса в Посёлке я провожу у моря. Берег здесь обрывист и пустынен и море перед тобой открывается совсем не так, как в Городе. Оно идёт на тебя от самого горизонта ровными, спокойными волнами. Они нисколько не пытаются обогнать, настигнуть друг друга. Волны словно знают: у каждой из них свой смысл, своё предназначение, своё время. И глядя на них, медленно начинаешь забывать о мире за твоей спиной, о том, кем ты был в нём, о своих победах и поражениях, и так же медленно к тебе приходит ощущение одиночества и свободы. На таком берегу и десяти минут достаточно, чтобы стать другим человеком. Пусть ненадолго, но это одно из тех редких чувств, которым ты можешь верить.

В Городе море сковано сотнями хитроумных приспособлений, упорядочено, иссечено молами, пронумеровано буйами. Каждую минуту над ним совершаются надругательства яхтами, катерами, буксирами, приближающимися к гавани океанскими лайнерами, гигантскими, похожими на каких-то кубистских чудовищ контейнеровозами, балкерами, танкерами, угловатыми паромами, извергающими у причалов десятки автомобилей. Каждую минуту оно поглощено суетой, ничего общего не имеющей с его истинной природой. Здесь же едва ли увидишь одну-две ветхих рыбацких шхуны, упрямо покачивающихся на осенних волнах. Иногда, глядя на них, на их усилия, нисколько не изменившиеся за последнюю тысячу лет, на их движения, выверенные веками, удается уловить древнюю прелесть хаоса, подступившего к тебе вплотную.

Почти все мужчины Посёлка – рыбаки, охотники и страстные пьяницы. Их женщины нередко страдают от этого, но, кажется, многие из них смирились с привязанностями мужей, и теперь сами часто устраивают бесконечные девичники, пикники и турниры по боулингу в единственном ночном клубе Посёлка. Им скучно и городские ловеласы, пресытившись своими девушками, часто выбирают в Посёлок ради лёгких побед и естественности отношений. Так постепенно это место обрастает сотнями любовных историй, эротическими легендами, интимными сказаниями. Посёлок всё чаще называют Островом любви со своим эпосом, жрицами, посыльными и сторожами. Но, кроме этого, всем в округе известно, что Посёлок живёт контрабандой. Здесь смотрят сквозь пальцы на то, что никогда не позволили бы сделать в порту Города. Иногда груз перебрасывают с судна на судно прямо на рейде, ночью. Когда-то давно я видел, как делают это в Неаполе: к только что опшвартовавшемуся судну подлетает дюжина моторок и в считанные минуты на них сбрасывают десятки ящиков с сигаретами и виски. Всё происходит мгновенно и полиция появляется, когда падает последняя коробка, дружно взывают все двенадцать моторов и под истошный крик *Vaffanculo!* лодки разлетаются по заливу. В Посёлке это проходит не так красочно и живописно, но ореол романтичности обволакивает и этот берег. Во время таких операций скучающие женщины Посёлка преображаются, забывают о чужаках и преданно ждут своих мужчин, как, наверное, когда-то в далёкие времена где-нибудь на Карибах поджидали пиратов их подруги. В такие дни всевозможных малозаконных предприятий им, в отличие от нас, жителей Города, удается бласти удивительное единство интересов. В их политических пристрастиях тоже не



отыщешь разнообразия: перед очередными ли, досрочными ль выборами в парламент Посёлок неизменно окрашивается в один цвет.

Я вхожу в класс, как делал это сотни раз прежде. Преподаватель всегда немного актёр. Своё истинное настроение ты показывать не должен. Эта работа всегда оставляет каплю непредсказуемости в твоей жизни: урок часто может завести тебя в сферу упительной неизвестности.

Теперь почти полдня за десять долларов в час я буду играть роль сравнительно молодого учителя английского. Корпорация, которой принадлежит едва ли не весь Посёлок, оплатила моему Бюро услуги переводчика и репетитора, переведя немаленькую сумму – от неё мне достанутся крохи, – и теперь я должен дать её сотрудникам немного разговорного английского, проверить их знание неправильных глаголов, поработать над произношением. На десерт я обычно успеваю обсудить какой-нибудь рассказ, просмотреть фильм, комментируя каждое второе высказывание очередного персонажа Шона Коннери с безупречной дикцией и живописной мимикой. А море тем временем будет становиться всё темнее и выразительней. Скрип тополей за окном шепнёт мне, что, возможно, скоро здесь подуют крепкие чистые ветры – их совсем не чувствуешь в Городе, – и тогда больше всего мне будет хотеться оставить класс и следить с берега за его преображением, за тем, как по нему пойдут белые буруны – обещания его скорого разгула, – как понесутся над упругими волнами клочки пены, как истошно закричит какая-нибудь молодая чайка, впервые в жизни почувствовавшая приближение шторма. Но эти мысли я гоню от себя. Быть может, на обратном пути мне удастся уговорить шофера ещё минут на пятнадцать задержаться у моря.

Украдкой я рассматриваю своих новых учеников. Им от двадцати пяти до сорока лет, все они ждут меня и готовы вызывающе серьёзно отнестись к нашим занятиям. Ещё большие провинциалы, чем жители Города, они умеют ценить такие подарки Корпорации, отнимающей у них годы жизни. Всё чаще о ней они говорят *наша компания*, хотя, конечно же, не имеют никакого отношения к распределению дивидендов, и в канун Рождества и Нового года получают лишь жалкие премии. На наших уроках они требовательны и навязчивы, и я знаю: меня они заставят отработать по-настоящему. Впрочем, меня это несколько не смущает: моя работа нравится мне, и я люблю язык, которому пытаюсь их обучить.

Я провожу короткий тест. Их знания оказываются лучше, чем я ожидал. Значит, теперь их можно попросить рассказать о себе. И вот я, то и дело их поправляя, внимательно выслушиваю девять коротких историй, примитивно трогательных автобиографий. Они словно малыши, начинающие ходить. Так на второй паре мы начинаем привыкать друг к другу.

Я уже знаю, что женщины Посёлка любят золото и порою, отчаявшись и окончательно разочаровавшись в мужчинах после второго развода, сами становятся охотницами, пускаясь в дикие авантюры – ни на что подобное я бы никогда не решился. Кажется, одну из таких вонительниц я вижу в моём классе. Я замечаю её почти сразу. Может быть, оттого, что женщины такого типа раньше никогда не оказывались среди моих студентов, а, может быть, невольно покоряясь тем законам предопределённости: ведь их бессмысленно пытаться обойти, обмануть, нарушить. На ней белые сапоги, чёрный спортивный костюм и тяжёлые золотые пиранды. Она коротко острижена, из-за какой-то местной моды или же из-за отчаянного желания подражать Изабель Аджанни волосы её выкрашены в ярко-чёрный цвет – ему изо всех сил сопротивляются её веснушчатая кожа, её синие глаза истинной блондинки. Она худа, худа до костлявости и сутула, как часто бывают сутулы очень худые люди, отчего её шея кажется немного надломленной, и бесчисленные драгоценности не скрывают её угнетённости жизнью, не смягчают грусти в её глазах. Я вижу: мир прошёлся по ней. Не знаю как, почему, но между нами протягивается какая-то готовая разрываться звоном струна. Мне становится трудно говорить, когда она смотрит на меня. Когда я задаю ей вопрос, я стараюсь вернуться от её глаз. Кажется, она тоже избегает моего взгляда.

Наш первый урок тянется долго. В первую встречу приходится выполнять обычные формальности и от них всем нам быстро становится скучно. Во время второй пары я отпускаю несколько проверенных шуток, мои ученики искренне им смеются, обстановка как-то смягчается, постепенно я снова становлюсь самим собой, эрудированным, немного ироничным, готовым оставаться здесь часами учителем английского. «Я ваш тренер», – говорю я им несколько раз. На третьей паре меня засыпают вопросами, и к концу урока я чувствую себя совершенно разбитым, голова у меня идёт кругом, и я уже едва ли могу ощутить установившуюся было связь с одной из студенток: усталость – самый страшный враг всякой романтики. Темнеет. Потрёпанный форд моего Бюро отвозит меня домой в Город. Я забываю проститься с морем, быстро выбравшись на ухабистую, не освещённую фонарями трассу.



Город сдавливает, сжимает меня с первой же минуты, с первого же светофора нависает надо мной. Я чувствую, как я стремительно меняюсь, снова становлюсь другим, возвращаясь в свою привычную оболочку. Я пытаюсь остановить это маленькое превращение, ничтожное по сравнению с наступлением сумерек, но моё сердце безразлично к моим усилиям, и в свою квартиру я вхожу с ощущением обречённости и тревоги, едва помня море и берег Посёлка. Кажется, что это было не со мной. Мир с его расписаниями и установленными обычаями опять вернулся ко мне, хаос и свобода отступили, как-то поспешно забылись. Марта встречает меня едва заметным кивком, косноязычным, приглушённым «Привет». Она даже не пытается обрадовать меня подобием улыбки, дежурным изгибом губ, заурядным мимическим трюком как-то скрасить моё возвращение домой. Хотя называть это место домом мне становится всё тяжелее: что-то мешает мне это сделать, и теперь всякий раз, когда я говорю слово «дом», я будто проглатываю рвущийся из меня кашель. Здесь я становлюсь слабее вместо того, чтобы набраться сил, как зверь, вернувшийся в своё логово. Когда два года назад Марта переехала ко мне, всё было по-другому. Вместе мы осваивали новое пространство после капитального ремонта, наполняли собой новые комнаты, новые стены. Марта по-прежнему чувствует себя здесь прекрасно. Я же всё больше теряюсь, точно уменьшаясь в размерах, и стены моих комнат всё чаще кажутся мне слишком высокими, словно укрепления мёртвого, много веков назад покинутого города посреди пустыни.

На втором занятии всё повторяется. На этот раз она приходит в каком-то невероятно блестящем жакете и кожаных брюках. Сапожки на ней остаются прежние. Помада ярко-красная, а золотые излишества теперь сменяет грубая стальная бижутерия. В целом, если бы не белые сапоги, ей бы удалось создать образ жёсткой повелительницы мужчин, безжалостной хозяйки, пытающей своих сексуальных рабов. Но как только наши глаза встречаются, она кажется испуганной и даже немного жалкой. Я уже знаю, что её зовут Вера. Мне проще было бы ничего не замечать и постараться переждать ещё несколько уроков. В конце концов, всё может измениться, никто не свободен от иллюзий и через месяц-два мы даже не будем помнить о нашем сегодняшнем смущении, о чувствах, которые мы – я уверен – сейчас не можем понять. Но к концу третьей пары я знаю: мы подошли к тому, что принято называть неизбежностью. Лучше всего сейчас было бы найти какой-нибудь предлог и отказаться от этой группы, от работы в Посёлке. Я говорю это себе по дороге в Город, хорошо понимая, что ничего подобного я делать не стану. Не стану, потому что я успел полюбить это напряжение, эту неопределённость, это предчувствие нового опыта – всё то, что пока беззвучно происходит между нами.

После третьего занятия Вера подходит ко мне.

– Я бы хотела договориться с вами о дополнительных уроках, – говорит она, стараясь сделать это как можно непринуждённой и, всё-таки, непоправимо краснея.

«Это гениальная идея», – думаю я. Как хорошо, что она сумела отыскать такой простой выход, и я спешу ей ответить:

– Это можно устроить. Нужно будет обсудить программу, другие детали.

– Можно это сделать сейчас?

– Конечно.

Мы остаёмся в классе, когда все уходят, и меня словно прорывает: на меня нисходит какое-то педагогическое вдохновение и минут двадцать, не останавливаясь, я говорю о том, какими я вижу наши уроки, что она должна выучить в первую очередь, как я мечтаю построить совершенную программу: следуя ей, практически любой студент через три месяца сможет говорить по-английски. Вера внимательно слушает. Потом как-то само подкатывается предложение перейти в другое место.

– У нас есть одна продвинутая таверна. Не так, чтобы супер, но ничего. Совсем рядом, над самым морем, – говорит Вера.

Я киваю, и мы выходим на набережную Посёлка. День давно перешёл за свою середину, вот-вот начнутся сумерки и сейчас море, линия горизонта обрисованы удивительно чётко, даже с каким-то надрывом, словно они обращаются к нам, стараясь прокричать, предупредить о неизвестной нам опасности, о невозможности быть такими, как они. Вода темнеет, валуны из светло-коричневых превращаются в бурые, ненадолго поймав клонящееся к западу солнце.

В таверне мы одни. Официанты едва замечают нас, и после двух бокалов шампанского начинаешь чувствовать себя совсем как дома. Никого не стесняясь, мы прижимаемся друг к другу. Я обнимаю её.

У Веры длинные кукольные ресницы. «Это не накладные – мои, – сказала она, когда я в первый раз поцеловал её глаза. – Все меня об этом спрашивают». Она пожимает плечами, и я целую её снова. «Мурррр», – говорит она и жмётся ко мне совсем по-кошачьи.



– С тобой всё иначе. Ты так не похожа на женщин Города.

Вера радостно улыбается мне.

– Ты прав. Мы другие.

Я не мог объяснить нашей несхожести, нашего несовпадения. Как и тысячи жителей Посёлка, Вера совсем проста, подчас примитивна, иногда кажется мне едва ли не мужчиной. Я не могу сдержаться и целую её снова. Вера смотрит мне в глаза. В таверну входит двухметровый рыбак в ботфортах, ветровке и широкополой шляпе. С его правого плеча почти до самого пола свисает недавно пойманный катран. Неторопливо, вразвалку, как и подобает настоящему моряку, он проходит на кухню, где девушки встречают его дружным визгом.

– Ты знаешь, я так счастлива, что ты попросила меня об этих уроках. Первым я бы не смог к тебе подойти. Профессиональная этика и всё такое. Как-никак, я на работе.

– Я хочу тебя, – говорит она.

Вот так. Совсем просто. Я растерялся. Всегда ждёшь минуты, когда можно сказать эти слова и они не покажутся преждевременными, неуместными, и не вызовут недоумения, перерастающего в тайное, бунтующее несогласие. Я привык говорить их сам, и сейчас мне странно слышать их от неё. Словно мы поменялись местами, и теперь она, эта худая, стареющая тридцатидвухлетняя женщина должна проникнуть, войти в меня, раздавив силой своего желания, надолго лишив волн.

– Дома у меня сын, мама. Сейчас туда нельзя. Но здесь рядом есть гостиница. Вроде как бы не клоповник. Несколько раз я поселяла там гостей Корпорации. Скорее: я там совсем мокрая, – шёпотом добавляет она, словно разыгрывая роль героини умеренно эротичного фильма.

Всё так же растерянно я прошу счёт и торопливо расплачиваюсь с такой же прямой и немислимо естественной девушкой-официанткой. Из кухни доносится девичий смех и счастливый бас рыбака. Сегодня его день: сегодня он поймал большую рыбу.

На улице поднявшийся вдруг ветер отгоняет от меня последние мысли об интимной близости. Не спорю, может быть, так и нужно: без недомолвок и иносказаний, в мире, имеющем только одно значение, идти по безукоризненно прямой дороге. Я ничего об этом не знаю. Может быть, всё это правильно. В конце концов, наверное, именно об этом и мечтает большая часть человечества. Но сейчас я думаю только о том, как отказаться от её предложения. Если бы я был женщиной, я мог бы сослаться на месячные, загадочно прошептав: «Сегодня я не могу. Ты понимаешь, о чем я». И это бы надёжно скрыло моё нежелание. Но своим полом и всеобщим мнением я обречён на вечную готовность к совокуплениям. Особенно неуместным мой отказ показался бы здесь, в Посёлке. Если бы я был мертвецки пьян, это бы Вера смогла понять, но нерешительность, сомнение превратили бы меня в её глазах в существо совершенно невозможное, в какое-то инопланетное создание. Поэтому в машине я изо всех сил стараюсь вернуть себе хотя бы немного тумана желания. Вера едва помнит себя от моих усилий, все семь минут дороги от кафе к гостинице она словно дремлет в истоме предвкушения скорых оргазмов, и я чувствую, что её настроение не выдумано и что теперь я не смею обмануть её тело, не помочь ему добиться забытья и освобождения. Потом я вдруг вспоминаю Марту и это пугает меня: теперь в самый неподходящий момент она может вернуться ко мне, всё испортив, оскорбив в общем-то невинную Веру. «Я подлец», – зачем-то говорю я себе, хотя и не верю в это и где-то в глубине своего сознания уже знаю: иногда подлецом быть невообразимо приятно.

В гостинице возвращавшееся было ко мне желание проходит. Но когда Вера раздевается, когда неуклюже плещется над биде, мелькая острыми углами ключиц, локтей, коленок, ко мне подкатывается приступ нежности. Я вижу: она впервые в такой обстановке. Теперь растеряна и немного испугана она и я чувствую, как хочу её.

В номере холодно, дрожа, голыми мы забираемся под одеяло. Её тело вжимается в меня, едва не пугая своей худобой. Для сравнения я вспоминаю тяжёлые, умопомрачительные ягодицы Марты, хотя, впрочем, они уже давно не интересуют меня. Теперь, не спеша, мы находим друг друга, наши тела начинают привыкать к тому, что по чьей-то прихоти им выпало быть вместе. Я всё ещё боюсь сделать ей больно: слишком маленькой кажется она мне. Но потом Вера нетерпеливо, жадно, как капризный, похотливый ребенок, принимает меня, и мы быстро подбираем нужный нам ритм. В конце Вера не успевает за мной. «Это ничего, это неважно. Это же только начало», – шепчет мне Вера. «Только начало», – смиренно повторяю за ней я, обрекая себя на продолжение моих стараний.

Грудь у неё была совсем ровной, и я не мог представить, как она кормила своего сына.

– Молоко, между прочим, было у меня целых двадцать месяцев, – говорит она, поймав мой взгляд и





умиротворенно улыбаясь. Я смотрю на её улыбку, на её впалый живот, на горстку веснушек чуть ниже пупка, и понимаю, что уходить нам из номера ещё рано, и чувствую, как снова хочу её. Появившаяся было красная с чёрными кружевами комбинация снова исчезает в глубине единственного в номере кресла. На этот раз к последней точке, к вспышке, за которой поджидает нас темнота, мы подходим вместе, поровну разделив друг с другом это короткое прозрение.

Так без долгих предварений, полунамёков и многозначительных недомолвок начинаются наши встречи. Мы постепенно привыкаем к недорогому отелю в двух кварталах от моря. Впрочем, в его номера мы отправляемся далеко не каждый раз. Часто после занятий мы остаёмся в классе, и я рассказываю ей о системе времён английского глагола, о Шекспире и сленге американских студентов, о принципах коммуникативного метода изучения языка и ещё, разумеется, о себе. В аудитории я говорю с ней только на английском. По несколько часов мы разбираем незамысловатые тексты из учебника, разучиваем диалоги. Прерываясь, мы подолгу целуемся прямо за партой, и, конечно же, всё это напоминает мне школьный роман. «Всё равно, что настроиться на ретро-радиостанцию», – думаю я. Водителя я отпускаю, и Вера сама отвозит меня в Город, к Марте. О ней она, впрочем, ничего не спрашивает. Ей хочется верить, она убеждает себя, что главное для меня – она. А значит то, с кем пока я временно делю постель, не имеет никакого значения для нашего будущего. От этого мне даже немного обидно за Марту. Не следует её превращать в какую-то уж совсем малозначительную деталь моей жизни, но от Веры я отказаться теперь не могу и радостно принимаю предложенные ею условия. Вернуться назад в чистоту школьных увлечений, почувствовать себя снова семнадцатилетним – едва ли я знаю людей, способных устоять перед таким соблазном.

Об оплате за наши уроки никто не вспоминает, всё это происходит само собой, а очень скоро я начинаю покупать ей подарки – их особенно ценят женщины Посёлка. Моё скромное жалованье преподавателя стремительно тает, и я всё ближе подбираюсь к своим скудным сбережениям.

Мы часто выходим к морю. Дни стоят тёплые, октябрьский свет тих и обманчив, ветры пока проносятся где-то в стороне, едва касаясь Посёлка.

Так, спустя две недели, в один из наших обычных дней, выйдя из класса, мы спускаемся на пляж. Разложив конспекты, мы садимся на песок. Вера чем-то озабочена, мои поцелуи за партой не смогли вернуть её ко мне. Она постоянно отвечает на какие-то загадочные звонки, во время занятий ей несколько раз пришлось выйти в коридор и подолгу говорить о каких-то ящиках и коробках. Я не задаю вопросов. Я привык, что её работа связана с неожиданными вызовами в Порт на разгрузку контейнеровозов, долгими переговорами на таможне, изнурительными встречами с таинственными получателями грузов. В первые же дни наших свиданий я решил не интересоваться этими прозаичными подробностями. Когда-то давно я мог избрать для себя такой же путь, воспользовавшись своим английским и поступив в открывавшуюся экспедиторскую компанию – сегодня она стала настоящим гигантом. Но я не сделал этого, наверное, навсегда оставшись в области иностранных слов и витиеватых грамматических конструкций. Поэтому, победив однажды искушение надеть на себя ярмо хорошо оплачиваемой работы, я не пытаюсь вникнуть в премудрости Вериних операций. В целом они мне понятны и неинтересны. Куда более непредсказуемыми кажутся мне повороты в новом, незнакомом тексте, зигзаги авторской фантазии, вербальные экстазы. Но на этот раз Вера обеспокоена как-то по-особенному. Мы никак не можем поговорить друг с другом, а красоту моря перед нами нарушают не прекращающиеся ни на минуту звонки. Наконец, она отключает мобильный, нервно закуривает сигарету – этого, конечно же, ей не хватит, чтобы немного успокоиться, отгородиться от ненасытных клиентов, поджидающих вереницы заокеанских контейнеров. Они приходят к нам, чтобы тотчас раствориться, исчезнуть в чреве терминалов и чтобы сразу же за ними пришли новые, ничем не отличающиеся от миллионов других своих собратьев, разбросанных по всем закоулкам торгового мира.

– Достали, – говорит она сквозь зубы.

Я обнимаю её.

– Не стоит из-за них убивать эти минуты. Они тебе ещё позвонят, а море уже никогда не будет таким, – говорю я. – Пока просто наслаждайся его видом. Когда-то Уильям Батлер Йитс сказал замечательные слова.

Надеясь отвлечь её, я начинаю декламировать:

*In a field by the river my love and I did stand,  
And on my leaning shoulder she laid her snow-white hand.  
She bid me take life easy, as the grass grows on the weirs;  
But I was young and foolish, and now am full of tears.<sup>2</sup>*



– Кстати, здесь есть одна интересная конструкция. О ней я рассказывал вам на прошлом занятии. Вот смотри...

– Послушай, мне нужна твоя помощь, – вдруг обрывает мои старания Вера. Я знал, что она не слушает меня, но не думал, что всё это время она была так далеко.

– Помощь? Какая? В чём?

– Скоро нужно будет вытащить одну коробку из Porta.

Коробка, короб, ящик на их языке означает контейнер. Это я успел запомнить. Ну, вот, началось. Ей всё-таки безумно хочется втянуть меня в свои дела. Неужели без этого нельзя обойтись?

– Тысячи людей в Городе ждут этот ящик. Не бойся: это не наркотики и не оружие. Но для всех будет лучше, если он выйдет из Porta незамеченным. Если вывозить его официально, то это займет месяцы, может быть, годы. Многие, многие умрут в ожидании. Помогите мне.

Я давно понял, что не был рожден для авантюры. Созданный не для ристалищ, я любил свою роль наблюдателя жизни. О приключениях я предпочитал читать у Конрада, восторгаясь его английским. При этом я непременно должен был находиться в тепле своей квартиры, так, чтобы сытный ужин и тело Марты были от меня на расстоянии вытянутой руки, и я всегда, при первом же желании мог смягчить историю бесприютности героя всепоглощающим и подчиняющим себе комфортом. Таким я был всегда и я не думал менять себя. Подростком я предпочитал игре во дворе роман Вальтер Скота и подобно тому, как мои сверстники приходили в восторг от новых велосипедов, был счастлив, когда мне в букинистической лавке удалось отыскать *Айвенго* в оригинале. Она же предлагала мне на время сделаться мальчишкой дворовым со своими крайне простыми радостями и тревогами. Впрочем, выслушиваю я Веру спокойно, не возражая, с картинной жадностью затягиваясь сигаретой – я не курю, но сейчас без неё никак не обойтись. Неторопливой сигареты требует сама минута – двое заправских контрабандистов на берегу моря готовятся к новой схватке с законом. Что ж, идеальная сцена из жизни авантюристов. Наверное, в таких местах и рождаются идеи о странствиях в поисках приключений, мечты о побеге, конституции флибустьерских республик. Это всего лишь начало игры, говорю я себе, но тотчас понимаю: первый шаг в ней я уже сделал.

– Все документы я беру на себя. Я сумею их выписать. Сделать это теперь не так уж трудно. Главное – вытянуть контейнер из Porta, пока не подует северный ветер.

– Почему так важно успеть до ветра? – зачем-то спрашиваю я, хотя мне это абсолютно безразлично.

– Увидишь, что здесь начнется, когда он придет в Посёлок. В Городе все иначе. В Городе вы не чувствуете его. Мы же становимся другими, несговорчивей, беспощадней, что ли. Не знаю, как это объяснить.

Несколько минут я выдерживаю молчание, словно всерьёз обдумываю её предложение. Потом я отвечаю:

– Я ведь и водить почти не умею. Когда-то ездил на древней Тойоте с правым рулём и автоматической коробкой. А тут тягач, прицеп, контейнер.

– У нас пока ещё есть время. Тебя научат. Главное – найти грузовик.

«Ты ошибаешься: главное – это мое согласие», – хотел сказать я. Но какой смысл в таких словах здесь, на берегу моря, на закате, когда каждое его движение монументально и совершенно. И я, конечно же, промолчал и только вздрогнул, съёжился, словно от налетевшего вдруг ветра, и ещё сосредоточенней принялся всматриваться в море. В его темнеющих волнах, в последнем холодном проблеске уходящего солнца была мудрость, ответ на моё сомнение. Я подумал, что если смотреть на него по-настоящему долго, опасности и заботы, что ждут тебя всего в сотне шагов от берега, постепенно покажутся ничего не значащими пустяками. Не более грозными, чем усталые мухи, только из-за привычки лениво досаждающие нам в тяжёлый летний день, в час, когда раскалены даже урны на тротуарах, и все в Городе только и думают о том, как избежать жарких пыльных улиц.

Вера тоже, казалось, позабыла обо мне, стараясь разглядеть на горизонте мглу, спешившую к Посёлку. Глаза её сузились, от солёного ветра в их уголках заблестели слезинки. Сейчас она была похожа на классическую, слишком кинематографичную первооткрывательницу Запада, добравшуюся-таки из Виржинии до Орегона. Расстёгнутая джинсовая куртка, белый гольф до самого подбородка, повисшие на её тощих ногах джинсы, заправленные в сапоги – за них я отдал половину своего месячного дохода и до сих пор не мог оправиться и не знал, что сказать Марте. Вера казалась мне решительной, способной сделать то, о чём говорила. Но потом она что-то почувствовала в вечернем воздухе, в ночи, надвигавшейся от горизонта, и как-то вдруг поникла, ссутулилась, превратившись вновь в одинокую, оставленную женщину. Пока она только учится быть сильной и старается удержать рядом с собой случайно встретившегося ей мужчину.



– Приближается северный ветер, – сказала она. – Но и контейнеровоз уже недалеко. Вчера они прошли Баб-эль-Мандебский пролив. Они спешат – они всё знают об этом ветре и о том, каким он бывает в нашем Посёлке. Они должны успеть.

Мне показалось, что сейчас Вера может быть откровенней, и я сделал ещё одну попытку:

– Что, всё-таки, значит этот ветер?

Несколько минут она молчала, ещё больше сжавшись, сделавшись ещё слабее.

– Он как ночь, – наконец, сказала она. – Ничто не остановит его наступления. И всё вокруг изменится после его прихода. Всё, абсолютно всё станет другим.

Потом она ещё минут десять-пятнадцать, ничего не говоря, смотрит на море. Темнота становится ещё ближе, ещё ощутимей. Вечер для меня всегда был живым существом. Я чувствовал его приближение, как все мы чувствуем близость кого-то другого. Выходя в сумерки на балкон, я видел, как он спешит обнять меня, как распахиваются передо мной его руки. Я видел его глаза. Нет, это были не самые первые, торопливо зажжённые окна в домах напротив – до такой банальности в сравнениях я не доходил – я видел его настоящие, живые глаза. У вечера они чёрно-синие с длинными женскими ресницами и пухлыми веками. Такое же загадочное, стремительное существо я увидел и тогда на горизонте.

– Мой дедушка за год до смерти начал строить дом неподалеку от Посёлка. Заложил фундамент, дотянул до второго этажа. Участок он получил прямо над морем. Это спокойное место. Там почти нет соседей. Он завещал его мне. Вид там не хуже, чем здесь. Я хочу сказать, что если мы вывезем ящик из Порты, мы сможем его достроить. Веранду мы выложим плиткой под мрамор и будем на ней потягивать мартини и смотреть на море. Мы первыми сможем узнать о надвигающемся шторме и о том, когда северный ветер придёт в Посёлок. Этих денег нам хватит надолго. Ты, конечно, сможешь преподавать свой английский и дальше, но это будет не обязательно. Нам хватит на то, чтобы жить безбедно, пока новый контейнер не выйдет из Шанхая... В общем, считай это предложением. Естественно, сделать его мне должен был ты, но так уж у нас повелось. Всё наоборот, – говорит Вера, обнимая меня, прижимаясь щекой к моему плечу.

Всё это было таким простым и обычным, но почему-то именно в движении её руки, в просительном наклоне худой слабой шен мне, как это принято говорить, открылась вся красота мира. Может быть, увидеть это помогло мне море, может быть, просто пришло время, но, так или иначе, ей больше ничего не нужно было ни говорить, ни делать. Я крепко поцеловал её в губы. Поцелуй тянулся долго, я чувствовал, как дрожало у неё внутри. «В конце концов, почему бы и нет? – повторял я себе. – Почему бы и нет?». Раз или два я приоткрывал глаза и видел россыпи её веснушек и множество ранних, таких жалостливых морщин, и моё тело быстрее моего рассудка понимало, как сильно нуждалась во мне Вера.

На следующий день я отыскал купленные когда-то водительские права. Отчитав две пары в офисе одного из наших клиентов в центре Города, я отправился в Старый Квартал, медленно пришедший в запустение. Там ещё пока можно было услышать говорок давно ушедших времён, слова, напоминавшие мне о цветастых халатах моей бабушки. После каждой новой зимы дома его оседали всё ниже, всё глубже становились трещины в тротуарах и мостовых, всё больше чёрных копек собиралось под покосившимися арками въездов в глубокие дворы-колодцы. У кого-то из горожан Квартал вызывал тоску по временам прошедшим, кого-то приводил в восторг своей неизменностью, кто-то смог бы часами взахлёб рассказывать связанные с ним истории о благородных налетчиках и уличных грабителях, о том, как они любили, как презирали цифру «шесть» и как умирали от пуль безжалостных оперативников. На меня же Квартал действовал утнегающе и я всеми способами избегал его. Нелепо, но, по правде говоря, я считал, что чем реже мне приходится бывать там и даже просто проезжать по его улицам, тем выше моё положение в обществе, тем успешнее моя жизнь. Свои дни я старался строить вдалеке от Квартала, иногда целыми месяцами не заглядывая туда. Но теперь я шёл на сознательное понижение своего социального статуса и встречу с ним переносил покорно, не морщась от вида испитых оборвышей, выползавших из подворотен. Там, у входа в техническое училище, где готовили будущих покорителей разбитых автострад и самых недорогих, измученных, придорожных женщин, и где они медленно, но неуклонно привыкали к водке и конопле, я договорился с широколицым краснощёким инструктором, никогда ни перед кем не снимавшим клетчатой кепки, о десяти уроках вождения на клыкастом глазастом грузовике. Трудно было представить, каким был этот ветеран в первые месяцы своей жизни, когда четверть века назад простые крепкие парни гнали его в Город из далёкого завода посреди чужих промерзших степей.

Поначалу каждое переключение передачи казалось мне, по меньшей мере, одним из подвигов Геракла.

Первый урок мы катались по заброшенному стадиону, на втором вышли на улицы городских окраин, и я быстро привык к озлобленным гримасам водителей, попадавшимися нам на перекрестках. На третьем я почувствовал, что приобретаю особый шофёрский запах, а на пятом уже не мог сказать и нескольких слов, чтоб не вставить утончённое живописное ругательство. Мой инструктор был доволен, Марта морщилась, раздражалась и недоуменно следила за моим преображением. Она пыталась понять, зачем мне это понадобилось, но не могла подобрать никаких объяснений. Моим ответам, вроде таких, как *я всегда мечтал научиться водить грузовик или это просто новое маленькое развлечение для меня, что-то вместо бильярда – ведь ему так самозабвенно предаются мои друзья в прокуренных ресторанных залах*, она не могла поверить. Вере нравился новый я, и она тихо смеялась, когда я под одеялом шёпотом рассказывал ей о неслыханных идиоматических оборотах и, сжимая её межкожью, надевал его всё новыми многосложными эпитетами. Погрубев, я стал ей ближе, я знал это.

Когда мои уроки вождения подходят к концу, а Infinity становится ближе ещё на тысячу миль, мы снова отправляемся на берег. Я почти готов сделать то, о чём просит меня Вера. Мне не хватает ещё всего нескольких толчков, нехитрых слов убеждений. Кажется, для себя я уже всё решил. Теперь нужно ещё одно короткое усилие, чтобы ещё немного настроить меня, ещё ближе и вернее подтолкнуть к самому краю, и Вера всё знает об этом и, как и в прошлый раз, говорит мне, закурив и отвернувшись к морю:

– Если они почувствуют опасность, если ветер подует с севера, они сбросят коробку в море. Или просто не войдут в порт. Следующего раза придется ждать, может быть, год или два, а то и все десять. Быть может, тогда контейнер нам уже не будет нужен. В моей жизни ко мне всё приходит не в свое время. Забеременела я, когда уже знала, что расстанусь с мужем. Желанным ребёнком моего сына не назовёшь: я просто испугалась аборта. Папа разбился, когда только начал своё дело, и мы всё потеряли, год жили впроголодь. Машину мне удалось купить, когда мои любимые сапоги были испорчены доброжелателями из маршрутных такси. Дедушка умер, едва начав строить дом. Именная одежда появилась у меня, когда мне стукнуло тридцать. – Вера, сощурившись, глубоко затянулась догорающей сигаретой. Она буквально впилась в одинокое судно на горизонте. – Ящик этот идёт в самое нужное время. Лучше не придумаешь. Приди он раньше – я бы не смогла его встретить, позже – позже мне может быть уже всё равно, мне может не хватить сил. Я не могу пропустить его. Если ты любишь меня, помоги мне, помоги нам обоим.

Если ты любишь... Вот так, незаметно, и подошли мы к самым непростым для меня словам. Я знал, что сейчас Вера оставит, наконец, море и обернётся ко мне, и, потупившись, опустив руки, принялся перебирать влажный песок. Свет солнца был бледен, и над берегом стелилась мягкая осенняя дымка. Второй день в Посёлке было полное безветрие, море замерло, и, если не вглядываться в даль, не хвататься за зыбкую линию горизонта, можно было решить, что перед тобой всего лишь небольшое озеро. Когда-то давно я научился не думать о своих чувствах, не пытаться назвать их. И в этом я добился известных результатов. Нет имени – нет и решения, нет и того ритуала, той череды событий и поступков, которые всегда стоят за каждым определением и которым так рада всякая посредственность. Самым желанным для меня было как можно дольше оставаться в области сомнений, в сфере невысказанного, и спроси у меня теперь кто-нибудь, что я чувствую к Марте и почему живу с ней, я бы только ещё глубже опустил пальцы в вязкий песок и ничего бы не ответил. В лучшем случае выдал бы из себя банальное «привычка», что, впрочем, было бы неправдой. Объяснить мои отношения с Верой мне было бы ещё труднее. Но если бы кто-нибудь начал настаивать, я бы мог сказать, что мне нравилось натирать можжевеловым маслом её ступни, мне нравилось, когда она садилась на меня, крепко сжав коленями мои бёдра, нравилось, как билось в моих руках её тощее тело, нравилось, как долго искала она наслаждение, и, наверное, мне было жаль её оттого, что ей не всегда удавалось его получить. И здесь – я знал это – дело было в ней, а не во мне. Несмотря на её бесхитрое отношение к жизни, что-то часто мешало Вере в постели. «Посмотри, как я делаю это сама», – иногда говорила она и, прикрывая ладонью свой костлявый лобок, запрокидывала назад голову, томно закатывала глаза. Воспитанная на дешёвых порнофильмах, она думала, что это безумно эротично и непременно доведёт меня до исступления, до последней черты возбуждения. Но в такие минуты я всегда обрывал её, отводил её руку, навязывая свою нежность.

– Мастурбировать – это всё равно что курить, – однажды сказала она. – Если когда-то ты к этому привык, бросить будет почти невозможно. Когда мы жили с мужем, он по утрам уходил на работу, я оставалась одна и часами веселила себя. И я часто думала, что как женщина только тогда я и бывала счастлива.

Иногда мне казалось, что я вообще не был ей нужен и что если бы не подбиравшийся к Суэцу кон-



тейнер, она прекрасно бы обошлась без меня. Иногда, наоборот, я чувствовал, с какой беспринтностью она набрасывалась на меня. И вот теперь этот, в сущности, мало что значащий и до предела избитый оборот. Самое прекрасное из всех, сослагательное наклонение. Если ты меня любишь... И дело было вовсе не в слабости моих чувств к ней. Односложные ответы давным-давно потеряли для меня всякий смысл. Блаженно время, когда я умел просто говорить «да» или «нет». Его я уже не помню и, наверное, даже не сумею представить. Быть может, чем больше мы узнаём этот мир, тем очевидней для нас невозможность таких ответов, и Вера никак не могла понять моих сомнений, моей неуверенности в том, что прямая дорога – лучшая из дорог, именно потому, что ей, изучившей основы морского права в местном филиале городского университета, не нужно было носить на себе сотни томов мировой литературы. Но, скорее всего, её уверенность была не от недостатка классического образования. Возможно, такое состояние – это следующий уровень. К нему я непременно должен прийти, я должен подняться на новую ступень, проведя с ней ещё несколько недель на берегу, в Посёлке.

Кажется, солнце совсем ослабло, песок потемнел, светлые, сверкающие блики на неподвижной воде погасли. Нас поджидали новые краски, и мне вдруг стало радостно оттого, что я мог позволить себе сейчас вместе с Верой дожидаться их прихода, никуда не спешить, не думать о том времени, когда Infinity подойдёт к Босфору.

Теперь перед тем, как сыграть роль водителя, отвернувшись на минуту от моря, я смотрю на свои руки. Почему-то я вспоминаю, как неистово они стучали когда-то давно по клавишам фортепиано и печатных машинок, как выдумывали глубокомысленные выводы к диссертации и изобретали новые способы наслаждения для женщин моего прошлого. Белые, едва ли способные поменять лампочку в светильнике в нашей с Мартой спальне, не говоря уже о том, чтобы держать дрель или что-нибудь в этом роде. Как убедить мне тех, кто будет вместе со мной дожидаться разрешения на въезд в Порт, что я один из них, любитель немых, живущих на обочинах женщин? Как заставить их поверить, что я прошёл уже не одну сотню тысяч километров? А, может быть, всё обойдётся, и я сумею дотянуть до въезда в Порт, почти не общаясь с ними. Хозяин грузовика подгонит его поближе к проходной и займёт очередь. Но дальше двигаться я буду сам, переезжая с места на место короткими рывками, оставаясь в нижнем диапазоне передач. Сейчас после многочасовой езды на древнем грузовике с разбитым сцеплением, я знаю, что смогу это сделать. Проехать по Порту к терминалу тоже будет не трудно: там всё предельно структурировано, обозначено десятками указателей. Идти будем колонной, в одной связке, как любит говорить мой инструктор. «В одной связке», – невольно повторяю я, ощущая магическую простоту и мужественность этих слов. «В одной связке пойдём», – говорю я себе ещё раз и вдруг страх, неуверенность, сомнения отпускают меня, словно затихающий приступ мигрени.

– Договориться с оператором погрузчика, если не подует северный ветер, будет проще просто, – говорит Вера. – Обычная такса погрузить контейнер – пять. Если его упрячут на нижний уровень и придётся разбрасывать короба сверху, – двадцать. Дай ему двадцать пять. Особо переплачивать не надо, чтобы не вызвать подозрений. Как-то мои друзья везли шоколад из Германии, оформив его как сухое молоко. Пять грузовиков, полных этого дерьма. В двадцати километрах от Города их остановили патрульные. – Вера нервно затягивается несколько раз подряд: сегодня сигарета не отстаёт от неё ни на минуту. – Дать бы им по двадцать долларов с машины, и поехать дальше. Но идиот сопровождающий предложил им по двести. Те испугались, решив, что в машинах оружие – в Городе тогда было неспокойно, – и вызвали спецотряд. Груз, машины, водителей арестовали. По закону всё должны были конфисковать. Я сумела договориться. После этого у меня и появилась собственная машина. Договорилась тогда, договорюсь и теперь. На контейнер оформим транзит. Главное – пройти через охрану на выезде. В прошлом году, когда подул ветер, они в первый же день арестовали тридцать машин.

Из Порта донесся прощальный гудок пассажирского лайнера. Обычно они не заходили в Посёлок, но на этот раз, вероятно, круизная компания решила сэкономить на портовых сборах, и теперь было странно видеть выходящее из гавани белое океанское роскошество. Вдруг у самого берега чайка, тревожно вскрикнув, взмахнув веером брызг, поднимается над водой и уносится в море.

– Стоя в очереди обычно приходится около двух суток. Ты должен быть там, когда Infinity подойдёт к рейду. Если не поменяется ветер, ждать долго не придётся: через два-три часа к ним отправят лоцмана. В Порту судно задержится едва ли часов на десять. Наш контейнер выгрузят одним из первых, но сразу забирать его нельзя. Ещё сутки он должен будет повалиться на терминале. Нельзя выхватывать его первым. Но и долго оставаться там он не должен.

Я слежу за чайкой, пока она совсем не растворится в предвечернем воздухе. Постепенно удаляется от



нас и лайнер. И вскоре он тоже становится всего лишь одним из безымянных бродяг моря, и уже почти у самого горизонта, встретившись с ночью в области тревожно сизого цвета, я вижу, как он зажигает огни.

– Скоро начнётся дождь. Пойдём, – говорит Вера. Она чувствует, она знает, что сейчас отпускать меня нельзя, и, выкурив ещё одну сигарету, приглашает к себе домой.

В этот вечер Вера знакомит меня с мамой и сыном. Перебирая в руках кухонное полотенце, мама зачарованно и немного глуповато улыбается мне. Я, конечно же, нравлюсь ей с первой минуты. О лучшем мужчине для своей дочери она не могла бы и мечтать.

– Что вы знаете о пирамидах? – сразу же спрашивает меня её сын. Он бредит Древним Египтом и когда узнаёт, что я был в Гизе, я становлюсь для него настоящим авторитетом. К сожалению, красиво рассказать о пирамидах мне не удаётся: тогда они показались мне чем-то неестественным и чужим на теле пустыни. Я едва не задохнулся, спустившись в одну из них, в этот гигантский нужник, за сотни лет насквозь пропитавшийся запахами бедуинских испражнений. Гробница останется гробницей пусть даже через пять тысяч лет, бессмысленно искать в ней радость или вдохновение. Но мальчик не отстает: – Расскажите мне о боге Луны и о богине Сахмет.

– Он у тебя начинающий учёный, – говорю я Вере и она горделиво улыбается и обнимает его, пытаясь взъеропить его жёсткие неподатливые волосы. Увернувшись, он убегает в другую комнату. Я вижу: он чем-то недоволен, и думаю, что малыш – совсем не подарок и что с ним нужно быть осторожным.

В эту ночь я остаюсь у Веры. Для неё это кажется естественным. Её несколько не беспокоит то, что её мама впервые видит меня, хотя я чувствую смущение этой простой женщины, приехавшей в Посёлок в год его основания. Она ещё долго моет посуду и ребёнка, пробравшись к ней на кухню, громко повторяет: Озирис, Изида, Тот, Хатхор, добродушный Хапи. Потом они вдвоём исчезают в спальне. Выйдя на балкон, ёжась от холода, я звоню Марте и говорю ей какую-то несурзадность. Что-то вроде *меня сегодня не будет. Одну местная фирма – они, кстати, настоящие монстры – пригласила нас на ночную прогулку на катере. Да, с коктейлями и дискотеккой*. Звучит это особенно глупо сейчас, когда в Посёлке мечется ветер и моросит дождь, – быть может, в открытом море он уже давно сменился снегом. *Вероятно, со мной не будет связи. Всё-таки это море, ты же знаешь, о чём я*. Я чувствую приближение истерики, поспешно прощаюсь и отключаю мобильный.

Вера раскладывает диван в гостиной. Я слышу, как за стенкой шепчутся её мама и сын. Мать, наверное, сейчас говорит ему, что я нужен Вере, что мы любим друг друга, а он, маленький сатрап, самодурствующий фараон, многообещающий гробокопатель раздражённо задает всё новые, до нелепости простые вопросы о нас, о том, что я буду делать в их доме ночью, и, в конце концов, возвращается в свой Египет. Вера, конечно же, мечтает о том, чтобы мы с ним стали друзьями. И я думаю, что я смог бы сделать и это, ещё раз перешагнув через себя, опять изменив своей природе, но тут же задаю себе вопрос: зачем? во имя чего? Ради женщины, чувств к которой я не могу понять, повесить на себя чужого, скорее всего, нервного, капризного, изуродованного безотцовщиной ребёнка? Впрочем, думать об этом рано и неуместно, особенно сейчас, когда Вера гасит свет, оставляет приглушённым телевизор на каком-то из музыкальных каналов, выстраивает на диване пещеру из нескольких пуховых одеял и подушек и, мурлыча, прячется в ней. В полумраке видны только её глаза, утратившие вдруг свою синеву, слезящиеся похотью и печалью. Да уж, крепиться можно сколько угодно, ходить, высоко задрвав подбородок, позвякивая ключами от роскошной машины, но глаза – глаза подделать нельзя. Глаза у Веры испуганной, загнанной лани: она знает, что хищник вот-вот её наступит, и у неё совсем не осталось надежды. И эти ветхозаветные глаза соломоновой возлюбленной тотчас находят ответ в моём теле, разжигая желание, подсказывая, нащёптывая сценарий нашей ночи. Я смотрю на розовые аляповатые обои в гостиной, на какие-то свисающие с потолка золотистые завитушки, тяжёлые портьеры, пару купидончиков в буфете и вспоминаю грубо окрашенные стены моей квартиры с одной-единственной картиной – удачным подражанием Кандинскому – под ней сейчас, вероятно, рыдает Марта. Я думаю об этом с непонятной мне грустью. Может быть, Вера не знает другого, не умеет иначе представить своё пространство, и уют для неё – это всегда стокилограммовый ковёр на полу, напрягший свои младенческие мышцы Эрот, рыжий кастрированный кот под батареей, усеянные розами гобелены, бронзовые часы и леопардовый пододеяльник. Может быть, такая обстановка необходима тем, кто целый день проводит в ожидании в одноцветных коридорах таможен или на причалах в Порту под скрип кранов, скрежет передвигаемых контейнеров, ругательства докеров и завывания ветра. В конце концов, скучно думать об этом сейчас, когда её глаза так взволнованно ждут тебя, словно до последней секунды не веря в твою близость, в неизбежность твоих прикосновений и поцелуев, в возможность счастья. И я прячусь в выстроенный для меня грот её постели.

Телевизор мы выключаем далеко за полночь. И тогда с нами остается только дождь. Я чувствую, как



тонкими длинными надрезами он покрывает окно. Ветер медленно затихает. Мы знаем, что в эту ночь можно не бояться его перемены, и засыпаем, прижавшись друг к другу.

Сны на новом месте почти всегда тройные неопределённые, обрывочны и полны загадок. Но в эту ночь мой сон прост и не нуждается в изощрённости толкований, в прозорливости кудесниц и самоуверенности психоаналитиков. В эту ночь мне снится северный ветер – он кажется мне дюжиной резких, похожих на стрелы росчерков на теле тёмного неба, – и едкий, головокружительный запах водорослей, какой поднимается над берегом наутро после шторма. Мне снится, что я стою над тридцатиметровым обрывом. Я заглядываю вниз и вижу совсем тёмное, сплошь усыпанное камнями море. За спиной я слышу голос Веры. Отдельных слов я разобрать не могу, но в целом мне понятно, что она говорит мне. Вера убеждает, что прыгнуть можно, что дети делают это десятки раз за день, что если правильно всё рассчитать, то непременно попадёшь в безопасную заводь между камнями, где песок чист и где можно оставаться часами. Тогда такой прыжок превратится в обычное развлечение, и в воду я войду спокойно и радостно. Её бормотание во сне материально: каждое её слово я ощущаю как толчок в спину, между лопаток, и я всё ближе подхожу к краю, всё дольше всматриваюсь в бездну. Кажется, я действительно вижу обещанную заводь. Она светло-зелёного цвета, словно застывший осколок бутылочного стекла среди волнующегося, брызжущего пеной чёрно-синего надрыва. Невольно я оступаюсь и тотчас берег переворачивается, летит вверх, но мне удаётся уцепиться за несколько его морщин и повиснуть над морем или над тем, что ждёт меня внизу: я уже ни в чём не уверен и я знаю, что там, в конце моего падения, я могу встретить что-то совсем другое. Я снова слышу голос Веры, он становится ещё ближе, и мои пальцы постепенно слабеют, разжимаются, и тогда я падаю вниз и чтобы спастись, напрягая всю свою волю, заставляю себя проснуться. Я не понимаю, где я нахожусь, пытаюсь вспомнить прошлый вечер и засыпаю вновь и опять тёмные сны, где нет ни солнца, ни надежды, несутся за мной.

Утром меня будит босоногая беготня её сына. Наверное, её мать долго не выпускала его из спальни, стараясь подарить нам ещё несколько минут покоя и забывтья. За ночь тучи расступились и теперь густые лучи с трудом пробиваются сквозь портьеры, ложатся на пол, на толстый ковёр – в него будет так удобно провалиться всей ступней, глубоко-глубоко, когда ты, наконец, решишься встать с дивана. Так постепенно я с удивлением нахожу в себе способность радоваться и такому гипертрофированному уюту.

Сегодня суббота и, по крайней мере, треть жителей Посёлка после завтрака выбирается на прогулку вдоль набережной. Вера быстро собирает сына и, наспех позавтракав, мы втроём спускаемся к её машине.

Когда мы вышли на берег, море молчало. Сияние утра растекалось по его глади до самого горизонта. Синие силуэты судов на рейде были обозначены чётко, до мелочи. После долгих ночных дождей и предутренних туманов земля словно вздохнула и теперь казалась радостной и свежей. И я впервые за время нашего знакомства с Верой всерьёз подумал о том, что я бы смог принять и такую жизнь: два бокала вина на ужин, ночь в двух шагах от моря под перепевы ветра под тёплым, до безобразия мешанским одеялом, и чистое небо утром. Я бы принял и её будущий дом. Его бы мы достроили вместе и спустя год или два на его веранде я бы смог неторопливо заниматься переводами контрактов – их время от времени присылало бы мне Бюро. Там бы я научился следить и предсказывать перемену ветра. С годами в этом искусстве я бы стал настоящим виртуозом. Я бы предоставил ей оформление интерьера, не стараясь навязать привычную мне подчеркнутую аскетичность стиля. Я бы позволил ей множить племя оскопленных котов, загромождать коврами полы, а углы – бесчисленными пуфами, застилать кровати кружевными простынями и обклеивать стены спальни малиновыми обоями с золотыми узорами. Странно, но я больше совсем не думал о Марте, и в то утро мне казалось, что так я бы смог провести целую вечность.

В полном безветрии проходит ещё неделя. Кажется, что в ожидании затаился весь Посёлок. Жёлтые тополя стоят неподвижно, один за другим, едва дрожа, падают их листья. Не нужно быть провидцем, чтобы догадаться: за таким штилем непременно придёт буря. Вопрос только – когда. Успеем ли мы сделать то, что задумали, прежде, чем всё здесь преобразится, прежде, чем всё, совершенно всё здесь станет другим?..

В Посёлке я провожу занятия в понедельник, среду и пятницу. Я замечаю, что даже за короткий срок мои студенты кое-чему научились. Сбиваясь, коверкая слова, путая времена и лица, они пытаются рассказать о событиях своих последних дней, о своей работе и семьях.

– *We move cargo everyday*, – торопливо сообщает мне один из менеджеров отдела логистики. – *Everyday to our warehouse truck come. Sometimes two truck, three truck, four truck. We deliver goods everyday.*

– *And we make love everyday*, – обольстительно улыбаясь, говорит пышная блондинка и многозначительно смотрит на Веру. – *One truck – one fuck, okay?*<sup>3</sup>

Все в классе смеются. Кое-что они научились понимать. Я польщён. Прогресс очевиден. Я думаю, что пришло время неадаптированного текста, и раскрываю свой любимый роман Хемингуэя. Конечно же, мне немного хочется сравнить себя с его героем. Всё у него так просто: натянуть свитер из грубой шерсти, вдоволь позанимавшись любовью со своей женой, и уйти в море. Вера такая книга должна понравиться.

Я открываю роман в том месте, где помощник Гарри уже убит и его катер с четырьмя кубинцами на борту, оторвавшись от преследователей, выходит навстречу ночи.

– *It's a perfect example of how the hero's internal monologue is constructed*, – каждое слово я выговариваю медленно и четко. Пожалуй, это самое тяжёлое задание за время наших уроков. – *Let's see and get closer to the story.*<sup>4</sup>

Следующих два часа мы бродим по нескольким страницам романа, начиная с *It would be a pretty night to cross, he thought, a pretty night do I wish this bitch would not roll.*<sup>5</sup> Я рассказываю немного о секретах старичка Эрни, о том, что его прославленный стиль, как он сам в этом признавался, родился из его неумения писать, и что примитивизм здесь самой что ни на есть чистой пробы, о том, какую магическую, завораживающую роль здесь играют обычные повторы слов, незамысловатые эпитеты, короткие ритмичные фразы. Быть может, я говорю слишком много для далёких от филологии и писательского мастерства студентов, но, кажется, им интересно, они увлечены и друг за дружкой старательно читают вслух до безобразия мужественные размышления Гарри Моргана. Постепенно, строчку за строчкой, нам удаётся выстроить образ красавицы ночи, одинокого катера и тёмных, но полных скрытого огня вод Мексиканского залива.

Всё здесь просто. Путь героя убийственно прям. Есть здесь, конечно же, хитроумные уловки, но это ничего не меняет в его природе – она остаётся до невозможности простой. «Почему только осознание этой простоты, этой первозданной примитивности отношений не убергло автора от того, чтобы не выбить себе мозги?» – думаю я. Но это уже другой вопрос, здесь, в классе, с ними его не обсудить.

В пятницу после уроков мы идём в нашу таверну на берегу, где месяц назад я впервые поцеловал Веру. Мои остальные ученицы смотрят на неё с завистью: настоящий, долгосрочный любовник из Города – это большая удача, думают они. Несомненно, она с гордостью рассказывала им обо мне. В Бюро не будут рады тому, что я сошёлся с одной из своих студенток, но какое теперь это имеет значение, если я твёрдо решил на время сделаться контрабандистом.

– Infinity подошло к Босфору. Завтра у меня будет грузовик. Завтра в обед ты должен быть на месте, – говорит Вера. – Мой знакомый оставит ключи и все документы в кабине. Стоять она будет в самом конце очереди. Это Вольво бирюзового цвета. Другой такой ты там не увидишь. Я хотела, чтобы машина была менее заметна, но ничего другого не нашлось. По крайней мере, не заглохнет в самый трудный момент, не задымит перед постом автоинспекции. Водитель выйдет из неё ровно в час. Ты подожди минут пятьдесят и залазь в кабину.

Значит, вот так. Пришло время сделать то, чего я надеялся избежать, убедив её передумать, завернуться в кокон уже существующего уюта, уговорить довольствоваться малым, хотя, впрочем, знал, что сделать это мне никогда не удастся.

Я несколькими длинными глотками допиваю пиво и глупо ей улыбаюсь. Всё подошло к концу и здесь мне нечего ответить. Только вот так дотянуть своё пиво, заказать ещё одно и сделать свою улыбку как можно более идиотской. Где-то глубоко-глубоко в моей голове тлеет мысль о том, что в это время на выходе из Босфора уже бывают великопнейшие штормы, способные разбить ожидания Веры, не пустить в Порт Infinity. Но море за окном бара по-прежнему спокойно и его мирное и немного высокомерное сверканье отбирает у меня последнюю надежду.

– Выходит, мне нужно собраться, – говорю я.

– Останься у меня.

Это уже слишком. Её насилие надо мной не знает границ. Я чувствую: сейчас я хотя бы на время должен разорвать оковы послушания. Внутри меня назревает бунт, взрыв, приступ неподчинения. Согласившись на её предложение, уступив ей в деле, которое может перевернуть мою жизнь, я хочу остаться независимым хотя бы в мелочи. Я отпиваю новое пиво, забыв перелить его в бокал, прямо из горлышка. Это мне кажется более мужественным и соответствующим моменту.

– Мне нужно собраться, Вера.

Я вижу, как эти слова делают её слабее, как едва зарождающееся разочарование и прежний женский, слишком женский страх сдавливают её, прячут её голову в плечи.

– А ты всё собери и приезжай ко мне поздно вечером, даже ночью.

Я опять улыбаюсь.





– Хорошо, посмотрим.

– Мама любит тебя. Мы будем ждать.

Я рассчитываюсь, едва взглянув на счёт. Ещё немного – и мне снова станет жаль её и тогда на эту ночь я останусь в Посёлке, окончательно раздавив, растоптав Марту.

– Пойдём, – говорю я.

Дома я отыскал древнюю потрёпанную кожаную куртку а-ля Авиатор. Двенадцать лет назад она была безумно модна, и я не расставался с ней каждый год с октября по апрель, когда Город надолго отдавался холодным туманам и случайным, нечастым снегопадам. Уже давным-давно я похоронил её в недрах своего шкафа. Почему-то я решил, что в ней я буду принят моими новыми братьями-коллегам. Если уж мне предстоит сесть за руль, то сделать это надо со стилем.

Марта едва ли обратила внимание на мои приготовления.

– Мне нужно уехать, – говорю я, потуже затянув свой студенческий рюкзак. – Завтра, дней на пять. Может быть, шесть. Фирма – с ней мы работаем уже полгода – заказала курс интенсивного погружения для своих сотрудников. Две недели они будут жить в санатории на юго-западе от Посёлка. Общаться будем только на английском. Первое время с ними буду я. Потом меня сменят.

Марта молча кивнула. Я не ожидал, что она так просто примет мои объяснения. Впервые за время моей измены я всерьёз почувствовал себя негодаем. Зачем я ввязался во всё это? Марта намного красивее, а главное, её тело может научить забвению гораздо быстрее, чем покачивающиеся на ветру ходячие мощи Веры. В великолепии её плеч, грудей, бедёр, я найду защиту от этого мира намного надёжней, чем посреди Вериных рюшек, в тени розовых обоев её будуара. Я вдруг почувствовал, что наш союз с Мартой вовсе не исчерпал себя, что у нас впереди могла бы быть ещё целая вечность тихой радостной близости. Я боялся, я не смел лечь с ней в эту последнюю ночь. Но всё произошло как-то просто, как это уже давно не бывало между нами. Выключив свет и пожелав ей спокойной ночи, я вышел в ванную. Заснуть Марта должна была быстро, и я полчаса простоял над умывальником у зеркала, всматриваясь в своё недоумевающее, испуганное лицо, словно пытался узнать себя. Я хорошо помню: тогда я казался себе совсем чужим человеком. Когда я вернулся в спальню, мне хотелось верить в то, что Марта уже спит и что я, глупец, смогу так же незаметно ускользнуть от неё утром. Но как только я осторожно лёг на спину, она обняла меня...

Я не знаю, кого я любил в ту ночь. В бесчисленные минуты радости Марта вдруг переставала быть собой, я закрывал глаза и видел Веру, её надежду, желание жить и добиваться наслаждений. И от этого мне было не по себе. Но я чувствовал, я знал: Марте было особенно, по-настоящему хорошо в ту ночь. Я знал и то, что я уже ничего не смогу остановить. Возможно, как всякая женщина, Марта всё ещё надеялась, всё ещё пыталась убедить себя в том, что эта наша ночь не была последней.

Утренний свет медленно пробивается сквозь жалюзи в спальне, открывает мой мир, отыскивая в полумраке простые, знакомые мне предметы. Сначала побледили стеллажи с книгами. Свет пробирался за корешки, под потрёпанные обложки и дальше, в глубину полок. Лежа на спине, я ждал минуты, когда смогу разобрать название какой-нибудь одной из них: целая вечность воспоминаний откроется тогда передо мной. Я буду думать о том, как впервые прочитал эту книгу, что я чувствовал тогда, о чём мечтал и во что пытался поверить. Сколько бы я мог вспомнить, сколько миров пройти, разбирая одно за другим названия моих книг, окруживших меня ещё в детстве, и тогда минута расставания с моим домом показалась бы мне бесконечно далёкой.

Отвоевав у темноты стеллажи, свет лёг на холодный палубный паркет, и, оставив там несколько казавшихся выпуклыми проталин, добрался до нашей кровати. Вернув постели бледно-серый цвет, он коснулся Мартиных плеч, так и не сумев отогнать тени от ямок её ключиц, поспешил вниз, обозначив её позвоночник, очертил её монументальные ягодички и застыл перед чёрным провалом между ними. Больше всего мне бы хотелось, чтобы свет остановился, замер там, где он был сейчас, навсегда, не шёл бы дальше, возвращая всем вещам их обычные дневные очертания, не крался бы к полудню и дальше, к тому времени, когда меня уже не будет в Городе. Всего в нескольких часах меня поджидала неизвестность. Я знал, что моя жизнь, скорее всего, должна была измениться на что-то противоположное, что-то совсем другое. Но я смог не думать об этом, в последний раз войдя в спящую Марту.

Всё ещё можно остановить, вдруг пронеслось у меня в голове. Я мог бы остаться с Мартой, проведя ещё множество часов в созерцании её роденовской спины, линий её бедер, её ляжек, полуприкрытых



простынею. Мне нужно было бы только выдержать первый натиск. Я представил, как тогда стал бы неистовствовать мой телефон. Но, в конце концов, мобильный всегда можно отключить не на час и не на два, а на неделю, взяв короткий отпуск, укрывшись за таким удивительным изобретением, как больничный лист. Вера не знала, где меня искать. Кроме номера моего мобильного, у неё ничего не было. Через неделю всё было бы кончено. Контейнер бы вывез кто-нибудь другой, судно бы уже снова прошло Босфор и Дарданеллы, взяло бы курс на Триест, и вся история начала бы забываться. Конечно, я бы не смог вернуться к Вере, мой мир снова бы сделался прежним, и, быть может, Марта никогда бы не вспомнила о моей измене. Иногда Вера бы приходила ко мне, но с этими воспоминаниями я бы справился, научившись хранить в памяти только приятное, только то радостное, что было в нашей связи, и навсегда остался бы в закоулках Мартино тела. Я думал об этом, допивая кофе у окна на кухне, всё больше сознавая всю невозможность такого развития событий. Впрочем, я ещё продолжал думать об этом, надевая призывную сблизить меня с водителями кожаную куртку, бесшумно закрывая дверь нашего дома, сбегая по лестнице. Как ни странно, но я ещё думал об этом первые несколько минут в вызванном Верой такси – оно должно было отвезти меня в Посёлок.

Утро было поистине минималистским, окрашенным всего лишь в два цвета: чёрный и бледно-серый, да ещё, быть может, полдюжины несмелых, едва угадываемых полутонов. Чёрные подъезды, тени ещё не проснувшихся домов, медленно светлеющая земля замерших до весны цветочных клумб, сумрачные нагромождения всевозможных бетонных несуразностей, серые крыши, а над ними – подвижное небо цвета поросшего мхом лесного камня. Была суббота, и городские улицы и дорога в Посёлок были пусты. Облетевшие, дрожащие на лёгком утреннем ветру тополя и платаны были похожи на беспокойные водоросли, приютившиеся где-то на самом дне моего любимого и теперь оставляемого мной мира. Узкая полоска песчаного пляжа слева – он чуть светлее стены давно побеленного дома. А дальше – тёмное море без намёка на хроматическое преобразование и серое небо над ним. Уснувшие, истрёпанные ноябрьским ветром виноградники, иссушенная долгой осенью земля, где, кажется, навечно установилось время пасмурных, коротких дней, не способных оборваться ни пронизывающим дождём, ни первым снегом.

Сейчас по дороге в Посёлок, когда через день или два жизнь моя может полностью измениться, я чувствую, как я люблю такой тихий утренний свет и как жадно, яростно хочу, чтобы он никогда не ушёл от меня, чтобы ничто не смогло мне помешать наслаждаться им, упиваться им до беспомысленности, любить именно такое небо, без ярких, невозможно синих апофеозов.

Усевшись за руль FH, я сразу же понял, что забыл всё, чему учил меня инструктор. Я уже не помнил, с чего я должен начать, как выжать сцепление, как тронуться с места. Моё незнание и суетливые попытки что-то сделать переросли в панику, когда старенький Мерседес передо мной, подмигнув фонарями, немного прополз вперёд, став метров на пятнадцать ближе к проходной Порты. Ещё мгновение – и позади меня раздался бы нетерпеливый, раздражённый гудок: хотя в машине я был едва ли десять минут, за мной уже успела выстроиться очередь из нескольких тягачей. К счастью, в моих руках памяти оказалось больше, чем в моей голове, и когда я, собравшись, всё-таки повернул ключ зажигания и услышал, как заработал мотор, мне не нужно было думать дальше. Мои руки сами знали, что они должны были делать, и я выполнил первый маневр со стилем, с шиком заправского дальнбойщика почти вплотную подкатившись к Мерседесу. Мой сосед впереди снова подмигнул мне. Кажется, я начинал ему нравиться.

Через час, после нескольких наших осторожных передвижений он выпрыгнул из кабины и подошёл к моей Вольво.

– Привет!

– Привет!

Я почувствовал, что улыбнулся ему, может быть, слишком торопливо, даже заискивающе. Но я вскоре понял, что он не обращал внимания на такие мелочи. Он был совсем не таким, каким я представлял водителя старенького грузовика, упрямо рвущегося в Порт за очередной порцией контрабанды. На нём был едва уловимый налёт изысканности и свободы, какой всегда остается с теми, кто хотя бы недолго пожил в Европе. Лёгкая ветровка Paul Shark, тёмно-синие джинсы, коричневые мокасины, немного искривлённая улыбка и каштановые, начинающие седесть кудри. На его пальцах не было ни пояснительных, подсказывающих его имя татуировок, ни дешёвых золотых перстней.

– А где же Теодор? Где наш Тео? Он занимал за мной место.

– Сегодня я его подменю. У него появилась другая работа.

– Ясно, – протянул он. – Я Алекс.



Я назвал себя.

Алекс за пять минут рассказал мне, что он три года возил из Италии мебель, что едва ли не в каждом городе по его маршруту у него была любовница, как правило, из бывших эмигранток-проституток, сумевших не опуститься, а сколотить небольшое состояние. Он ездил туда каждый месяц, собирая грузы от Милана до Неаполя, но когда Евросоюз установил для грузовиков жёсткие экологические нормы, его древний Мерседес перестали пускать в Италию. Денег у хозяина на новую машину не было, и теперь им приходится перебиваться перевозкой мелкой контрабанды из Посёлка в Город, из Города в Столицу. О том, что он возит контрабанду, Алекс говорил просто, нисколько не смущаясь, так, что вначале я решил, что он пытается вызвать меня на ответную откровенность. Вспомнились истории о переодетых агентах всевозможных служб по борьбе с организованной преступностью, попавшихся однажды на крючок неудачливых водителей-контрабандистов, сбором сведений теперь пытавшихся расплатиться за свою свободу. Но позже я понял: здесь все знали о грузе своих соседей по очереди, и официальные документы на контейнеры никого не могли обмануть.

– А ты как здесь оказался?

Мы с Верой не успели придумать для меня легенды, и мне пришлось импровизировать, мешая правду с ложью.

– Да вот, решил заработать пару евро до Нового года. Вообще-то я учитель, но когда-то давно работал в дальнее.

– Отлично, учитель, – сказал Алекс. – Твоя коробка уже в Порту?

– Не знаю. Об этом мне пока не говорили.

– Ну что ж, вместе держаться будем. Нам ещё здесь, скорее всего, сутки загорать. Вечером соберёмся, выпьем по сто пятьдесят. Здесь рядом и пашлык хороший есть. Позвоню – принесут, – крикнул он, убегая к своей машине: пришло время продвинуться вперед ещё на несколько метров.

Я варуг почувствовал странную нежность к этому человеку и подумал, что я бы смог много дней простоять с ним вместе в очередях в порты и таможенные терминалы.

Позвонила Вера.

– Ты как?

– Я в порядке.

С ней мне теперь предстояло научиться быть немногословным.

– Infinity на рейде. Ты далеко от въезда?

– Далек.

– Хорошо. Через час её будут ставить. Пока.

Наш караван подтянулся вперед ещё немного. Я подумал, что Вера впервые сказала об Infinity как об особе женского рода, и вспомнил наше занятие, когда один из моих престарелых студентов допытывался у меня, почему в английском судно всегда she, а не it. Вопросы свои он изо всех сил старался задавать на английском, и такое усердие я не мог оставить безответным. Ship is she maybe because a ship is the only wife to the people who live on her, подумав, отвечал я ему. The only faithful wife at the open sea and it is quite hard to betray her.<sup>6</sup> Конечно же, Infinity была женщиной. Упрямой и властной, никогда не оставляющей второго шанса тем, кто ждал её во всех портах мира.

Так мы медленно проходим километра полтора и незаметно подбигаем к вечеру. До проходной остаётся совсем немного. Но когда темнеет, Алекс снова подбегает ко мне.

– Ну, всё. Глуши мотор. Порт закрылся. Теперь запускать они начнут на рассвете.

– Почему?

– Этого я не знаю. Этого тебе не объяснит никто. Наверное, какая-нибудь проверка. А, может быть, просто не хотят работать ночью. Да и нам нет особого смысла сейчас ехать. Хотя, конечно же, было бы неплохо забрать груз, отъехать километров на двадцать на стоянку и там остановиться до утра. Но ничего не поделаешь: ночевать будем здесь. Впереди меня стоит Magnum. Мы с ребятами собираемся там через полчаса. Подходи.

Я помню, что лучше для меня оставаться в стороне, насколько это возможно скрытым в кабине моего FH от шоферского любопытства и поспешных знакомств. Но мой отказ может показаться ещё более подозрительным, и я покорно, закрыв машину, иду за Алексом к Рено, куда уже подтягиваются трое поспевающих увальней в куртках с логотипами производителей грузовиков и моторного масла.

– А вот и наши. Если морды широкие и красные – не сомневайся: это дальнотойщики, – говорит Алекс.

Один за другим мы забираемся в кабину – она похожа на купе вагона.

Двое водителей, поджав под себя ноги, располагаются на верхней полке. Мы остаёмся внизу.

– Наша пьянка – лучшая реклама для Магнума, – замечает Алекс, усаживаясь на пассажирское кресло. – Можно снять ролик: вот сколько пьяных толстых мужчин могут уместиться в его кабине.

Мы быстро знакомимся. Разрезается хлеб, ветчина и насквозь пропитанное чесноком сало, Алекс достает бутылку с жидкостью тёплого древесного цвета.

– Это купажный, – говорит Алекс. – В прошлом месяце через границу вез его партию на наш коньячный завод, отлили мне двадцать литров. Уже почти не осталось. Там они его разбавляют со спиртом сомнительного качества и травят нас с вами.

– Везёт тебе, – говорит водитель Рено, нарезая кровяную колбасу. На нём засаленный спортивный костюм, из-под него выглядывает несвежая футболка. От почерневших кроссовок пахнет гнилью. – А я, вот, возил им этот самый спирт. Его они мне и отливали. Пить я его почти не мог, приходилось разбавлять кока-колой.

– Это разделение труда, старик. В индустрии грузоперевозок всегда так: кто-то возит апельсины, а кто-то работает золотником, кто-то корячится на самосвале в карьере, а кто-то катается по Апеннинам, – говорит Алекс. Даже здесь он сохраняет налет европейской изысканности, и я чувствую, как другие водители, посвятившие свои дни разбитым дорогам между Поселком и Городом, Городом и Столицей, завидуют ему.

– Испортишь себе желудок, – говорит один из них. – Кока-кола – яд.

– Всё яд. В этой колбасе столько разной химии, столько добавок, что, может быть, даже запах её искусственный. Может быть, даже чеснок не настоящий. Раньше их бросали только на мясосокомбинатах, теперь и крестьяне научились. Скоро одни порошки и будем жрать.

– Так оно и будет, можешь не сомневаться, – говорит Алекс.

Потом разговор заходит о том, где лучше будет пообедать завтра, когда все получат свои контейнеры и выйдут на трассу. Здесь вкусы у всех одинаковы и выбор они делают быстро, без особых разногласий, договорившись встретиться у какого-то всем известного шинка. Всем им идти на Столицу.

– А ты пойдёшь с нами? – спрашивает у меня водитель Рено.

– Нет, мне здесь рядом, до терминала.

Он понимающе кивает и разливает коньяк:

– Ну, давайте. Чтоб все было хорошо.

Коньяк сладкий и вязкий и вместе с ветчиной и чесночным салом получается забавное сочетание.

Через полчаса в нашу кабину кто-то скребётся. Приоткрыв дверь, мы поднимаем кудрявое черноволосое существо с обвислыми грудями, раздувшимся животом и толстыми ляжками. Компания в восторге. «Валентина!», – дружно кричат пять освежённых коньяком глоток.

От Валентины пахнет придорожной пылью и дешёвыми духами. На ней столько косметики, что её лицо кажется маской, а губы – подкрашенными губами мертвеца. Быть может, в нечто подобное превратилась бы Кармен, доберись она до сорока, думаю я.

Начинается время дружеских похлопываний, пощупываний и пощипываний. Каждый, кроме меня и Алекса, тянет Валентину к себе, она визжит и хохочет, но вскоре водитель Рено – глаза его при виде Валентины сразу же подернулись поволокой – на правах хозяина объявляет:

– Ну, всё. Ещё по пятьдесят и по койкам. Завтра работать.

Мы допиваем коньяк. Вечер заканчивается. Валентина остается в Рено.

Как только мы выходим из Магнума, его водитель задергивает занавески в кабине. Какое-то время из-под них пробивается тихий, уютный свет, но потом гаснет и он. Гаснет свет и в других машинах, куда успели подобраться спутницы Валентины.

– Ну вот, началось. – Алекс выругался. – Этот тип совсем не ценит, что хозяин дал ему такую машину. После каждой новой его подруги грузовик нужно отправлять на полную чистку салона. Запах от них забивается даже под коврики. Мог бы отыскать кого-нибудь почище. Он падальщик. Подбирает то, отчего все отказались. Женщина в машине совсем как на корабле: всегда к раздору. Ладно, пошли спать. Может быть, оно и к лучшему.

Я подумал, что, возможно, наш знакомый просто лучше всех нас чувствует женщин, видит в них то, что скрыто от других. Наконец, быть может, он святой, и влечёт его именно к таким падшим, противоположным ему созданиям. Но об этом я ничего не сказал Алексу. Говорить об этом было бы лишним сейчас, в такую безветренную, такую нежную на ощупь ночь, когда мы совсем близко подошли к Порту.

В машине я вытянулся на верхней полке под тёплым пледом с логотипом Volvo тёмно-синего цвета. Коньяк приятно щекотал мне воображение, и я всем телом ощущал совершенство и полноту минуты, улыбаясь беззаботно и простодушно, будто впереди у меня и не было опасного трудного дня. Я впервые



по-настоящему верил, что я сумею всё сделать. Ещё какие-нибудь сутки – и все кончится, я вытяну контейнер из Порта, передам его Вере, чтобы, наверное, больше никогда её не увидеть. Лёгкое, приятное опьянение подсказало мне эту мысль: да, именно так я должен был поступить, выполнить её просьбу и навсегда с ней расстаться. Не в этом ли скрывается наивысшая мудрость и красота? Что ни говори, но алкоголь иногда открывает нам правду мироздания и дает неопенимые, совершенные советы. Ещё я думал о том, что завтра обязательно должно распогодиться, облака расползутся, и в Порту, бережно вырulingивая к терминалу, я увижу небо и чистое сверкающее на солнце море. Такое же безмятежное и светлое, каким мы видели его вместе с Верой неделю назад. Главное – это то, чтобы оно было именно таким, бестрепетным и чистым. Я думал об этом, засыпая. Мне снились мои новые друзья, их грубые шутки, снилась и грязная девушка Валентина и то, как она втискивается между двумя койками в Магнуме и, повизгивая, садится на счастливого обладателя грузовика с самой большой кабиной и как потом их огромные рыхлые животы хлопко бьются друг о друга. Сквозь сон я думал, что за несколько недель смог бы научиться не брезговать и такими грязнулями. Неловко обронив красные лаковые сумочки, бредут они от одного грузовика к другому вдоль уходящей к Порту очереди и принимают на себя всю нежность и ярость – все, что неутомимые водители не успевали довести до своих жен...

– Ты что, братишка? Рота, подъём! Просыпайся, бегом! Ты всех задерживаешь! Они начали запускать целыми пачками. Твою Infinity уже разгрузили. Алекс давно ушёл вперед. Сейчас тебя начнут объезжать.

Я едва не падаю с полки. Утренние сумерки стучатся в окно кабины вместе с моим соседом: с ним мы познакомились вчера в Магнуме.

– Давай быстрее, давай, братишка! – кричит он, и я, еще плохо соображая, поворачиваю ключ. Спросонок я даже не удивляюсь тому, что он знает, что я жаду Infinity. Я помню точно: вчера я ничего не говорил о ней. Впрочем, здесь, где всё знают всё друг о друге, для удивления нет ни времени, ни причин.

Тронуться мне пришлось с холодным двигателем. Очередь теперь продвигалась быстро, почему-то в Порт пропускали поспешно, словно стараясь успеть к какому-то сроку. Мы останавливались совсем ненадолго, и к девяти утра я был у проходной. Я быстро получил пропуск, взлетел назад в кабину, весело двинулся вперед. И только когда мой FH, наконец, вздрагивая и дребезжа прицепом, въехал под своды арки – за ней начинался Порт, – я по нахмурившимся лицам привратников, по натянутым полотнищам флагов, по какому-то необъяснимому, разлившемуся вдруг повсюду напряжению понял: ветер подул с Севера. Тотчас ужас, словно льдом, обжёг мои внутренности. Меня едва не стошнило. Разворачиваться я не мог. Я должен был идти в общем потоке вслед за Алексом к терминалу, где теперь – я знал это точно – море не встретит меня сияющей, долгожданной синевой, а небо, чернея, к тому времени опустится ещё ниже, навалившись на нас всей тяжестью своих долгих, бесконечно темных туч, настойчивых и бесплодных.

Мне вдруг показалось, что ветер никуда отсюда не уходил, а всегда оставался укрытым среди кранов, терминальных тягачей и нагромождённых до неба контейнеров. Мы привыкли говорить: когда подует северный ветер. А, может быть, он был всегда с нами, всегда рядом. Просто время от времени он уставал, опускался к земле, укладывался где-нибудь в тени, возможно, даже в никогда не высыхающих, попахивающих гнилью лужах в глубине дворов и складов, чтобы, отдохнув, снова взвиться над нашими дорогами, взбодрив, перевернув, перемешав наши жизни, а потом опять скрыться, оставив за собой только неразбериху и смятение.

Больше всего теперь мне хотелось оказаться в постели рядом с Мартой. Я ненавидел Посёлок, ненавидел Веру, ненавидел свою самонадеянность и слабость и не мог понять, как всего несколько часов назад мог верить, что обрёл новых верных друзей среди пьяных и развратных шоферов. Но больше всего я, конечно же, ненавидел и проклинал скованные бетоном просторы Порта, упорядоченность его причалов, невозможность что-либо изменить в устройстве его дорог и проездов и ту неутомимую колено, по которой я так безропотно шёл за счастливым Алексом. Он, несомненно, был в восторге: Порт открыли, и теперь после недолгих препираний с сотрудниками терминала контейнер ляжет на распатанный прицеп позади его Мерседеса. Вполне возможно, что он научился справляться и с северным ветром и теперь умел подавить в себе это напряжение, этот душный и вязкий страх. Если бы я только мог разделить его радость, если бы я знал все хитрости ветра и мог не чувствовать его, думал я тогда. А ветер тем временем усиливался, тучи, словно лужи застывшего, непоправимо испорченного цемента, опускались всё ниже, и я знал, что теперь к бухте Посёлка, к Порту шли холодные, злые волны, похожие на не успевших опохмелиться обитателей таможен и терминалов.

На терминале нас встретил хмурый двухметровый оператор погрузчика, выбритый наголо, с раскосыми глазами и чёрными, поникшими усами. На меня с Алексом он едва взглянул: он знал о своём превосходстве над нами и о нашей зависимости от его настроения.

– Нам нужно забрать контейнеры, – сказал Алекс.

– Серьёзно? А я-то думал, что вы сюда водку пить приехали, уже бутылочку в морозилку бросил.

– Ещё выпьем, старик, обязательно выпьем, – заулыбался Алекс. – Мой стоит десятком.

– Ну, таксу ты знаешь.

– Давай за двадцать.

Оператор покачал головой.

– Ну, хорошо, хорошо, – заторопился Алекс. – Я согласен.

– Ещё бы ты не согласился. А тебе что надобно, профессор?

Я вздрогнул, но собравшись, назвал свой контейнер и свою цену.

Усач молча усмехнулся. Переговоры вести дальше было бессмысленно. Мне даже показалось, что он тоже знал о грузе. Будто все вокруг знали о нём. Все, кроме меня, подвизавшегося вывезти его из Порта. Я заплатил в два раза больше предложенного и остановился ждать у своей машины. Алекс уже разворачивался и, помахав мне из кабины, повернул назад к проходной. Я проследил за ним и подумал, что радиус поворота здесь внушительный, развернуться на терминале сумеет новичок ещё позеленее меня, если только когда-нибудь сюда занесет такого.

Через четверть часа контейнер опустился на прицеп. Я буквально выпрыгнул в кабину. Теперь нельзя было терять ни минуты. Ветер пока ещё не достиг своей полной силы и я мог успеть. Я едва ли взглянул на море. Сейчас оно было мне безразлично. К чёрту море: в этот день оно предало нас с Верой. Сегодня, вероятно, оно предало ещё и сотни других, оказавшихся с ним наедине, вдалеке от берега. Сотни неизвестных мне людей, так же, как и мы, ожидавшие от него благосклонности, были обречены на поражение. Но даже короткого взгляда мне было достаточно, чтобы увидеть: море у берега было одного цвета с первой листвой, только что вырвавшейся из почек на свет. Такое с ним бывало крайне редко, и именно таким я всегда мечтал его увидеть, но сегодня, в преддверии зимы, в первый день владычества северного ветра этот цвет был всего лишь ещё одной насмешкой над нашей надеждой.

На проходной я увидел все тех же охранников.

– Что везёшь?

Я протянул документы одному из них и он, не спеша, вразвалку вернулся к своей сторожке. Началась проверка. В зеркало я видел, как внимательно они рассматривали ничего не значащие для меня бумаги. Меня держали долго. Я чувствовал, как мой лоб покрывается потом, как, щекоча, одна или две струйки бегут по спине от затылка. Всё бросить и побежать, мелькнуло у меня в голове. Но зачем? Куда? Что может произойти здесь, в окружении сотен людей? Пусть только попробуют меня задержать. Мгновенно за мной выстроилась очередь: все спешили покинуть порт до того, как северный ветер наберёт свою обычную силу. Охранник подошёл к кабине, я опустил стекло. Он молча смотрел на меня каким-то насмешливым взглядом. Где-то глубоко во мне начиналась истерика, я знал точно: я смогу выдержать ещё не более минуты. Но он, криво улыбнувшись, кивнул и протянул мне документы. Я бросил педаль сцепления и моя Вольво, девочка моя, возмущённо заглохла. На проходной раздался взрыв какого-то неестественного, картинно-животного хохота. Захохотал и проверивший меня привратник, показав жёлтые лошадиные зубы. Не знаю, где я нашёл силы и сумел сдержаться, невозмутимо поднять стекло, глубоко вдохнуть и, выдохнув, попробовать ещё раз. Вольво двинулась вперед послушно и тихо, и через минуту в зеркалах заднего вида я уже не видел ни проходной, ни повеселевших охранников.

«Ну, вот, – говорил я себе. – Самое сложное позади. Теперь главное не сорваться, идти спокойно, ни в кого не влететь на трассе. До гаража тридцать километров. Их нужно пройти безукоризненно, как истинный профи.

Я включил радио. Поблуждав недолго по коротким волнам, после нескольких неудачных попыток остановиться на одной из них, отыскав что-нибудь старое и достойное, я услышал начало знакомой песни. Она идеально подходила ко времени и месту. Сколько ни старайся – ничего лучше не придумаешь. Я почти до упора повернул регулятор громкости и все шесть динамиков в кабине обрушились на меня жёстким гитарным шквалом. Меня тотчас охватила удивительная лёгкость, и мне показалось, что я начинаю понимать, что такое бесстрашие. Голос этот нельзя было перепутать ни с одним голосом на свете. Певец-шаман, певец-бродяга – его так и не удалось никому приручить, втиснуть в устоявшиеся рамки музыкального бизнеса – говорил мне об улицах, поджидавших отпечатков наших ног и о высокой



звезде, зовущей в путь. Раньше я ни за что бы не поверил, что когда-нибудь стану таким близким герою этой песни. Раньше этого парня я бы никак не смог понять.

Дорога из Порты огибала Посёлок и дальше десять километров шла посреди вымерзших виноградников. Потом километра два тянулась деревня, за ней начиналась степь. Земля здесь была, как кожа старика. Потом к трассе вновь подступали виноградники. Для меня они были ориентиром: через три километра мне нужно было повернуть влево на просёлочную дорогу. Она бы и привела меня к заброшенному гаражу, где когда-то в эпоху прославления труда крестьян деловито толпились комбайны и куда по вечерам возвращались шумные трактора с пьяными трактористами.

Первое время всё шло прекрасно, но сразу же за деревней в степи в зеркале я увидел чёрный Прадо с оранжевым маячком на крыше, похожим на фригийский колпак, тонированными стеклами и какими-то загадочными номерами. Катился он за мной вполне дружелюбно, не пытаясь обогнать, хотя навстречу нам редко попадались машины. Я прекрасно знал, что это означало. Минут десять джип шёл так, чтобы непременно дать мне понять, что он преследует меня. Я понимал, что за этой прелюдией последует атака, что пока они только играют со мной, стараясь взвинтить нервы, принудить меня сделать какую-нибудь глупость. Но я держался. Я смог совладеть с собой на проходной, сумею сделать это ещё раз, повторял я себе. Когда снова начались виноградники, я знал, что мне нельзя поворачивать к гаражу, что мне нужно идти дальше ещё километров двадцать до развилки, там повернуть в сторону Города и кружить до тех пор, пока не удастся оторваться от них. Задача с моими водительскими навыками практически невыполнимая. Но об этом пока я старался не думать. С тоской я взглянул на уходящую влево просёлочную дорогу: не появился этот Прадо – и сейчас я бы уже был на ней, метров за сто включив указатель поворота, бережно выведя свою Вольво на финишную прямую. Но теперь она оставалась позади. Я успел отъехать от неё едва ли на полкилометра, когда увидел, что джип несколько раз мигнул мне, маячок на его крыше засветился почти по-дружески, и откуда-то издалека – радио я уже давно выключил – я услышал глухую команду «принять вправо и остановиться», долетевшую до моей кабины из невидимого громкоговорителя.

Прижимаясь к обочине, я увидел, что за первым Прадо шли ещё два точно таких же чёрных джипа, но испугаться не успел: я думал только о том, как бы остановиться, не съехав в кювет и не перевернув контейнер. Место для остановки было не лучшим. Такая тонкая техническая задача освобождает от страха, предоставляет тебе роскошь жить только на уровне рефлексов, только маневром – его ты должен выполнить сейчас, немедленно, и ничего не думать о том, что будет впереди. Но когда я остановил машину у самого края трассы, я принялся лихорадочно обдумывать возможные пути развития нашей неудавшейся аферы. За считанные секунды в моём мозгу пронеслись десятки комбинаций. Я вспомнил историю – вчера её рассказал мне Алекс – о водителе, который пытался уйти от погони, спасти контейнер и так разозлил своих преследователей, что когда они всё-таки настигли его ночью посреди трассы между Городом и Столицей, то, вытащив из кабины, до смерти забили бейсбольными битами, раздавив его голову, как глиняный горшок. Раздавили забавы ради, как разыгравшийся ребёнок давит вдруг жука или гусеницу, быть может, даже мгновение-другое зачарованно полюбовавшись растекавшимся по сухой земле кровью и мозгом. Наверное, в свете луны земля в степи казалась тёмно-сизой, и тем чернее была медленно расплывавшаяся по ней кровь, огибавшая седую, вымороженную зимним ветром траву. Воображение работало у меня стремительно, и я на доли секунды представил этого крестьянского парня, потянувшегося на заработки в Город. Раз в месяц он возвращался к своей семье на несколько дней, а потом снова садился за руль и выходил на успешную сделаться родной автострадой. Из-за какого-то упрямства, а, быть может, из-за обычного, отобравшего у него способность думать испуга он не захотел отдать им груз без боя и заплатил жизнью за компьютерные игрушки, которые были в контейнере. *Не остаться бы в этой траве*, невольно повторил я слова песни, ещё больше отождествляя себя, мальчика-отличника из спецшколы, с её героем, убежавшим в пятнадцать лет из дома.

Сейчас до этого дойти не могло: был полдень, что называется, разгар рабочего дня автомобилиста, по дороге то и дело проходили грузовики. Но были и другие варианты, ничего хорошего мне не предлагавшие. Я рисовал себе угрозы, проверки документов, арест, а, возможно, и беззвучный выстрел в живот, когда кто-нибудь из них заберётся в кабину – так никто из случайных встречных не догадается, что происходит, – и что-то шептало мне, что самым верным для меня сейчас было выпрыгнуть через правую дверь и броситься в виноградники. Даже голые, замершие до лета они, несомненно, подарили бы мне спасение. Неуклюже выбравшиеся из джипов и уже вразвалку приближавшиеся к моей машине люди были в длинных коричневых пальто и узконосых туфлях. Едва ли они стали бы преследовать меня.

Таким всегда нужен только груз. Как правило, водитель ничего не знает. Случай со мной – исключение и об этом им ещё вряд ли что-то известно. В общем, у меня было тридцать-сорок секунд, чтобы бежать. Но я, неисправимый любитель слов и долгих разговоров, зачем-то повторял себе, что всё обойдется, что мне удалось пройти самый сложный пост, самую придирчивую охрану, что я сумею договориться и с этими людьми и что мы ещё расстанемся с ними друзьями. Когда же я понял, что на этот раз всё будет по-другому, и, наконец, потянулся к ручке пассажирской двери, было уже поздно. Первый из них подошёл к машине. Северный ветер поднял полы его пальто.

– Я здесь, – улыбаясь, крикнул он, делая невозможной мою запоздалую попытку. – Добрый день. Проверка документов. Прошу выйти из машины.

В руке у него мелькнуло ничего не значащее удостоверение, но главным его аргументом, несомненно, были трое толстоплечих парней, разминавших шеи в пяти шагах от нас. По крайней мер, они пока любезны и под пальто у них нет бейсбольных бит. Кто же они: блуждающие борцы с контрабандой, отряд спецагентов или же просто более удачливые контрабандисты, работающие на кого-то в правительстве? Я пытаюсь выдавить из себя улыбку.

– Прошу вас пройти к джипу. Инспектор проверит ваши документы.

Я послушно киваю и направляюсь к первому Прадо. Передо мной открывают заднюю дверь и там в инспекторе я узнаю одного из своих учеников.

– Ба, а ты что здесь делаешь, Ромео? – смеётся он, тотчас узнав меня. – Вера попросила? Или неужели вам так мало платят?

– Платят хорошо, – отвечаю я, не меняя улыбки идиота-ковбоя. – Но иногда хочется заработать ещё пару центов. Водить я умею. Зачем отказываться от предложений?

– Насчет водить – это я заметил. Тут не поспоришь. И в желании заработать нет ничего плохого. Только вот от некоторых предложений иногда лучше отказаться. Что ж, посмотрим, сколько ты здесь наработал.

Он быстро пролистывает мои документы и, глядя мне прямо в глаза, говорит:

– Документы подложные. У нас есть подозрение, что груз в контейнере другой. Проедем в зону таможенного контроля. Там всё проверим, откроем контейнер.

– А в чём дело?

– Да пока ни в чём. Небольшое подозрение, маленькая догадка. Если я ошибся, поставим пломбу на место и поедешь вперёд, к любимой.

Я пытаюсь своим возмущением убедить их в своей невиновности, но чувствую, что выходит у меня как-то жалко и фальшиво. Точно старая проститутка, возмущённая непристойным предложением своего клиента.

– Мой грузовик...

– О нём не беспокойся. Его перегонят профессионалы. Если у тебя остались в кабине какие-то ценные вещи, деньги, презервативы, всякие эротические картинки и игрушки, можешь их забрать.

– Мне нужно позвонить.

– Звони, – мой ученик совершенно безразличен.

– Я передам вам трубку. Вы сами поговорите с этим человеком.

– Нет проблем.

Я набираю номер. Его дала мне Вера и предупредила использовать только в самом крайнем случае. Этот человек слишком дорого стоит, сказала тогда она. Если к нему обратиться, половину придётся отдать. Старайся его не втягивать.

В трубке долго не раздаётся гудка вызова и тогда я по-настоящему начинаю ощущать свою беспомощность, своё одиночество. Но потом я слышу первый гудок, за ним второй. На третьем у моего ученика начинает звонить мобильный. – Ууупс, – вскрикивает он и, смеясь, сбрасывает мой звонок. В голову мне тотчас бьёт дробь коротких гудков.

– Зачем же тратить деньги? Что ты мне хотел сказать? Говори. Здесь все свои.

Самообладание оставляет меня. Потупившись, я бормочу какие-то объяснения – глупо было бы сейчас предлагать ему половину – и люди в джипе отвечают мне дружным хохотом. И я снова вижу такие же, как у портового охранника, крепкие жёлтые пеньки зубов, алые десны, один из них даже высовывает длинный бычий язык. Мне кажется, они готовы разорвать меня, и я проваливаюсь в мягкость кожаного сиденья. На щеке моего соседа слева старый, посеревший пластырь, скрывающий гнойный прыщик. Когда он смеется, пластырь то натягивается, то сжимается, точно вот-вот отстанет от его бледной кожи. Это пугает меня больше всего и мне кажется, что я смогу вынести побои и даже пытки только бы не ви-





деть его язвы. Зияющие ямы их ртов наполняют салон Прадо зловоньем. Меня едва не тошнит и, чтобы как-то отвлечься, я спрашиваю их:

– Мы едем в Порт?

– Зачем же в Порт? – усмехается мой ученик. – У нас есть много других приятных мест, где мы сможем разобраться и с документами, и с грузом. Скоро сам увидишь, как там хорошо.

Он отворачивается и смотрит вперёд.

– Я хочу знать, куда вы меня везёте, – повторяю я вековой вопрос всех внезапно задержанных, но они уже далеко от меня. Больше я им не интересен и моих слов они не услышат. К счастью, я быстро понимаю, что их теперь нет со мной, и во мне хватает вкуса прекратить расспросы. Я чувствую, что не должен испортить сцены, этих нескольких минут благородного, эпического молчания.

Спустя четверть часа мы подъезжаем к белокаменному забору, украшенному колючей проволокой и камерами наблюдения. У въезда надпись: Таможенно-лицензионный склад. Нас встречает бригада грузчиков, сплошь увешанных золотом и покрытых татуировками. Потом, чтобы принять документы у моего ученика, появляется директор склада – девушка двадцати трёх лет с двухметровыми ногами, в таких же, как у Веры белых сапожках, чёрных шерстяных колготах и едва прикрывающей лобок юбке. Даже в моём положении, глядя на неё, я не могу не улыбнуться, и успеваю подумать, что она, вероятно, тоже посещает какую-нибудь группу занятий по английскому, и если бы я выбрал не Веру, а эту аборигенку Посёлка, верную служительницу Корпорации, то, возможно, роль в этой истории у меня была бы совсем иная.

Мы пересекаем выложенную бетонными плитами площадку – на ней замерла дюжина грузовиков с контейнерами – и входим в офисный центр. Даже в этот сумрачный день он сверкает стеклом и сталью. Директор склада уходит от нас – перезвон её каблуков медленно затихает в глубине длинного коридора, надвое разделяющего здание. Всего за несколько минут я успел привязаться к этой девушке. Невольно я вслушиваюсь в её шаги, и мне кажется, что теперь оборвалась последняя связь с обычной, человеческой жизнью, с привычным для меня миром. Я и трое бойцов из Прадо поднимаемся на второй этаж. Здесь меня оставляют одного в пахнущем свежей краской кабинете. Чувствуется, что всё это построено совсем недавно. Одна из его стен почти вся из стекла и я вижу, что происходит на первом этаже, как входят новые люди, как встречает их длинноногая директор и как потом они расходятся по кабинетам. Напротив, в другом крыле я вижу несколько таких же прозрачных каморок. Некоторые из них заняты, и я пытаюсь разглядеть их постояльцев, но они слишком далеко, лиц мне не видно. Кондиционер, установленный на обогрев, работает, почти не останавливаясь, и мне очень скоро становится жарко. Сначала я снимаю куртку, потом пуловер, оставшись в одной белой футболке. Через два часа я сбрасываю ботинки, ещё через три джинсы. Ко мне никто не приходит, и пока я терпеливо жду. Вечером сквозь стекло я вижу, как приводят Веру и оставляют на стуле неподалеку от входа внизу. Я пытаюсь кричать, звать её, в который раз хватаюсь за бесполезный мобильный – как только мы въехали на склад, связь пропала, – хотя прекрасно знаю, что всё это бессмысленно и напрасно. Она не услышит, не увидит меня. До неё долго никому нет дела, и она около часа ожидает внизу своей очереди. Сидит она сторбившись, сморщив лоб, и я чувствую её спокойное отчаяние, её обреченность. Наконец, её куда-то уводят. Не удержавшись, я кричу ей, кричу, конечно же, о любви, пытаюсь вырваться из кабинета, но дверь оказывается запертой. Открывают её только спустя еще один час, чтобы выпустить меня в туалет в конце коридора, и потом оставляют открытой. В коридор теперь я могу выходить беспрепятственно, то и дело сталкиваясь с не обращающими на меня внимания людьми в длинных пальто. На третий день там я вижу и моего ученика и подбегаю к нему, но он больше не узнает меня. Сплю я в кабинете на откидной, вполне удобной полке, еду мне исправно приносит немой слуга. Охраны нигде не видно и через неделю я решаю выбраться из своей странной тюрьмы. Я спускаюсь по лестнице, меня никто не замечает, и я надеюсь таким же незамеченным выйти из здания, но внизу меня встречает охранник. Узнав во мне чужого, он просто, молча и беззлобно качает головой. Я возвращаюсь в свой кабинет.

Все мои просьбы – с ними я поначалу часто обращался к сотрудникам Центра – разбивались о непробиваемое молчание. Я упрашивал дать мне возможность как-то связаться с близкими, но с той минуты, когда я вошёл в свою камеру на втором этаже, никто из попадавших мне в Центр людей не сказал мне ни слова. И, в конце концов, я успокоился и оставил все попытки наладить контакт с кем-нибудь из моих тюремщиков. Впрочем, их и тюремщиками нельзя было назвать. Они казались обычными офисными работниками, может быть, только слишком серьёзными для тех глупостей, которыми им приходилось заниматься.

Так проходит месяц, начинается вторая. Я не теряю счет дням, и я знаю, что наступил Новый год. Точно так же спустя два месяца мне удастся высчитать и приход весны.

Больше всего в заключении я страдаю от невозможности видеть рассветы над морем. Невероятно, но отсутствия женщины удалось избежать: два раза в неделю ко мне приходит какая-то испуганная взъерошенная девица – подарок от моих тюремщиков. Ни слова не говоря, она раздевает меня и делает всё как-то слишком быстро, принуждённо и неумело. Все мои вопросы она оставляет без ответа, не здороваясь со мной и не прощаясь. Вскоре я понимаю, что она – тоже арестант, несчастный сотрудник Корпорации, так же, как и приносящий мне обеды слуга, попавшийся с поддельными документами или попытавшийся однажды заработать где-то ещё, нарушив интересы своих хозяев. Теперь на неё наложено такое наказание: интимные услуги для заключённых. От этого мне неловко, но я быстро привыкаю. В конце концов, она освобождает меня от плотских мучений. Она похожа на крохотного, вконец отчаявшегося лемура, словно по клетке, мечущегося по моему телу, как за ветку, цепляющегося за мою игрушку своими обезьяньими лапками. По воскресеньям мне приносят бутылку кьянти, на столе исправно пополняется графин с бурбоном, в меню умело чередуются белки и салаты, соки и минеральная вода. Но вот рассветы над морем – этого здесь мне не мог дать никто. В бессонные ночи, прислушиваясь к шагам в коридорах, я часами рисовал себе ночное небо и то, как в нём появляется первый признак приближающейся зари, первая перемена цвета, первая уступка темноты, первое проявление её слабости. В январе небо совсем не такое, как в марте. И вот, отсчитывая дни, я пытался представить, как менялось небо по мере того, как весна подходила к нам всё ближе. В середине февраля я видел чайку, замершую над берегом. Она казалась мне вершиной далёкой горы, почти полностью скрытой в тумане. Я видел застывшее над волнорезом облако брызг, белое, с зеленоватым отливом в середине, обросший такими же зелёными сосульками кнехт, снег и лёд, перемешанный с чистым, привезённым в прошлом году песком, и снежные, идеально белые шапки волн, размашистых и высоких. К концу февраля я увидел вязкую ледяную кашницу, принесённую в море рекой и прибитую к берегу. Она собиралась только в заводни до волнореза, а дальше вода была чистой и по-зимнему беспокойной. Я видел, как на закате в начале марта на притихшее вдруг море легли первые тёплые лиловые тени. Начиналась весна. Потом снова потянулись долгие туманы. Они наступали с моря. В такие вечера Марта всегда открывала настежь окна в нашей спальне и потом, когда мы, опустив жалюзи и выключив свет, забирались в кровать, наша постель ещё долго пахла туманом. Как и вечер, туман всегда для меня был чем-то живым. Я часто следил за тем, как он поглощал крышу за крышей, дом за домом. Я чувствовал, что у него был свой план наступления, своя логика и своя воля, и поэтому мне было не так уж трудно понять страх жителей Посёлка перед северным ветром, догадаться о тех чувствах, которые они испытывали перед его приходом. Теперь, сидя в своей тюрьме, я мог представить каждое его движение, расслышать каждый шаг надвигающейся мглы. Главное было избыть, перебороть коварный март – самый долгий месяц в году – когда нет-нет, да и прорвётся сквозь туман ледяной ветер, разбрасывая над Городом крупинки запоздалого снега. А потом вдруг я почувствовал запах весны, и тогда мне уже совсем просто было рассмотреть первую радуугу над горизонтом, услышать первую грозу, прокатившуюся над прибрежными, пока только просыпавшимися садами, над чёрными тополями, мечтавшими о новой листве.

По вечерам после вымученной близости с незнакомой мне девушкой я думал о том, что я чувствовал к Вере, что любил в ней. Я вспоминал её нос с горбинкой, казавшийся ещё длиннее из-за впалых щёк и скул, туго обтянутых кожей, готовую вот-вот покрыться морщинами длинную, слегка искривлённую шею, жидкие, выжженные чёрной краской волосы и, усмехаясь, повторял любимый сонет Шекспира, когда-то давно так удачно обыгранный Стингом: *My mistress' eyes are nothing like the sun; Coral is far more red than her lips' red.* Проскальзывая семь-восемь строчек, я останавливался на последнем аккорде: *And yet, by heaven, I think my love as rare As any she belied with false compare.*<sup>7</sup> Вот и ответ, говорил я себе. И больше ничего, ничего объяснять здесь не надо. Этим всё сказано и, как ни старайся, ты ничего не сумеешь добавить. Иногда, впрочем, настроение моё менялось, и я проклинал себя за свою глупость.

Ещё я думал о том, что мы с Верой попытались сделать. Я знал: свою часть я выполнил безупречно, в чём-то была ошибка её, но в чём – об этом мне не хотелось думать. Всё равно я бы ничего не смог понять. Многие дни я провел у окна своей камеры. Я следил за людьми внизу, надеясь увидеть кого-нибудь из знакомых. Там часто появлялся мой ученик и ещё несколько известных мне лиц – все они работали на Корпорацию, – но Веры я больше не видел. Её, конечно же, могли вывезти из Центра ночью, в здании могли быть и другие выходы, но я знал, я чувствовал это: Вера была здесь. По крайней мере, первых три месяца. Быть может, она просто, съжившись, просидела их на койке в своей комнате, быть может,



нашла себе любовника среди привилегированных тюремщиков, а, возможно, выполняла в противоположном крыле ту же работу, что и приходившая ко мне дважды в неделю девушка-обезьянка. От этой мысли было не по себе, но когда есть целая вечность, чтобы обдумать каждую мелочь, каждую деталь, каждую возможность, каждую мысль, каждое проявление жизни нашего тела, ко многому начинаешь относиться спокойно, без поспешных, младенческих несогласий и возмущений. Потом, проснувшись однажды ранним мартовским утром и стараясь угадать, как разливается свет над степью, я почти сразу, ещё не отбившись до конца от своих каких-то пронзительных, тревожных снов, понял, что Веры больше нет в Центре. Значит, так или иначе, вскоре всё это должно было кончиться и для меня.

В начале апреля они делают мне предложение. О нём рассказывает мне худощавый, в общем-то милый, опрятный человек, и всё время, пока он говорит, за его спиной покачивается совершенная в своем безобразии горилла: в лапы к ней я непременно попаду, откажись я от их варианта дальнейшего развития наших отношений. Я обречённо киваю, и тотчас передо мной появляется куча документов и маленький, похожий на мячик доморощенный нотариус, придающий форму законности нашему договору.

Подписывал бумаги я нисколько не волнуясь, после первого же росчерка ощутив великое, неподдельное успокоение. Может быть, это было у меня от моих предков – семьдесят лет назад малоизобретательные ассенизаторы несуществующей теперь империи заставляли их подписывать на себя доносы. Я далёк от того, чтобы сравнивать моё положение с их, мои несовершенные младенческие страдания со всем тем, через что им пришлось пройти, но всё-таки я уверен: чувства наши были одной природы. Когда я увидел в принесённых мне бумагах, что мне предстоит подписать дарственную на мою квартиру какому-то незнакомому человеку, я мало огорчился: после нескольких месяцев, проведенных в Центре, я едва ли помнил её и уж во всяком случае она больше не казалась мне домом. Жаль было только моего фальшивого Кандинского – историю великой несостоявшейся шаманской инициации – и то, что, наверное, вскоре её стены покроются розовыми или бордовыми обоями. По-настоящему грустно мне стало оттого, что мне было запрещено в течение десяти лет приближаться менее, чем на сорок километров к моему морю. Впрочем, они были милостивы и разрешили на один день вернуться в Город.

Нотариус работал старательно, с подчеркнутой тщательностью сверяя каждую мою подпись, и я подумал, что он, наверное, тоже, как заключённый, живёт в их Центре: слишком много документов ему приходится заверять, возвращаться домой каждый день не имело бы смысла.

– Что будет, если я нарушу одно из условий нашего договора? – спросил я сделавшего мне предложение служителя Центра.

– Об этом лучше даже не говорить, – сказал он, и я поверил в искренность его слов.

Нотариус и горилла вышли. Собрав все документы, к выходу направился и он, но у двери обернулся ко мне.

– Самое омерзительное, самое непростительное, что может быть в нашем деле – это дилетантизм, – сказал он на прощание. – Здесь всё так очевидно, всё известно и предопределено, но каждый раз, когда Infinity проходит Босфор, а северный ветер ещё только подступает к Посёлку, пара-тройка таких, как вы, непременно появляется у портовых ворот. Вы надеетесь вырвать то, что принадлежит тем, чьих имён не знаем даже мы. Не скрою: вы забавляете нас, без вас здесь было бы совсем скучно. И всё-таки это отвратительно. Ваша надежда – самая смехотворная, самая жалкая в мире.

Как я и предполагал, когда я, развенчанный Гермес, несостоявшийся Меркурий, вышел из Центра, апрель был во всей своей силе. Чувствовалось, что весна пришла рано, по крайней мере, недели на две опередив свой обычный, установленный природой график. Говорили, что в этом году зима была тёплой, что северный ветер, подув в ноябре, продержался лишь до середины декабря, а на Новый год в Посёлке кое-где летали сонные, разбуженные поистине весенним солнцем пчёлы. Снег пошёл только в феврале и не пролежал и недели. Теперь небо было чистым, лишь слегка подёрнутым бледной дымкой. Обо всём этом я узнал в автобусе – он подобрал меня на трассе между Городом и Посёлком.

Марта приняла меня как-то устало и равнодушно. Оказалось, что в моей квартире уже давно хозяйничали чужие люди – дарственная была чистой формальностью и откажись я её подписать, они бы нашли тысячи других способов перевести на себя мою собственность, – поэтому Марта ещё в начале декабря вернулась в дом своих родителей.

– Я знала: когда-нибудь ты появишься, – Марта говорила спокойно, глядя мне прямо в лицо. – Не знаю, кто там живёт сейчас. Но тогда в декабре они были безукоризненно любезны. Дали мне несколько

дней на сборы. Мне удалось вывезти все твои самые любимые вещи, диски, книги. Можешь не проверять – все они в этой сумке. – Марта открыла старый шкаф в глубине комнаты. – Упаковывала я их аккуратно, уже здесь, дома, без всякой спешки, потому что знала: когда-нибудь ты появишься.

– Спасибо, – говорю я и чувствую, как к глазам подступают слёзы. Я протягиваю руку, неловко обнимаю её, целую в неприкрытую русыми кудрями шею. Мой поцелуй она выдерживает не вздрогнув, не подумав об ответе. Этого достаточно, чтобы я всё понял.

Снова опустившись на кресло, Марта начинает говорить спокойно и как-то по-особому просто, как никогда не говорила раньше:

– Мне очень долго хотелось задать до банальности затасканный вопрос: на кого же ты меня променял? Я выдумывала тысячи слов, выстраивала множество хитроумных фраз и высказываний, но в итоге все сводилось к этому пошлomu, унижительному, водевильному вопросу. Ничего другого я не могла придумать. На кого?

– Не нужно об этом. Я виноват.

– Почему, почему мужчины всегда уходит к женщинам худшим, чем их жёны? Вам кажется, что вы нашли нечто невероятно прекрасное, а в действительности это что-то жалкое, ничтожное, как каждая, абсолютно каждая измена. Почему после какой-то точки, после какого-то неуловимого рубежа мужчина сам добровольно обрекает себя на падение? Как это, наконец, глупо! Неужели я в чём-то ограничивала тебя? Неужели когда-то бывала брюзгой, занудой? Неужели я бы стала мешать твоему плану, если бы он был действительно твоим, а не этой костлявой твари? Как могла, я бы поддержала тебя. Ты искал бурь, а мне всегда нравился покой. У нас с тобой уже ничего не будет, не потому что ты разорён и не потому что не можешь больше оставаться в Городе. Это бы я смогла вынести с любящим и преданным мне человеком. Поверь мне: не в этом причина. Если бы только не было твоей измены, мы бы сейчас собрались вместе, провели бы здесь ночь – мои родители всегда любили тебя и были бы только рады этому, – а рано утром выехали бы на автобусе в Столицу. На каждой остановке мы пили бы кофе и вдыхали бы запах просыпающейся, возвращающейся к жизни степи. И мы были бы счастливы. Уверяю тебя: никто тогда не смог бы отобрать у нас счастья. Нет, подумай только, сколько радости поджидало бы нас каждую минуту нашего пути! Потом мы бы добрались до Столицы, и там у нас всё бы получилось. Перед нами было бы столько возможностей. Думаю, ты понимаешь, о чём я. Но начинать новую жизнь с человеком, который тебя предал... В общем, ты сам всё знаешь. Так что избавь меня от необходимости говорить об этом.

Я снова попытался её обнять. Я вдруг подумал, что ещё не поздно, что у нас ещё есть шанс, но Марта отвела мою руку и холодно, леденяще улыбаясь, сказала мне:

– Пока.

Впрочем, конечно же, она была права: начинать нам что-либо вдвоём не имело никакого смысла. Я перекинул через плечо сумку и вышел на лестницу.

Я побродил по бульвару над портом, по небольшой, отреставрированной во время моего заключения площади, по двум-трём центральным улицам, заглянул в наше с Мартой любимое кафе. Часы, отпущенные мне для прощания с Городом, таяли стремительно, один за другим. Я подумал, что не нужно достигать здесь до последней минуты. Лучше всего было бы сейчас подняться подчеркнуто резко, повернуться спиной к самой красивой части Города и зашагать в сторону станции: я ещё мог успеть на двухчасовой автобус. Если мне суждено с чем-то проститься, лучше проститься прямо сейчас, как я сделал это с Мартой. В конце концов, в Столице меня ждала новая жизнь.

В четырнадцать пятнадцать я выехал из Города. Уже сидя в автобусе, я увидел чёрный Прадо. Обогнув автовокзал и, словно в чём-то удостоверившись, он рванулся вперёд по уходившей в Посёлок дороге. Он был как призрак из другого времени. Время это я уже почти не помнил: эпоха моего заключения медленно скатывалась в прошлое.

Мы долго ехали на Север, часто останавливаясь и пропуская длинные ночные поезда на железнодорожных переездах. Я пытался заснуть, но мне этого не удавалось, и я лишь прижимался к холодному стеклу и, глядя в ночь, отыскивал неяркие апрельские звёзды. Мне нравилось находить по обеим сторонам дороги заснувшие деревни, представлять ночи и дни их жителей, их труды, огорчения и надежды.

Ранним утром мы остановились на какой-то крохотной станции в ста километрах от Столицы. Я выкурил первую из своих Lucky Strike в этот день, выпил маленький кофе – его при мне в медной турке сварила грустный пожилой армянин. Я попытался найти, поймать его глаза, но он упорно отворачивался от меня. Потом я выкурил ещё одну сигарету: отправление автобуса почему-то задерживалось и у меня было на это время. Я подошёл к краю платформы. Передо мной белели всего две-три патриархальных



хатынки, за ними начиналась степь. Она разворачивалась сразу, без предупреждений, во всю силу, как открывается перед тобой море, когда ты стоишь на берегу Посёлка. Минуту или две я всматривался в неё. Не знаю, не могу объяснить, что я чувствовал тогда, но потом я вдруг вернулся к автобусу, достал сумку и прошёл к кассе на станции.

– Когда отправляется следующий автобус на Юг? – спросил я у светловолосой заспанной девушки с гигантской грудью и голубыми глазами.

– Через полчаса.

– Мне, пожалуйста, один билет до Города.

Зевнув, она протянула мне билет, и я вдруг подумал, что какой-то чернобровый остроносый счастливчик, наверное, мучил её всю ночь прямо здесь в кассе за перегородкой и теперь с гордостью рассказывал друзьям о своих ночных подвигах. Расплатившись, я вернулся на платформу.

Как это обычно бывает, дорога назад показалась намного короче. Ночью я был в Городе и, дождаввшись на станции первого утреннего автобуса, уехал в Посёлок.

На берегу сегодня безлюдно. Я вижу только молодую маму с ребёнком в коляске, пару влюблённых подростков и где-то вдалеке группу местных атлетов, готовящихся забежать в ещё холодное море. Солнце только поднялось над горизонтом и краски утра удивительно чисты. На песок внизу у обрыва ложатся синие тени, и, не удержавшись, я спускаюсь на пляж и иду к одинокому пирсу. К нему ведёт хорошо накатанная дорога: летом сюда заезжают автомобили, подвозя к воде на прицепах лодки и небольшие катера. Но я иду рядом, по влажному песку, стараясь как можно больше зачерпнуть его своими мокасинами. Я дохожу до конца пирса, сбрасываю с плеча сумку и сажусь на насквозь проржавевший кнехт. Когда-то к нему швартовались настоящие прогулочные катера, но со временем море здесь обмелело и они перестали подходить к пляжу. Я слежу за солнцем, стараясь не обращать внимания на выстроившиеся на рейде суда, и вспоминаю прошлую осень. Через четверть часа я слышу тихие, едва различимые шаги за спиной. Беззвучно ко мне подходит Вера и, остановившись у самого края пирса, молча смотрит на горизонт. Так проходит минут десять-двенадцать. Потом, не оборачиваясь ко мне, Вера начинает говорить:

– Не знаю, можно ли сказать, что они были со мной милосердны. Отобрали мой Forester, все сбережения, драгоценности. Вынесли даже ноутбук и новый телевизор: недавно к ним присоединился новый боец откуда-то из глубинки и ему нужно было обставить квартиру в Посёлке. Сейчас сидит, смотрит мой телевизор со своими дешёвками шляхами. Квартиру они оставили, может быть, потому что пожалели сына: он им понравился. Но недостроенный дедушкин дом забрали вместе с участком, садом и виноградником. Я, правда, уже присмотрела новый, совсем недорого и уже отыскала на него деньги. Через месяц-другой нужно будет обзавестись подержанной машиной. Работу я потеряла, но теперь она мне и не нужна. Теперь я работаю на себя. Ну, и ещё на одного человека. Теперь он сможет нас защитить.

– В Центре было ужасно, – немного помолчав, продолжает Вера. – Даже не спрашивай. Могу только сказать, что у меня до сих пор болит внизу живота. Два месяца я ещё лечилась от какой-то гадости. Презервативами, как ты понимаешь, у них пользоваться не принято. Но теперь всё прошло. Я выздоровела. Хорошо ещё, что не залетела с кем-нибудь из этих уродов... Ты уж извини за эти подробности.

– Кто они?

– Не знаю. И не хочу знать. Работают на людей из Столицы, называют пару очень известных в стране имён. Но, может быть, всё это ерунда и действуют они сами, на свой страх и риск. Кто знает?

– А со мной ничего такого не произошло. Вот только в Центре я начал курить. Хотелось построить вокруг себя ещё один мир, какую-то защитную стену. Вот я и решил, что проще всего это будет сделать из сигаретного дыма. А в целом обращались со мной мило.

– Это потому, что ты попал к ним впервые. Когда я познакомилась с ними, то отделалась только трёхдневным внушением.

– Ты уже была там? И снова во все это ввязалась? Не могу в это поверить!

– Почему? Ведь ты здесь, а должен быть, как минимум, за сорок километров отсюда. Это уже повод, чтобы попасть туда во второй раз. Мне тоже запретили сюда возвращаться, но, как видишь, я здесь. И это уже не в первый раз с того дня, как меня выпустили. Пока всё идет нормально. Главное, чтоб они не рассвирепели, а пока не подует северный ветер, такое с ними едва ли случится. Но одно я знаю точно: в третий раз к ним я уже не попаду.

– Я не собираюсь туда и во второй, – сказал я.

Вера усмехнулась и, наконец, обернулась ко мне.



– Все так говорят. Но я знаю из своего источника: Infinity опять вышла из Шанхая. Большая удача, что это происходит второй раз за год. Сейчас, правда, она зайдёт к нам на обратном пути. Направились они на этот раз к Панаме, потом Хьюстон, Ливерпуль и вниз, к Гибралтару. Но, так или иначе, летом они будут здесь. Нужно быть готовым. Теперь-то я знаю, в чём была наша ошибка и больше её не повторю. Ты как, со мной? – спрашивает Вера и садится рядом на кнехт.

Вместо ответа я вытряхиваю из помятой пачки Lucky Strike свою первую сигарету на берегу моря. Зачем думать о лете, если теперь мы снова вместе и впереди ещё так много других, новых дней, загадочных и неопределённых, не нарисованных, не выдуманных пока нами? Как-никак, Infinity придётся пересечь два океана. Вполне возможно, что где-нибудь в Тихом или на пути из Нового Света в Старый её настигнет абсолютно совершенный, книжный шторм, и проклятый контейнер, как спичечный коробок, слетит с палубы, если его только не спрятали в недрах трюма, а, быть может, и сама Infinity, не выдержав натиска, переломится надвое, хотя такого, конечно же, я, всю жизнь проживший на берегу моря, не мог желать её экипажу. Сейчас, когда они были в океане, о таком нельзя было даже думать. Ведь одна эта моя неосторожная мысль, – я знал это – вступив в тысячи связей с другими случайностями, обстоятельствами, ожиданиями, могла вызвать убийственный шторм.

– И всё-таки, ты как? – повторила свой вопрос Вера.

Я отбросил сигарету и обнял её. Как и в первый раз, в ту успевшую так далеко уйти от нас осень, она тотчас прижалась ко мне, опустила голову на плечо, уронила руку мне на колено. Теперь можно было ничего не отвечать, теперь и она не стала бы больше задавать свой вопрос, теперь нам оставалось только море. Новый день и море впереди.

Позади нас, прощурив по песку пинами, остановился чёрный Прадо и заглушил двигатель. Невольно я попытался представить, в чём сегодня, весной, одеты сидящие в нём люди, сменили ли они свои пальто на элегантные светлые плащи и на блестящие кожаные куртки – контрабандные подражания Armani – или же по-прежнему остались верны кашемиру грязно-коричневого цвета. Но эта мысль едва мелькнула в моей голове. О них можно было не думать, по крайней мере, ещё несколько минут. По правде говоря, мы могли ещё долго не думать о них, потому что впереди было улыбавшееся нам море. Светлое, сверкающее, целиком отдавшееся солнцу море, полное ожидания нового мая, вместе с Infinity спешившего к людям Посёлка.

#### Примечания:

<sup>1</sup> Как правило, когда октябрьский ветер  
Рвёт волосы холодными руками,  
Я, солнцем схваченный, иду на пламя,  
Бросая крабью тень на этот берег.

*Дилан Томас. Пер. Сергея Бойченко*

<sup>2</sup> Моя любовь летела  
И двигалась стремглав,  
Своею ножкой белой  
Едва касаясь трав.  
«Любовь – листок на ветке», –  
Она сказала мне.  
Но я был глуп и молод.  
И не согласен с ней.  
Туда она летела,  
Где речка вдаль течёт,  
И положила белую  
Мне руку на плечо.  
«Любовь – травинка в поле,  
А скоро сенокос».  
Но я был глуп и молод,  
А нынче полон слёз.

*Вильям Питс. Старая песня на новый лад. Пер. Якова Фельдмана*

<sup>3</sup> – Мы каждый день перевозим грузы. Каждый день к нам на склад приходит грузовик. Иногда два грузовик, три грузовик, четыре грузовик. Каждый день у нас доставки.

– А мы каждый день занимаемся любовью. По одному разу на каждый твой грузовик. Неплохо, да?

<sup>4</sup> Здесь мы видим прекрасный пример того, как строится внутренний монолог героя. Давайте же обратимся к тексту.



<sup>5</sup> Славная сегодня ночь для переправы, думал он, славная ночь... Если б только эту чёртову колоду не качало (*Эрнест Хемингуэй. Иметь и не иметь*)

<sup>6</sup> Судно в английском женского рода, наверное, потому, что судно – это жена для тех, кто живет на нём. Единственная верная жена, которой очень трудно изменить в открытом море.

<sup>7</sup> Её глаза на звезды не похожи,  
Нельзя уста кораллами назвать,  
Не белоснежна плеч открытых кожа,  
И черной проволокой вьётся прядь.  
С дамасской розой, алой или белой,  
Нельзя сравнить оттенок этих щек.  
А тело пахнет так, как пахнет тело,  
Не как фиалки нежный лепесток.  
Ты не найдёшь в ней совершенных линий,  
Особенного света на челе.  
Не знаю я, как шествуют богини,  
Но милая ступает по земле.  
И всё ж она уступит тем едва ли,  
Кого в сравненьях пышных оболгали.

*Вильям Шекспир. Сонет 130. Пер. С. Маршак*

## ИЗ АВСТРИЙСКОЙ ПОЭЗИИ

### ГЕОРГ ТРАКЛЬ

перевод с немецкого Вячеслава Карижинского

#### DE PROFUNDIS

Es ist ein Stoppelfeld, in das ein schwarzer Regen fällt.  
Es ist ein brauner Baum, der einsam dasteht.  
Es ist ein Zischelwind, der leere Hütten umkreist.  
Wie traurig dieser Abend.  
Am Weiler vorbei  
Sammelt die sanfte Waise noch spärliche ähren ein.  
Ihre Augen weiden rund und goldig in der Dämmerung  
Und ihr Schoß harrt des himmlischen Bräutigams.  
Bei der Heimkehr  
Fanden die Hirten den süßen Leib  
Verwest im Dornenbusch.  
Ein Schatten bin ich ferne finsternen Dörfern.  
Gottes Schweigen  
Trank ich aus dem Brunnen des Hains.  
Auf meine Stirne tritt kaltes Metall  
Spinnen suchen mein Herz.  
Es ist ein Licht, das in meinem Mund erlöscht.  
Nachts fand ich mich auf einer Heide,  
Starrend von Unrat und Staub der Sterne.  
Im Haselgebüsch  
Klangen wieder kristallne Engel.

#### DE PROFUNDIS

Это жнивье, над которым шумит чёрный дождь.  
Бурое дерево тянется ввысь одиноко.  
Шепчутся ветры вокруг опустелых домов,  
О, как этот вечер тосклив.  
Редкие всходы вдали от родного села  
Жнёт златоглазка-сиротка, и взгляд её нежный

---

**Георг Тракль** (3 февраля 1887, Зальцбург – 3 ноября 1914, Краков) – австрийский поэт. Стихотворное наследие Тракля невелико по объёму, но оказало значительное влияние на развитие немецкоязычной поэзии. Трагическое мироощущение, пронизывающее стихи поэта, символическая усложнённость образов, эмоциональная насыщенность и суггестивная сила стиха, обращение к темам смерти, распада и деградации позволяют причислить Тракля к экспрессионистам, хотя сам он формально не принадлежал ни к одной поэтической группировке. Сам поэт описывал свой стиль следующим образом: «Моя манера изображения, сливающаяся в единое впечатление четыре разных образа в четырёх строках».





Странствует в сумраке, девичье лоно её  
 Небесного ждёт жениха.  
 Нашли пастухи, под вечер домой возвращаясь,  
 Сладчайшее тело её,  
 Что в терновнике тлело.  
 Я тенью хожу вдали от угрюмых селений.  
 Молчание Бога  
 Я пью из лесного колодца.  
 Холодный металл чело обжигает, а сердце  
 Паук оплетает.  
 В устах моих гаснет свеченье.  
 Ночью один я остался в безлюдной глуши  
 И цепенею от звёздного праха и сора.  
 Снова звучит из лещиновых чёрных кустов  
 Хрустального ангела песнь.

---

#### AN DEN KNABEN ELIS

Elis, wenn die Amsel im schwarzen Wald ruft,  
 Dieses ist dein Untergang.  
 Deine Lippen trinken die Kühle des blauen Felsenquells.

Laß, wenn deine Stirne leise blutet  
 Uralte Legenden  
 Und dunkle Deutung des Vogelflugs.

Du aber gehst mit weichen Schritten in die Nacht,  
 Die voll purpurner Trauben hängt  
 Und du regst die Arme schöner im Blau.

Ein Dornenbusch tönt,  
 Wo deine mondenen Augen sind.  
 O, wie lange bist, Elis, du verstorben.

Dein Leib ist eine Hyazinthe,  
 In die ein Mönch die wächsernen Finger taucht.  
 Eine schwarze Höhle ist unser Schweigen,

Daraus bisweilen ein sanftes Tier tritt  
 Und langsam die schweren Lider senkt.  
 Auf deine Schläfen tropft schwarzer Tau,

Das letzte Gold verfallener Sterne.

#### МАЛЬЧИКУ ЭЛИСУ

Элис, дрозд прокричал в почерневшем лесу,  
 Возвестив о твоей скорой гибели.  
 Пусть же губы твои пьют прохладу синего горного родника.

Пусть струится с чела твоего  
 Кровь старинной легендой,  
 Тёмным таинством птичьих полётов.



Ступая легко, ты уходишь в ночи  
 Под своды пурпуровых гроздьев.  
 Как красив твоих рук синий танец.

И сияет в терновнике  
 Взор твоих лунных очей.  
 Элис, о, как давно тебя нет.  
 В гиацинт твоей плоти монах  
 Восковые персты опускает,  
 Чёрным гротом зияет молчание наше.

И выходит порой из него кроткий зверь,  
 Опуская неспешно тяжёлые веки,  
 И чёрной росой на твои ниспадает виски

Последнее золото звездопада.

---

### SEBASTIAN IM TRAUM

*Fuer Adolf Loos*

1.

Mutter trug das Kindlein im weissen Mond,  
 Im Schatten des Nussbaums, uralte Hollunders,  
 Trunken vom Saft des Mohns, der Klage der Drossel;  
 Und stille  
 Neigte in Mitleid sich ueber jene ein baertiges Antlitz

Leise im Dunkel des Fensters; und altes Hausgeraet  
 Der Faeter  
 Lag im Ferfall; Liebe und herbstliche Traeumerei.

Also dunkel der Tag des Jahrs, traurige Kindheit,  
 Da der Knabe leise zu kuehlen Wassern, silbernen

Fischen hinabstieg,

Ruh und Antlitz;  
 Da er steinern sich vor rasende Rappen warf,  
 In grauer Nacht sein Stern ueber ihn kam;

Oder wenn er an der frierenden Hand der Mutter  
 Abends ueber Sankt Peters herbstlichen Friedhof ging,  
 Ein zarter Leichnam stille im Dunkel der Kammer lag  
 Und jener die kalten Lider ueber ihn aufhob.

Er aber war ein kleiner Vogel im kahlen Geaest,  
 Die Glocke lang im Abendnovember,  
 Des Vaters Stille, da er im Schlaf die daemmernde

Wendeltreppe hinabstieg.



## 2.

Frieden der Seele. Einsamer Winterabend,  
Die dunklen Gestalten der Hirten am alten Weiher;  
Kindlein in der Huette von Stroh; o wie leise  
Sank im schwarzem Fieber das Antlitz hin.  
Heilige Nacht.

Oder wenn er an der harten Hand des Vaters  
Stille den finstern Kalvarienberg hinanstieg  
Und in daemmernden Felsennischen  
Die blaue Gestalt des Menschen durch seine Legende ging,  
Aus der Wunde unter dem Herzen purpurn das Blut rann.  
O wie leise stand in dunkler Seele das Kreuz auf.

Liebe; da in schwarzen Winkeln der Schnee schmolz,  
Ein blaues Lueftchen sich heiter im alten Hollunder fing,  
In dem Schattengewolbe des Nussbaums;  
Und dem Knaben leise sein rosiger Engel erschien.

Freude; da in kuehlen Zimmern eine Abendsonate erklang,  
Im braunen Holzgebaelk  
Ein blauer Falter aus der silbernen Puppe kroch.

O die Naehede des Todes. In steinerner Mauer  
Neigte sich ein gelbes Haupt, schweigend das Kind,  
Da in jenem Maerz der Mond verfiel.

## 3.

Rosige Osterglocke im Grabgewolbe der Nacht  
Und die Silberstimmen der Sterne,  
Dass in Schauern ein dunkler Wahnsinn von der Stirne  
des Schlaefers sank.

O wie stille ein Gang den blauen Fluss hinab  
Vergessenes sinnend, da im gruenen Geaest  
Die Drossel ein Fremdes in den Untergang rief.

Oder wenn er an der knoechernen Hand des Greisen  
Abends vor die verfallene Mauer der Stadt ging  
Und jener im schwarzen Mantel ein rosiges Kindlein trug,  
Im Schatten des Nussbaums der Geist des Boesen erschien.

Tasten ueber die gruenen Stufen des Sommers. O wie leise  
Verfiel der Garten in der braunen Stille des Herbstes,  
Duft und Schwermut des alten Hollunders,  
Da in Sebastians Schatten die Silberstimme des Engels erstarb.



## СОН СЕБАСТЬЯНА

*Адольфу Лоосу*

## 1.

Мать носила ребёнка под белой луной,  
 Под тенью орешины и бузины многолетней,  
 Отведавших лунного света и плача дрозда;  
 И тихо склонился над ними,  
 Сострадающий лик бородатый  
 Затихший во мраке окна;  
 Домашняя утварь отцов  
 Там ветшала: любовь и осенние грёзы.

То был чёрный день года, печальное детство,  
 Когда отрок неслышно спускался в холодную воду,  
 К серебряным рыбам,

Покой и лицо;  
 Тут он бросился камнем под ноги коней разъярённых,  
 И звезда высоко проплыла над ним серою ночью.

Или: когда он, держа, материнскую руку замёрзшую,  
 По погосту Санкт Петерса осенью шёл,  
 Хрупкий мертвец, в тихом мраке гробницы лежавший,  
 Холодные веки над ним приподнял.

И всё же он был маленькой птицей средь голых ветвей,  
 Колокольную песней ноябрьских вечерий,  
 Безмолвьем отцов, куда спускался  
 В потёмках по лестнице винтовой.

## 2.

Мир в душе и покой. Одиночество зимнего вечера,  
 Пастухов очертанья темнеют на старом пруду;  
 Ребёнок в соломенной хижине; о как неслышно  
 Упадало лицо в черноту лихорадки.  
 Ночь Святая.

Или когда он, ведомый отцовскою твёрдой рукою,  
 Восходил бессловесно на тёмный Кальварий,  
 В нишах скал вечеряющих  
 Проплывал синий призрак, подобно легенде,  
 А из раны под сердцем хлестала пурпурная кровь.  
 О, как тихо душа несчастливая воздвигала свой крест!



Любовь: когда растаял чёрный снег в душе,  
И в старой бузине резвился синий ветер,  
В лециновом тенистом своде;  
И перед отроком бесшумно появился его розовощёкий ангел.

Радость: когда в холодной комнате лилась вечерняя соната,  
Когда на матице червлёной из бледной хризалиды  
Вдруг выплыл синий мотылёк.

О, близость смерти! В каменной стене  
Желтеет изголовье, замолчал ребёнок,  
И в том же марте умерла луна.

## 3.

В склепе ночи алеют пасхальные колокола,  
Серебряные голоса созвездий,  
Что ливень тёмного безумья  
Со спящего чела смывал.

О, как тихо движенье вниз по речке синей,  
В раздумьях о забытом, когда в ветвях зелёных  
Дрозд Незнакомца всё зовёт в закат.

Или: когда, держа сухую руку старца, он шёл  
По городу вдоль ветхих стен вечерних,  
И кто-то в чёрном мимо проносил румяного младенца,  
Тогда в лециновой тени ему злой дух явился.

По лета зелёным ступеням шага. О, как тихо  
Увядают сады в червлёной осенней тиши.  
Аромат этот грустный отживших кустов бузины,  
И в тени Себастьяна умер ангела голос серебряный.

# ЕВГЕНИЙ ДЕМЕНОК

---

## ЛЕФКАРА рассказ

– Если у вас сейчас нет наличных, вы можете заплатить в следующий раз. Я вам доверяю, – сказала Мария, хозяйка большого кафе на окраине Лефкары, глядя на кредитную карточку в руках Миши, моего израильского друга.

К Марии мы попали случайно – наше любимое кафе «Tasties», в котором я как-то отравился осьминогами, вымоченными в вине, оказалось закрыто.

– Сегодня проблемы со связью – не получается провести кредитные карты, – продолжила Мария. – Но я вам доверяю – у меня в Израиле много друзей, и все они хорошие люди. Несколько пар живут на Кипре постоянно и по выходным приезжают ко мне обедать. Так что заплатите в следующий раз – это не проблема.

Нам нужно ехать в аэропорт. Даже не ехать, а мчаться.

Мы с сожалением оглядываем стол, от края до края уставленный тарелками, большинство из которых опустошить не удалось – мы заказали мезе.

Третий день наши израильские друзья Миша и Ира не перестают удивляться. Началось всё в Пафосе, когда я заболтался, проехал под «кирпич» и выехал на встречку. Дорога узкая, и мы едва разъехались с машинами, едущими в правильном направлении. Каждый из водителей встречных машин открывал окно и объяснял мне, улыбаясь, что я еду не туда. Не совсем верно. Немного нарушил. Не страшно, конечно, всё равно разъедемся. С кем не бывает.

– Это что-то! – воскликнула Ира. – Никто из них не кричит, не ругается, не показывает неприличные жесты. У нас бы тебя уже обрутали с ног до головы. Это что-то!

– Ира, не позорь Израиль, – ответил ей Миша. – У нас тоже встречаются доброжелательные люди.

После двух сумасшедших дней, за которые мы успели объехать половину острова, друзья улетают. Но мы не хотим терять время. Каждую свободную минуту нужно использовать. Поэтому по дороге в аэропорт – Лефкара.

Лефкара – это «восклицательный знак» перед отъездом. Мы решили сразить друзей окончательно. Ещё бы – сам Леонардо да Винчи остался под впечатлением.

Пока мы пробирались по узким улочкам, они, не переставая, восхищались и снимали всё вокруг на свои смартфоны. Ярко-синие стены домов, распахнутые настежь двери, через которые можно рассмотреть многочисленные фотографии родственников на столиках в гостиных – непременный атрибут кипрских домов. Ажурные балконы, резные разноцветные двери, лавочки с обязательными кружевами и серебром. И, конечно же, церковь Тимму Ставру, Святого креста, возведённую в типичном для Кипра франко-византийском стиле.

Именно у неё мы и оставили машину, именно у неё и увидели вывеску «Таверна “У Марии”».

– Вам нужно сейчас спуститься вниз, затем резко повернуть налево вверх и около полиции, на выезде из деревни, снова повернуть налево, – сказала вышивающая кружева пожилая женщина, увидев, что мы разглядываем вывеску. – Через триста метров на холме вы увидите таверну.

– Там вкусно? – спросил Миша.

– Очень, – ответила женщина, не прекращая вышивку.

И вот мы здесь. Таверна «У Марии» оказалась вишенкой на торте. Точкой в восклицательном знаке. Мы всё-таки нашли наличные, и Мария ушла за сдачей.

– Обычно киприоты рассказывают тебе за пять минут всю свою жизнь, – говорю я. – Мы как-то ехали



из Полиса в Пафос и остановились у фургончика выпить фраппе. Хозяин, мужчина лет шестидесяти, сидит рядом с нами за стол – знаете, такой дешёвый пластиковый белый стол с такими же стульями, и рассказал о том, что почти всю свою жизнь он прожил в Южной Африке, о том, как он специально прилетел оттуда в родную деревню, чтобы украсть свою несовершеннолетнюю невесту, будущую жену, потому что родители её не давали согласия на их брак, и они убежали в горы, а на третий день родители сдались; он увёз её в Йоханнесбург, через тридцать лет они вернулись домой – всё же родина есть родина; они живут вместе до сих пор, правда, в разных домах – он в доме родителей в деревне, она – в Лимассоле, поближе к детям, встречаются на выходных, это понятно – за столько лет устали друг от друга; месяц назад он попал в аварию и переосмыслил после этого всю свою прошлую и – в основном, – будущую жизнь.

К тому моменту, когда мы допили фраппе, мы знали об Андреасе всё. Я даже запомнил его имя.

Мария принесла сдачу.

– Видите машину внизу? Это моя дочь, она едет из Ларнаки, с собеседования – пробует устроиться в аэропорт, работать на регистрации. Я очень волнуюсь, ведь ей уже двадцать четыре, и она до сих пор не может найти себе хорошую работу.

– А кто она по профессии? – спросил Миша.

– Учитель младших классов. Но вы же знаете, как долго приходится ждать свою работу в школе – все места заняты. У моего мужа есть такси, и дочь иногда помогает ему, но что это за работа – раз в два-три дня отвезти кого-то в аэропорт. Да и не очень безопасно для молодой девушки. У сына тоже нет работы, зато он недавно женился, они живут с нами, и моя невестка очень меня любит. Я уже жду не дождусь, когда стану бабушкой.

– У вас невероятно вкусная еда, – сказал Миша.

– Это потому, что я готовлю её от всего сердца, – улыбнулась Мария. – Тогда раба!

Мы заторопились к машине. Сесть в неё сразу было невозможно – жарко. Мы открыли двери, чтобы проветрить салон. Внизу лежали черепичные крыши Лефкары, а за ними, до самого моря – едва покрытые зеленью живописные холмы.

– Когда на обед у тебя мезе, легко опоздать в аэропорт, – сказал я.

– Это что-то, – сказала Ира. – За пять минут – всю свою жизнь. Это что-то.

– Да ладно. У нас тоже так бывает, – сказал Миша.

– У нас дома – никогда, – сказал я и нажал педаль газа. Плавно набирая скорость, мы поехали по серпантину к виднеющейся вдали автостраде.

# ВЕРОНИКА КОВАЛЬ

## КНЯГИНЯ Г. романтический детектив

*Детектив – это не только расследование преступления.  
Это раскрытие тайны, поиск чего-то неизведанного  
(Википедия).*

Переезд – дело хлопотное. Однако я видела, что суэта отвлекает Этери от горьких мыслей. Она разъезжалась с бывшим мужем. Мне говорила, что рада, но я-то по себе знала, что такое послевкусие развода. Ладно, не будем о грустном. К тому же, сегодняшнему событию немало поспособствовала я. Известно, что такое в Одессе продать двушку и купить на это две однушки. Я, риелтор (а в прошлом – учитель литературы), всю зиму вплотную занималась этой головоломкой. В результате удалось с совсем небольшой доплатой найти для Этери уютную квартирку. А я в процессе поиска обрела подругу. Этери Цхведадзе руководит детской художественной студией. Родители её тоже художники, отец умер, а мать, Полина Ивановна, сейчас носит мелкие вещи в прибывшую машину. Она-то и подняла выпавшую из старого семейного альбома фотографию. Это была классика жанра: женщина с мальчиком в кресле, мужчина сбоку, чуть позади. Подбежал девятилетний Гога, вырвал из рук бабушки снимок («дай посмотреть!») и вдруг закричал:

– Мам, иди скорей!

Мы с Этери поспешили к ним. Гога снимал с оборотной стороны старой, толстого картона фотографии верхний слой – явно чужой, из белой бумаги. Она отошла легко, и проступили слова чёрными чернилами «Надо мной уже занесён меч. Боюсь, пострадает вся семья. Поэтому тайну нашего рода и реликвию доверяю моим братьям по жизни Гиви Гиоргадзе, Владимиру Никичу, Вахангу Ломидзе. Кто-то из них останется и передаст их тому, кто найдётся из моих родных». И подпись: «Давид Ц. 12 марта 1937 г.»

Надпись повергла нас в шок. Мы взгляделись в снимок. Высокий сутулый мужчина в военной форме напоминал Дон Кихота. Его жена, черноглазая брюнетка с густыми бровями, в блузе с воротником апаши, сосредоточенно смотрела в объектив. Мальчик-очкарик лет пяти в белой рубашке с бабочкой почти сполз с материнских рук.

Полина Ивановна сказала, что на фотографии – дед её мужа Давид Цхведадзе, его жена Тамара и их сынишка Леван. Муж рассказывал ей, что Давид был кадровый военный, красный командир. Судьба военного занесла его в Ростов, но в последние годы семья жила в Батуми. В 37-м или 38-м его расстреляли. После войны Тамара вышла замуж за врача. У них родилась дочь Манана. Больше Полина Ивановна ничего не знала, потому что муж её в семнадцать лет поехал из Батуми на экскурсию в Одессу, ему здесь понравилось, и он поступил в художественное училище. Там его Полина и встретила. А семейный альбом отец мужа привёз как подарок на рождение Этери.

– А папа тебе что-то рассказывал о тайне рода? О какой-то реликвии? – спросила взволнованная Этери.

– Нет, – пожала плечами Полина Ивановна. – Наверное, он и сам не знал. После смерти Георгия я перебирала его бумаги, ничего такого не обнаружила.

Внук широко раскрытыми карими глазами смотрел на бабушку. Он весь дрожал от любопытства:

– Ну вспомни, вспомни!

– Может, какую-то зацепку, – теребила её Этери.

Под окном уже отчаянно сигналил водитель, и разговор пришлось отложить. Но в такси, в котором мы следовали по городу за грузовиком с утварью, Полина Ивановна вдруг напряглась:

– Вспоминаю фамилию Мананы по мужу. Вроде на букву «Ж». Вот – Манана Жвания! И ещё вспомнила, что у её мужа-врача был сын от первого брака.





Я тоже наморщила лоб:

– Получается, Манана – младшая сестра вашего свёкра Левана? То есть, она ещё может быть жива?

– Не мучь меня, не знаю больше ничего! – вскинулась Полина Ивановна.

Через несколько дней, когда вещи уже заняли свои места в новой квартире, мы с Этери чаёвничали на кухне. Она не могла прийти в себя после обнаружения записи. Да и я заболела этой тайной. А Гога вообще только и говорил о реликвии. Ему казалось, что это мешочек со старинными золотыми монетами.

– Ты будешь влезать в это дело? – обратилась я к Этери.

– Спрашиваешь!

После всяких беспочвенных догадок, как вести расследование, остановились на том, что нужно искать сведения о Манане Жвания, скорей всего, в Батуми. Я вспомнила, что моя соседка несколько лет назад переехала туда к сыну. Вот он и разузнает про Манану и её родственников через свои социальные сети, это всё же сузит круг поисков. Хорошо, что соседка оставила мне на всякий случай его телефон.

Позвонили. Сын записал данные, и уже где-то через неделю сообщил, что Манана не нашлась, но зато откликнулись девять мужчин Жвания. По прикидке подходили два. Он связался с обоими. Один из них, Арчил, оказался неродным внуком Мананы. Его электронный адрес – такой-то.

– Да будет благословенно чудо Интернета! – воскликнула эмоциональная Этери.

Мы тут же сочинили письмо Арчилу. Про тайну не сказали, просто Этери объяснила, что хочет знать историю своего рода. Он откликнулся мгновенно и взволнованно. Написал, что Манана его вырастила, он считает её родной бабушкой, очень горевал три года назад, когда она умерла, и они с отцом готовы помочь. Короче, ждут Этери в любое время.

– Лето – пора отпусков – констатировала я. – Так что – едем?

– О чём речь? – воскликнула Этери. – Я же никогда не бывала на родине отца, не знаю его родственников! А тут ещё семейная тайна. Конечно, едем!

Мы пересекли море на огромном девятипалубном пароме, нижняя палуба которого была занята большегрузными фурами и даже вагонами. Время мы проводили, глядя на волны. Ночью они с высоты походили на чёрный мрамор с белыми прожилками. За кормой кипел бело-голубой пенный шлейф. Водители-грузины выводили такое многоголосие, что щемило сердце.

Арчил встретил нас возгласами «Гамарджоба!», объятиями и отвёз к себе домой. По дороге ни о чём не расспрашивал. О себе рассказал, что он гимнаст, тренирует юношескую команду. Квартира была почти пуста – семья недавно переехала в новый район. Нас приветливо встретила беременная жена Арчила. За её подол держался малыш лет трёх.

– Вот моя семья. После работы придёт папа, – сказал Арчил и нежно приобнял жену. – Давай на стол, что приготовила. Это дорогие гости!

Мы не стали кокетничать, налегли на сациви и прочая, прочая. «Уговорили» бутылку киндзмараули. Только после трапезы мы перешли на софу. Этери сказала, что не только интерес к корням привёл её в Грузию. Показала фотографию с загадочной надписью. Арчил ничего не смог добавить. Он только от нас узнал, что сын Давида, написавшего записку, его неродной дед. Бабушка почему-то не рассказывала о своём брате по матери.

С нетерпением мы ждали прихода отца Арчила, приёмного сына Мананы. Он отнёсся к нам почему-то сдержанно. Больше того, вызвал сына на балкон, и оттуда была слышна весьма эмоциональная перепалка на грузинском. Мы переглянулись и решили, что надо уходить. Но в последний момент мужчины вернулись в обнимку, улыбающиеся.

– Честно скажу, отец сразу был против того, чтобы кто-то копался в истории семьи. Дело в том, что его неродной дед Давид, который написал записку, был расстрелян в 38-м как враг народа. Отец не хотел, чтобы об этом знали внуки и правнуки. Но я его убедил, что реабилитация в 54-м всё ставит на места, рассказал, зачем вы на самом деле приехали.

Арчил показал отцу фотографию с надписью. Тот медленно читал, наморщив лоб. Посидел молча. Наконец мы услышали первые слова из его уст:

– Я дед не знал. Говорили, он был штабным офицером. Его репрессировали, когда ему и тридцати не было. А что до друзей Давида... Он сам был вроде бы 1909-го или 1910-го года рождения, так что им сейчас было бы под сотню лет. Надежды, я считаю, никакой. Забудьте, дорогие, отдохайте, веселитесь. Сын вам покажет прекрасную Аджарию. Знаете, какая у нас поговорка? «Бог забрал у нас всё, кроме рая!» А теперь давайте поднимем бокалы. За вас, дорогие гости!

Этери, я видела, пала духом. Но мы с Арчилом в один голос заявили, что нужно попытаться найти стариков.

Жена Арчила слушала наши разговоры вполголоса, разрываясь между кухней и ребёнком. Вдруг она что-то начала тихо говорить Арчилу. Тот изумлённо взглянул на неё и закричал по-русски:

– Что ж ты весь вечер молчишь?

И обратился к нам:

– Она говорит, что в кладовке на дне чемодана со старыми книгами она видела большой конверт, а в нём несколько старых писем. Она не придавала этому значения, а сейчас у неё в голове всплыло, что на конверте было написано «Давид». Пойдём скорей, покажешь.

Нужно ли говорить, как мы ждали их возвращения?

Они вернулись с пожелтевшим конвертом!

Отец тут же конфисковал письма. Перебирал, читал, поработал, я думаю, цензором. Мы следили за каждым его движением. Наконец он резюмировал:

– Это четыре письма Давида супруге. Похоже, он был на сборах или в каком-то летнем военном лагере. Ну, пишет, что палатки на четыре человека, кормят хорошо, отбой в десять, комары, проклятые, спать не дают. Но в одном промеж всякой ерунды написано: «Папку спрячь подальше». И опять про жизнь в лагере.

– Похоже на конспирацию, – задумчиво произнёс Арчил. – Отец, эти слова ни о чём тебе не говорят?

Тот только плечами пожал.

Тайна повисла в воздухе.

– А вдруг папка совсем не «наша», а какие-нибудь, например, расчёты? – засомневалась я.

Этери, однако, безоговорочно поверила в то, что эта фраза связана с его запиской на фотографии.

– Что ж, надо разыскивать какие-то следы тех, кому Давид доверил тайну. Завтра же и начнём.

Наутро по звонку Арчила пришёл его приятель, учитель истории Михо. Мы обрисовали ему проблему.

– Что ж, – в задумчивости теребя жидкую бородку, сказал тот. – У меня есть доступ в областной архив. Есть и свои источники. Попытаюсь восстановить генеалогическое древо рода Цхведадзе. Может, это к чему-то приведёт. Хотя, честно, опорных точек мало. Давид, Леван. А до них – вакуум.

Этери решила, что мы с ней пойдём в адресное бюро, чтобы найти сведения о друзьях, которым Давид доверил тайну и реликвию.

В адресное бюро мы могли назвать только примерный возраст искомых лиц. Надежды, сказали нам, почти нет. Во всяком случае, велели зайти дня через три.

Так у нас появилась возможность погулять по Батуми. Арчила срочно вызвали на работу, потому что соревнования, к которым он готовил команду, перенесли на более ранний срок. Он приставил к нам своего друга Гурама. Когда он появился, я чуть не упала в обморок. Во всяком случае, поплыла куда-то. Наверное, от изумления рот раскрыла, потому что Гурам, сверкнув голливудской улыбкой, сказал:

– Никогда таких красивых грузин не видела, а?

И расхохотался. Оказалось, он не просто красавец, а архитектор, знаток города, юморист и вообще... Пропала моя головушка!

Батуми, на удивление, оказался ультрасовременным городом. Здания сложной конфигурации, какие-то башни, модерновые скульптуры, бесчисленные кафе. Архитекторы старались, как говорил Гурам, деликатно вписать в авангард постройки прошлых веков. Каскад фонтанов с цветомузыкой, необозримо длинная набережная с аллеей мохнатых пальм вообще повергли нас в изумление. Мы долго сидели на площади, ели фруктовое мороженое, любовались сияющим на солнце Золотым руном, потешались над ребятиней, которая визжала под фонтанами-обманками. Под вечер Этери сказала усталой и отправилась домой. Мы с Гурамом поехали в ботанический сад на Зелёном мысу. Там собраны растения со всего мира. А меня как филолога, пусть бывшего, порадовало, что здесь одно время жил Паустовский.

Высоко над синим-синим морем, среди реликтовых деревьев и необыкновенных цветников я чувствовала себя в волшебной стране, тем более что рядом был принц. Он был сдержан, но я чувствовала, чувствовала, что протянулась между нами тонкая ниточка. А в кафе, где мы танцевали, и на пути домой через сверкающий огнями город, она окрепла. Как мне хотелось, чтобы эта ночь не кончалась!

Впрочем, простите за лирическое отступление. Речь-то не обо мне...

В базе данных адресного бюро значился только Вахтанг Ломидзе. Но и это – надежда! Воодушевлённые, мы немедленно отправились искать его. Батуми полосой идёт вдоль берега моря. Тесно застроенный центр через полчаса езды маршруткой сменился посёлком частных домов, затем районом богатых особняков.



Один из них числился под нужным нам номером. На звонок в ворота откликнулись лаем два лабрадора, а затем на крыльцо выплыла моложавая полная дама. Она разговаривала с нами через решётку забора. Дама сказала, что данные адресного бюро устарели, прадедушка Вахтанг ушёл в мир иной лет двенадцать назад. Он жил в их семье, кое-что рассказывал о своей молодости, но Давида вроде бы не вспоминал, никаких папок после него не осталось.

Мы попрощались и ушли разочарованные. Первое звено цепи оборвалось. Этери шла молча, опустив голову. Вдруг нас окликнули. Мы обернулись. Дама бежала, придерживая полы халата, и кричала, что вспомнила, как много лет назад дедушку навещал друг молодости. Имя и фамилию она не знала, но помнила, что он приглашал к себе в гости в Мцхету. Этери ожила и чуть не запрыгала на радостях. Она обняла даму, и та расплылась в улыбке.

Итак, в Мцхету!

Арчил смог нас сопроводить. Гурам тоже, к моему спрятанному внутри восторгу, вызвался поехать. Мы сели в поезд, и он помчал нас в Тбилиси. Дорога шла по ущельям, по узким равнинам. Вдали промелькнула река. Сменяли друг друга отдельные дома и селения. Гурам рассказал, что Мцхета – древняя столица Грузии. Памятников старины там едва ли не больше, чем на всей остальной территории. В Тбилиси мы сразу пересели на автобус, и он повёз нас по петляющей дороге всё выше и выше в горы. Уже на подъезде к городу явил себя на вершине высокой скалы кажущийся снизу маленькой шкатулкой храм.

– Это Джвари. Наша христианская святыня. Помните? – спросил Гурам. – «Там, где, сливаясь, шумят, обнявшись, будто две сестры, струи Арагвы и Куры, был монастырь...».

– Лермонтов! «Мцыри!». Этот храм?

– Да, – ответил Гурам с таким видом, будто он его построил. – И памятник Лермонтову там, недалеко от Джвари.

Я была потрясена. И весь день я не могла оторвать глаз от плывущего в лёгких облачках храма.

Мцхета сразу взяла нас в полон, но мы не смотрели по сторонам, боясь не устоять перед этой красотой и задержаться. Мы искали адресное бюро. Но первый же встречный сказал, что такового в городе нет.

Мы опять приуныли. Как искать нужных нам стариков?

Пробовали ещё спрашивать прохожих, но все пожимали плечами. Неподаляку от остановки автобуса виден был старинный храм за низкой каменной оградой. На табличке значилось, что это церковь Самтавро XI века. При ней – женский монастырь. Мы решили войти туда и поговорить с прихожанами. Под гулкими каменными сводами церкви, почти пустой, было так прохладно, что мы, ошалевшие от дикой жары, могли снова дышать и оглядеться. Храм был не изукрашен, но его простота производила сильное впечатление.

Через открытую дверь я вдруг увидела, как за оградой затормозило несколько джипов. По выгоревшей траве побежали парни-качки в чёрных футболках. Они заблокировали выходы. Один из них, тщедушный, юркий, упал посреди храма на колени перед большой иконой Богородицы, начал истово молиться и бить земные поклоны. Парни, как по команде, тоже принялись небрежно креститься. Мы в изумлении застыли. Чуть придя в себя, мы перешепнулись, что тот, самый ничтожный, наверное, их главарь. Что он просит у Богородицы? Прощенья за грехи или благословения на новое «дело»? А он тем временем встал с колен, приблизился к подошедшему батюшке и что-то стал выкрикивать с гортанным клёкотом.

Мы захотели выйти. Качки неохотно выпустили нас с Этери, а мужчин оставили, как видно, в заложники. Но говорили они вежливо и сказали, что скоро уедут. Что оставалось делать? Жара доставала, поэтому мы решили спрятаться в тени у боковой стены. А там оказалось старое кладбище. Мы остановились. Может, обнаружится могила со знакомым именем? Но нет. Под мраморными надгробиями с резными крестами покоились, как видно, знатные люди и священнослужители. К тому же, почти все надписи были на грузинском. Возле одной из могил копошилась в земле старая монашка. Едва ли она поймёт нас! Но Этери всё-таки спросила её о тех, кого мы ищем. К удивлению, монахиня прекрасно говорила по-русски. Она что-то перебирала в памяти, потом сказала, что когда-то в городе жила русская семья. Что с ней сейчас – она не знает, давно удалась от мира. И даже назвала улицу, где в последнем доме жили русские.

Пока мы беседовали, чёрное воронье ринулось из храма и укатило. А мы встретили Гурама и Арчила радостными возгласами. Они удивились, что мы так преуспели, и даже, по-моему, чуточку досадовали, что без них. На шоссе мы поймали машину и в нетерпении помчались по мощёным горбатым улочкам. Этери держала меня за руку и шептала:

– Я чувствую – едем не зря!

Мы вышли из машины у ограды вросшего в землю дома из грубого камня. К балясине крыльца было

привязана пегая коза. В окно выглянула седая женщина. Дверь была открыта. Мы попали в комнату с длинным столом, лавками и множеством икон на стенах. Дружелюбная хозяйка представилась как Анна Николаевна. Мы объяснили ей цель визита. Она даже обрадовалась. Рассказала, что её предки – сербы. После первой мировой деда занесло сначала в Россию, потом на Кавказ. Не удивилась она и нашим вопросам о Владимире Никиче и какой-то папке.

– Да, – сказала она, – одно время у нас жил дядя Володя. Он показывал мне папку. Большая, кожаная, на ней золотое тиснение: три одинаковых буквы. И золотая застёжка.

– Какие буквы? – в нетерпении воскликнула Этери.

Анна Николаевна покачала головой:

– Я ещё малая была, читать не умела. Да и буквы были с таким замысловатым узором, что я только на него глядела.

– Где папка? – Этери чуть не кричала.

– Дядя говорил, что это не наше, что за папкой могут прийти. Сам он прошёл всю войну и вскоре сги скончался от ран. А через несколько годов пришёл какой-то мужчина. За папкой. Сказал, что он из Батуми, друг деда. Я и отдала.

– Вы хоть его адрес записали? – вклинилась я.

– Всё так быстро случилось, он меня будто загипнотизировал. Опомнилась, когда и след его простыл.

А что, не надо было отдавать? Тогда простите неразумную.

Можете представить наше разочарование!

Мы успокоили Анну Николаевну, и она накормила нас густой окрошкой, такой приятной в жару!

На обратном пути Этери едва сдерживала слёзы. Всё вернулось на круги своя! Батуми уже «отработан». Следы потеряны.

Гурам предложил осмотреть храм Светицховели, потому что, если не заедем, мы себе потом этого не простим. Как я благодарна ему – он нам подарил чудо! Величественный храм будто сам вырос из скал и вобрал их мощь. Внутри – высокие своды, огромные пространства нефов, резные стены, фрески... Меня поразила икона, на которой Христос издали видится с закрытыми глазами, но при приближении они открываются и смотрят прямо на тебя. Мурашки по коже!

Мы, оказывается, попали на торжественную литургию по случаю приезда какого-то митрополита. Огромное количество молящихся, праздничные ризы священников, мужской и женский хоры, зарево горящих свечей – будто мы смотрели грандиозный исторический фильм.

Этери словно оцепенела. Она ходила вдоль стен и изучала каждую фреску, каждый орнамент на резном камне. Потом сказала, что хочет сделать зарисовки, поэтому до отъезда останется здесь. Разомлевший Арчил пошёл выпить пива. Мы с Гурамом осмотрели храм снаружи, погуляли в просторном дворе, пока его не наводнила толпа японских туристов, и вышли в город. И опять я попала в сказку. Мой принц показывал мне резные балконы, каждый с неповторимым узором, увитые виноградом заборы, дворы с бочками для вина. В лавке, где продавалась старина, он купил серебряный перстенёк с грузинским орнаментом, надел мне на палец и поцеловал в щёчку. Я ответила единственным запомнившимся мне грузинским словом «мадлобт» («спасибо!»). Он даже отбил степ на камнях дорожки, ведущей к ресторану «Old Mckheta», где мы пропустили по бокальчику саперави. Душа моя вознеслась...

На обратном пути я заметила, что Этери не может выйти из транса. Я дёрнула её за рукав, и она зашептала:

– Понимаешь, я не представляла, какое впечатление произведут на меня храмы и вся Мцхета. Наверное, во мне проснулась генетическая память. Здесь всё моё! Я бывала здесь в прошлой жизни. Я гладила камни стен, и мне от них было тепло. И если даже мы никакую тайну не раскрыли, всё равно я нашла во много раз больше!

Я молча слушала, но меня переполняли собственные впечатления. Видеть профиль моего принца на оконном стекле автобуса – этого мне было достаточно для счастья.

– Вот что, девчонки: нам надо быть в Батуми, а вы останьтесь-ка в Тбилиси на пару дней. Когда ещё такую красоту увидите? – распорядился Арчил.

Этери с радостью согласилась, но мне до невозможности было жаль расставаться с Гурамом. А он сказал, что его бывший однокурсник занял небольшой хостел, он нас примет, как родных.

Действительно, хозяин встретил нас с распростёртыми объятиями. Мы проводили своих, рано легли и уснули, как убитые.



Назавтра, пока мы собирались выйти в город, хозяин попросил нас зайти в его кабинет. Там был открыт скайп.

– Михо раскопал родословную рода Цхведадзе – горячился Арчил. – И даже генеалогическое древо нарисовал. Говори, друг!

– Самый ранний из обнаруженных мною предков, – читал по бумажке Михо, – Георгий Цхведадзе. Он был разорившимся помещиком, когда женился в 1853-м году на Нино Циклаури. Отец Нино тоже был помещик, но владел богатым хозяйством. И вот тут начинается нестыковка. Зачем богачу выдавать восемнадцатилетнюю дочь за разорившегося? Я долго ломал голову. А разгадку нашёл, когда обратил внимание, что дочь Нино и Георгия Цхведадзе, которую назвали Саломе, родилась через пять месяцев после бракосочетания. Здесь может быть два варианта. Либо молодёжь не дождалась свадьбы, либо, что практиковалось, ребёнок получился от какого-то знатного лица, и, чтобы приккрыть грех, девушку формально выдали замуж за другого. Добавлю, что в это время в Тифлисе был расквартирован штаб князя Воронцова, наместника Кавказа. А старший брат Нино участвовал в кампании Воронцова. Где-то в недрах моего мозга таится предположение, что эти факты связаны. Но моя интуиция может ничего не стоить.

– Спасибо, – сказала Этери. – К нашему поиску, как я поняла, это ничего не добавляет, но ты нашёл моих предков. Это дорогого стоит!

– Хочу добавить, – вмешался хозяин, – что князя Воронцова чтят в Грузии. Он был честный и справедливый. Был памятник ему, но большевики снесли. А дворец стоит. До сих пор это место называют «варанцови».

– А в Одессе памятник сохранили! И Воронцова мы почитаем! – с гордостью добавила я.

Итак, топтание на месте продолжилось.

Этери каждое утро убегала, нагружённая своим скарбом под завязку. Ей хотелось сделать как можно больше зарисовок. Так я оказалась предоставленной самой себе. Я грустила по Гураму, но город затянул меня в воронку узких улочек и немислимой пестроты лавчонок. Я бродила по ним среди разношерстной гомонящей толпы, как заколдованная, и странным образом опять оказывалась на знакомой площади. Потом я поднялась на возвышенность. Храм Метехи открылся мне в своей суровой простоте. Вахтанг Горгасали, основатель города, гордо восседая на коне, смотрел на Авлабар, крепость Нарикали и купола серных бань, которые помнят Пушкина. Прогулялась по набережной Куры возле воронцовского дворца, похожего на итальянское палаццо. И мне подумалось, что Одесса и Тбилиси похожи. Их объединяют Пушкин и Воронцов, эклектика старой архитектуры и, наверное, ощущение вечного праздника на улицах.

Конечно, я не преминула побывать у подножия горы Мтацминда, в Пантеоне, где могила Грибоедова и многих выдающихся персон Грузии. На фуникулёре поднялась вверх и застыла в восхищении от той панорамы, которая открылась мне: излучина жёлтой Куры, сбегаящие с гор дома под красной черепицей, сверкающий новый мост, купола. Таким и запомнится мне Тбилиси. Да, ещё звучащее вокруг многоголосное мужское пение, аппетитные горьковатые запахи шашлыка и пряных трав...

Как не хотелось уезжать! Но у нас были билеты на паром из Батуми, отходящий через три дня. Ощущения были странные: восторг от Грузии, разбавленный горечью нераскрытой тайны.

За ужином с друзьями в доме Арчила мы старались не говорить о нашей общей неудаче. Поднимали бокалы за встречу, обещания увидеться снова, за приезд новых родственников в Одессу. Мы с Гурамом, не отрываясь, смотрели друг на друга, и сердце моё отчаянно колотилось. Отец Арчила молчал. Как оказалось, он был прав, говоря о безнадежности нашего предприятия.

Вдруг он вымолвил такое, что мы сразу даже не оценили:

– В Батуми Гиоргадзе нет, но сколько одиноких домов в горах! Где эти люди зарегистрированы – кто их знает?

Мы задумались.

– Я знаю ход! – вскочив со стула, воскликнул Михо. – Их дети учатся в Батуми. Зимой они живут в городском интернате, а на каникулы их забирают родители. Можно узнать, есть ли в интернате дети по фамилии Гиоргадзе. Надежда слабая, но других вариантов я не вижу.

Нам оставалось только согласиться.

Назавтра Этери, я и Михо отправились в интернат. Он пустовал, там шёл ремонт, но директор оказался на месте. Мы объяснили вкратце свой интерес. Ответ не замедлил ждать:

– Знаю эту семью. У нас учатся Сандро Гиоргадзе и его младшая сестра Софиико. Вот их личные дела.

– И адрес есть? – Этери дрожала от нетерпения.

– А как же! Но семья живёт высоко в горах. Не уверен, найдёте ли вы их дом, и вообще, те ли это люди. Вселяет надежду только то, что обычно эта фамилия пишется как Георгадзе. А в данном случае – Гиоргадзе.

– А если позвонить?

– Нет, там мобильник не берёт.

– Нужен проводник, – высказалась я.

– Подождите три дня. Софико участвует в городском детском празднике, и Омари, отец, должен её привезти на генеральную репетицию.

Что делать? Ведь нам нужно уезжать.

И всё-таки, мы решились не упускать последний шанс. Билеты сдали.

Не знаю, как продержалась Этери до назначенного срока.

В толчее маленьких артистов директор отыскал Софико с отцом. Этери спросила:

– Скажите, к вам имеет отношение очень пожилой человек Гиви Гиоргадзе?

– Конечно, – с улыбкой ответил симпатичный, со щеголеватой стрелкой усиков, мужчина. – Он мой дед.

– Он жив?

– А что ему сделается? Девяносто восемь лет, а крепкий, как чинара. Только ноги не ходят. Так вы его ищите? Зачем, если не секрет?

– У него могут находиться документы друга его молодости, нашего предка Давида Цхведадзе. Он вам рассказывал о них?

– Нет.

– А в его бумагах нет ли кожаной папки с золотым тиснением?

– Знаете, он журналист, долгие годы работал в газетах, собрался целый стеллаж его статей и материалов. Я туда не заглядывал. Ну, спросите у него. Приглашаю! Как раз сейчас полный дом родни.

Я взглянула на Этери. Её глаза набухли слезами. А мне хотелось прыгать! Но я боялась сглазить.

После репетиции мы последовали за машиной Омари, где, кроме Софико, были и другие дети.

Невероятно, но мы остались живы после такой поездки! Это как американские горки. Машина то ныряла круто вниз, то карабкалась, завывая, на очередную гору. Иногда дорога сужалась до тропы, иногда приходилось ехать через бурные ручьи по скользким камням. Но, зато какая красотища! Буйная зелень холмов, окультуренные участки уступами, острия скал, небольшие водопады, обросшие мхом старинные мостики. Вдоль дороги нам то и дело встречались паломники, которые шли к церкви, еле видной где-то вверху, за облаками.

Встречать машины высыпало всё население усадьбы. Омари на грузинском представил нас. Взрослые, улыбаясь, раскланялись, а девочка лет десяти с обручем в волосах сделала книксен и назвалась:

– My name is Саломе.

– Дети по-русски уже не говорят, – объяснил Омари.

А мы просто застыли на месте. Новая Саломе! Знак судьбы?

Дом с хозяйственными постройками и пасекой стоял почти на вершине невысокой горы. Мы перешли порог просторной светлой комнаты с верандой. Омари исчез, но через несколько минут вывез коляску с дедом. Его иссохшее тело говорило о старости, но чёрные глаза под седыми бровями смотрели живо. Омари поставил коляску у стола. Этери несмело поклонилась ему:

– Меня зовут Этери Цхведадзе.

Старик долго смотрел на неё, так долго, что из глаз его выкатились две слезы. Они текли по руслам морщин.

– Неужели ты от Давида? И я могу выполнить его волю?

– Да, дедушка, мы искали вас. Вот подтверждение.

Этери протянула фотографию семьи Давида с надписью. Гиви долго всматривался, перечитывал «завещание». Рукавом клетчатой рубахи он то и дело вытирал слёзы.

– Давида я считал старшим братом. Когда мне было семь лет, он спас мне жизнь. Меня уносило по реке к водопаду. Он бросился, мы долго не могли выбраться. Давид уже тоже захлёбывался, но не бросил меня.

– Дедушка, – не сдержалась Этери, – папка у вас?

Старик молча вытащил из-под покрывала коляски папку и вручил Этери. Все мы сгрудились возле. На коричневой коже золотом были оттиснуты три буквы в затейливом обрамлении: «Г.Г.Г.». Внутри находились рисунки карандашом и акварелью. Этери медленно перебирала их, а мы рассматривали. Многие были на военную тему: атака солдат, всадники, палатки, сцены из жизни горцев, портреты кавказских типов, виды селений.



Этери вопросительно взглянула на Гиви.

– Я столько лет ждал, чтобы рассказать! – горячо воскликнул тот.

Хозяйка Майя внесла в комнату блюдо, пахнущее тушёным мясом, и пригласила всех за стол. Но никто не отозвался.

– Говори, дед, – мягко сказал Омари и сел на скамеечку у его ног. Мы сдвинули лавки и табуреты. Момент был напряжённый.

– «Г.Г.Г.», – торжественно произнёс Гиви, – это князь Григорий Григорьевич Гагарин.

– Дедушка, – удивилась Этери, – в Одессе жили князья Гагарины. В их дворце сейчас Литературный музей. Так это он жил в Одессе?

– Про Одессу не знаю, девочка, но известно, что он состоял при князе Михаиле Воронцове, когда тот вёл войну с горцами. Князь Гагарин был прикомандирован к нему как военный художник. Тогда ведь фотографии не было, художники зарисовывали сражения, походы и прочие картины войны.

– Извините, дедушка, но мог ли такой высокопоставленный человек служить простым художником? Вы ничего не путаете?

– Девочка, я столько лет изучал ту эпоху! Григорий Гагарин был необыкновенным человеком. Он был дипломат, как и его отец, работал в посольствах в Европе, потом неожиданно вернулся в Петербург и вскоре добровольцем ушёл воевать на Кавказ. А от отца ему передавалась склонность к рисованию. Его рисунки были хорошо известны в высшем свете. Вот Воронцов и захотел видеть Григория в своём окружении.

– Ничего не понимаю, – огорчилась Этери. – Где князь Гагарин и где род Цхведадзе?

– Не спеши, девочка. Главное впереди. Гагарин служил Воронцову с 1848-го года, несколько лет. Так вот, он с Воронцовым и его штабом находился в Тифлисе. Оттуда они выезжали на военные действия. Гагарину было тогда сорок с небольшим. Они с супругой жили на широкую ногу, в их доме собирались местные аристократы, офицеры. Это всё известно, есть свидетельства, официальные документы. Но теперь я скажу такое, чего нет ни в одном документе. Давид рассказал это нам троим, друзьям. Он это узнал от своего деда, а тот – от отца родственника по материнской линии. Так вот, в Тифлисе с Гагариним близко сошёлся Симон Циклаури, сын богатого помещика. Они оба участвовали в кавказской кампании.

– Правильно! – вмешался Михо. – Я вам говорил про Симона!

– Симон, – продолжал Гиви, – возил своих друзей в поместье отца. Там жила его младшая сестра Нино. Князь много внимания уделял ей. Пошла молва, что князь влюбился в Нино. Гагарин подарил ей папку со своими рисунками и её портретом. А в скором времени отец выдал дочку замуж.

Опять вмешался Михо:

– Я же нашёл в архиве: дочь Нино родилась в 1853 году, через пять месяцев после её бракосочетания с разорившимся Георгием Цхведадзе. Вот от него и пошёл род Цхведадзе! Дочь получила имя Саломе.

– Я до этих сведений не добрался, – продолжил Гиви, – но вся родня считала Саломе дочкой князя. Вот это и есть ваша семейная тайна. Её передавали из поколения в поколение. Не знаю, может быть, это красивая легенда. Давид, однако, в неё верил. Ты, девочка, сказала, что вы с отцом – художники. Разве это не подтверждение родства с Гагариним? Так что ты, Этери, княжеского рода. И папка Гагарина принадлежит тебе по праву. Как я рад, что дожил до этого момента!

– Дед, почему же ты нам не рассказал? – вступил Омари.

Гиви хитренько улыбнулся:

– Я себе приказал жить, пока не исполню последнюю волю моего незабвенного Давида. Но на всякий случай я оставил записку в коробке с моими документами: «Смотреть на чёрной полке, в левом углу. Важно!».

Этери обняла дедушку. Они оба вытирали слёзы.

Нам не терпелось посмотреть рисунки внимательно, но запротестовала Майя – угощение остывает. И все мы уселись на лавки вокруг длинного стола. Тут мы узнали, что такое грузинское гостеприимство! Стол ломился: мясо в остром соусе, всякие овощные закуски, мёд в сотах, домашний хлеб – пури, и, конечно, чача и медовуха. А какие тосты!

Омари рассказал, что дом построил его прадед. У них почти натуральное хозяйство. Летом работают от зари до зари, а зимой хлопочет только Майя. Остальные, в основном, у телевизора.

После застолья все высыпали на веранду полюбоваться панорамой гор и ущелий. Солнце уже клонилось к закату. Пора было уезжать. Вся родня Гиви высыпала за ворота. Малышня кричала что-то и махала руками. Подошла старая соседка – вся в чёрном, но с красивой большой булавкой на платье. Когда машина отъехала, булавка неожиданно сверкнула бриллиантом. Почему-то это врезалось мне в память.

В машине Этери сразу раскрыла папку. Там было двенадцать рисунков. Почти на каждом в правом

нижнем углу – подпись «ГТГ». Несколько пейзажей – горы, старая крепость на фоне белых скал, лесистое ущелье. На одном рисунке – конница горцев, пробирающаяся через завалы камней. Яркие акварели с изображением каких-то знатных грузин в черкесах с газырями и кинжалами. Рисунок танцующих девушек в длинных платьях на плоской крыше. И в нежных тонах акварель – поясной портрет девушки в тени дерева. Как бы суметь описать её словами? Лицо чуть освещает улыбка, но огромные чёрные глаза под стрелками бровей смотрят строго. Платье золотистых тонов с узкими рукавами. Поверх – вышитая накидка с широкими разрезанными рукавами. Из-под расшитого золотом обруча струится газовая вуаль. Чёрные косы свободно лежат на груди. Нежный овал лица, тонкие руки и особенный, чарующий взгляд... Да, едва ли такой портрет смог бы написать художник, не влюблённый в модель. Этери открыла оборотную сторону акварели. Там была надпись, правда, трудноразличимая из-за пятен, похожих на высохшие слёзы. Но мы, складывая букву к букве, сумели прочитать: «Образ твой дивный пребудет со мною».

Всю дорогу мы с Этери молчали. Думаю, она, как и я, воображала себе роман блистательного русского князя и юной грузинки среди романтического горного пейзажа. Почему эта история не может быть правдой? Разве для любви есть преграды?

В Батуми Этери сразу позвонила домой. Сын чуть не заплакал от разочарования – он ведь хотел мешочек со старинными монетами.

Затем Этери села за компьютер и принялась вытаскивать из Интернета сведения о князе Гагарине. Мне она поручила найти в моём ноутбуке материалы о пребывании Воронцова и Гагарина в Тифлисе.

Мы узнали столько любопытного!

Оказывается, князь Григорий Григорьевич Гагарин связан с Одессой не лично, но через родственников. Его родной брат, Евгений Григорьевич, был женат на Марии Стурдза, дочери известного одесского общественного деятеля и мецената Александра Стурдзы. Вместе с супругой он основал одесскую богадельню и вместе с княгиней Елизаветой Ксавьерьевной Воронцовой в 1854-ом году стал её попечителем. Ещё один родственник, Дмитрий Иванович Гагарин, генерал-майор, был инспектором одесского карантинного здания. Ему-то и принадлежало величественное здание в Одессе, известное как дворец князей Гагариных, а ныне – как Литературный музей.

Князь Григорий Гагарин остался в истории как военный, дипломат, художник, исследователь искусства, архитектор, мастер монументальной живописи и реставрации, вице-президент Академии художеств, этнограф, путешественник. Он прожил долгую успешную жизнь, был награждён многими воинскими и гражданскими наградами. Был человеком, весьма уважаемым и необычайно популярным в придворных и дворянских кругах.

События тех лет, что были проведены Гагариным на службе у князя Воронцова, запечатлены во множестве его работ – акварелей, рисунков, картин за подписью «Г. Г. Г». Оставил князь память о себе и в Грузии. Он участвовал в восстановлении древних памятников (например, им были реставрированы фрески Мцхетского собора). По проекту Гагарина в Тифлисе был построен театр, где он вместе с супругой играл в спектаклях.

Мы узнали, что в те времена между Одессой и Тифлисом были тесные связи – торговые, научные, культурные. Тифлис при наместнике князе Воронцове стал преобразовываться на европейский манер. Было построено множество новых зданий, открылись русский и грузинский театры, начали выходить газеты, открылись библиотеки, учебные заведения.

Из Одессы доставлялись разнообразные товары, даже кареты. С Воронцовым приехали в Тифлис одесситы – не только военные, но и учёные, архитекторы, литераторы, даже модистки и куафёры (мастера причёсок). Они привезли туда свой образ жизни – более свободный, светский. Общество молчаливо закрывало глаза на то, что многие имели любовниц и любовников. Так было принято. Сам сиятельный князь Воронцов не скрывал своих связей на стороне, да и Елизавета Ксавьеревна отнюдь не чуждалась внимания мужчин. Кстати, это стало для Этери очень важным доказательством того, что у князя Григория тоже могли быть и мимолётные увлечения, и даже любовные истории. Ему было за сорок, прекрасной Нино – восемнадцать. Экзотика Грузии, романтический порыв, страсть...

– Этери, так ты у нас княгиня Гагарина! Классно! – я с восторгом обняла подругу.

– Да ну тебя! – шутливо отмахнулась она.

В последний вечер Арчил устроил пикник на берегу ручья, который прорезал скалистое ущелье. Каких только вин и закусок не было на скатерти-самобранке! Ручей бурлил, цикады звенели, тосты не





умолкали. Этери, волнуясь, сказала, что она нашла в прекрасной Грузии свою вторую родину. И обязательно приедет сюда не раз.

Потом мужчины хором начали заздравное «Мравалжамьер». Гурам сидел рядом, волнуяще близко от меня, мы пили из одного бокала, он держал меня за руку, я была переполнена чувствами. Мы обменялись электронными адресами. Но в душе я понимала, что мы больше никогда не увидимся. Так он и останется в моём сердце как прекрасный сказочный принц.

Рассеянный свет звёзд, лёгкое вино, изумительная гармония голосов одурманили меня. Сквозь прикрытые веки я вдруг увидела в отблесках костра за спиной сидящей Этери юную грузинку в золотистом платье и вуали, схваченной расшитым обручем.

# КОНСТАНТИН ЧЕБАНЮК

## В ПОГОДУ рассказ

Смолоду любит Илья Николаевич охоту по перу. Со временем он особенно пристрастился к утиной охоте на степных лиманах в Бессарабии, – так упорно называет Илья Николаевич южное Заднепровье, где «цыгане...кочуют». Эти цыгане часто на уме у тех, кто относит себя к ценителям Пушкина, к знатокам великого поэта. Впрочем, всё это – между нами. Украинцы, болгары, сербы, молдаване, даже гагаузы – за Днестром обычны, а вот цыгане Илье Николаевичу не встречались. Но не в цыганах всё-таки дело – на лиманах места отличные. А имена чего стоят: Хаджидер, Алибей, Шаганы, Бурнас... Тут следует отметить, что охота для Ильи Николаевича не в стрельбе, куда ни попадя, не в трофеях для него охота, нет. Главное тут – степной воздух с запахом солончаковой поросли, ночёвки с чаем у костра, тишина и близкие голоса дикой жизни у круто посоленной воды; беспросветная тьма под холодным дозором звёздного космоса или полумрак с огромной луною над горизонтом... Впечатления уносятся в глубины памяти, надолго остаются там, – навсегда остаются. А потом восстают тёплыми воспоминаниями, служат темой рассказов, охотничьих баск... И всё это вместо очередей, транспортной суеты, шума и ляга порта, скрежета и грохота родного судоремонта... Конечно же, случается по-всякому, но тяжкий рюкзак, сырость, ветер, холод и прочая бяка, – дело добровольное, не хочешь – не едь! Но в этот раз...

В этот раз охота не задалась, как Бодя выражается. Да ещё и капитально не задалась... Приблизительно так подбивал предварительные итоги поездки на Хаджидер Илья Николаевич. В начале ноября подбивал, поздним воскресным утром, выглядывая из норы в соломенной скирде. Подёргивал всё тот же ветерок, швырял в разные стороны мелкий дождичек, норовил заляпать очки под длинным козырьком деголевки... Как и вчера, ранним субботним утром, когда с рюкзаком за плечами раздумывал Илья Николаевич не вернуться ли домой, и притормозивший таксист прокричал весело:

– Ну что, шеф, или – домой, под сухую простынку, или – поехали?

– Аэродром «Застава!» – грустно вспоминает Илья Николаевич свой бодрый ответ на провокативный вопрос таксиста. Да что тут и вспоминать-то. Сейчас вот, под писк мышей...

Всю субботу работал свежий ветерок, пускался дождь, моросило до густых сумерек. А охотничек в сырых, тяжёлых одеждах, в болотных сапогах сидел в раскисшей ямке, прикрывался от уток и дождя куском плёнки. Несколько раз пронеслись стороной чирята, но всё не в меру, всё в доли секунды да ещё и на «противозенитном манёвре», как Борис Фёдорович говаривал... Без выстрела, в густых уже сумерках побрёл Илья Николаевич к скирде. При свете фонарика обследовал подветренную сторону. Разулся и полуразделся в соломенной норе, сработанной предыдущим постояльцем. После обжигающего чая с бутербродами, Илья Николаевич не то что утrelся – распарился, как на печи. Тут бы и впасть в сон-ураган, как на флоте говорят, но возня полёвок, все эти писки и шорохи... И ещё – дурацкая «сухая простынка» болтливого таксиста вертелась в голове... Всю долгую ночь продремал Илья Николаевич и только под утро заснул вдруг, и тут же, как показалось, и проснулся, но – у скирды стоял уже день. Илья Николаевич глянул на часы: «тут же» – это не менее трёх часов спокойного сна *с устатку*. Всмотрелся Илья Николаевич в циферблатик и чуть было не расстроился: проспал, конечно же, проспал утреннюю зорьку... Но «на улице» и не думало распогодиться, смешно было бы возвращаться в полузатопленную ямку, ещё и «в свинячий голос», – снова вспомнил Илья Николаевич говорливого приятеля своего Бодю.

С часик поленился Илья Николаевич, нашёл в рюкзаке «мыло-пасту», воду в немецкой фляге, с удовольствием умылся. Надёргал охапку сухой соломы, отошёл чуть от скирды, запалил огонь, пристроил банку скумбри в «собственном соку». И через две минуты – завтрак на свежем воздухе. Рыба, пара бутербродов, ещё горячий чай из китайского термоса. Пожевал Илья Николаевич яблочко «голден» – глянул на хронометр: протереть ружьё, смазать и – топать к дневному самолёту. Рюкзак малость усох, но ведь



двенадцать километров топать. С километр – по распадку нераспаханному, а там, километров с десять – до Тузлов. Терапевтическая прогулка, как в городе бег трусцой...

Впереди, на шоссе, замаячила телега. Илья Николаевич прибавил шагу, но тут же сообразил, что явно не успевает, а кричать как-то неудобно... Телега прошла уже траверс и вдруг остановилась. Илья Николаевич буквально поскакал, скоро сбился на частый шаг на полусогнутых и с удивлением поглядывал на телегу: двое на сидении даже не смотрели в его сторону, сидели себе и лениво беседовали.

– Мне к самолёту, в Тузлы! – прокричал Илья Николаевич, преодолевая последние метры.

– Подвыньтэ ягня й сидайтэ, – повернулся левый на сидении дядька, с кнутиком и при вожжах. «Первый пилот», – улыбнулся про себя Илья Николаевич.

Аккуратный фургончик, запряженный парой, изрядно загружен мешками, поверх – клеёнка. Сзади – молодая овечка, связанная по ногам и рукам. Ружьё, рюкзак, овцу чуть потеснить – быстро устроился Илья Николаевич, и раз десять «вот уж спасибо, ребята, так спасибо» сказать успел. Поехали.

На ладном сидении – дядька при вожжах, это тот, что с кнутиком, справа – скучный спутник его. Сидят уютно – сидение со спинкой и, с подлокотниками по краям; зимние шапки, фуфайки, сапоги, на дождь никакого внимания, – Илья Николаевич даже передумал плёнку вытаскивать. Подъехали к степной автобусной остановке.

– Завернём в Босогляновку, коней токо напоить, – чуть повернул голову возница...

Фургон съехал с гравийного шоссе на асфальт подъездной дороги. Скоро в низине открылось большое село об одной улице. Тоже асфальт, по обе стороны – крашенный белилами, аккуратный штакетник. Илья Николаевич подивился, и асфальтам, и штакетнику, и добротным домам под шифером.

– Шевченко! – объяснили с сидения. – Асхвалът? А детсад, а артизанка – вода в каждой хате!? А кахве – в жнива, или в оранку с рессорника в полях людей горячим кормят! И днём и ночью! Всё Шевченко! – нахваливали с «облучка» прэдэдателя. Называли его справным дядькой, подчеркивали, что «з любим выпше».

Фургон стал у двора. Дядьки спешили, зашли в дом и скоро вышли, с ведром воды и с графином красного вина, стакан на длинном горлышке. Левый стал поить лошадей, а правый – Илью Николаевича... Выпил сам, поднёс возчику, снова Илье Николаевичу, подал яблоко из кармана фуфайки. На третьем стакане Илья Николаевич стал отнекиваться, но дядьки только заудивлялись:

– Это у вас так охотники пьют? Мы ж в хате выпили, – стыдили городского и выложили последний довод: вино, мол, – кровь, как Пилипенко говорит.

Вино было славное, графин опустел, а у Ильи Николаевича даже полегчало на сердце...

– А то! Так и Николай Терентьевич говорит!..

– Что это у вас за винные авторитеты? – поинтересовался Илья Николаевич. – Пилипенко, Николай Терентьевич?

– Пилипенко Николай Терентьевич – директор нашей школы, в Базарянке, – разъяснил дядька с кнутиком. – Коло выпивки – главный у нас.

– Что, тоже с любим выпьет?

– С любим и обязательно! Без любого – тоже! – рубил рукою первый пилот. – Это ж вся его работа. А Шевченко тут вкалуе за трёх дурных!..

– А Пилипенко наш – ни за холодну воду! – пускается в уточнения молчаливый. – Ни вдома, ни в школи... Перва работа у него – поснедать. Графин вина на столе и – мясо, закуска у Пилипенки – однэ мясо, чтоб в животе всегда место для вина было. Пару стаканов выпил – жинка меняет графин на полный. Ещё стакан или сколько там и в школу. В обед – опять вино, только норма побольше и – борщ-мясо, мясо-борщ. Ужин у Пилипенки уже без нормы, и сразу – отбой, отдых перед новым рабочим днём...

Молчаливый выговорился, но temu подхватывает возчик:

– Нет, в субботу и воскресенье – о то ему та ещё работа!

Оказывается, у директора в выходные объезд родителей нерадивых школьников. В хату зашёл, два слова и – «к столу, Николай Терентьевич, на полчаса». И – дальше по селу: целый же список шкодников, кто не там курил, свистел, где нельзя. – Заморился – домой на пару часов, отдохнул – дальше по дворам со списком, кто свистел. Трудное расписание, полведра в день вина одного. А то и больше; больше! Долго не протянет, но лет так с десять уже тянет, день у день...

– А в списке замусоленном он птички ставит, где был! – возвращается в беседу молчаливый. – Что б два раза не заехать в один двор. Я сам видал!...

Тару относят на скамейку у калитки, кричат Ване, чтоб забрал, и что мы поехали. Поехали. Едут молча,

только короткие комментарии раздаются. Вон, мол, артизанка, башню на двадцатиметровую поменял, вон кафе, а то, рядом, что стол с навесом – летний зал, просто на дворе, официантки в белых хусточках бегают.

– Что не стреляли, бывает? – интересуется левый, и Илья Николаевич вспоминает вчерашнего таксиста.

– Я, знаете, этой осенью во второй раз всего и оба неудачно, – заоправдывался Илья Николаевич. – Две недели назад в ветер попал и клялся не ехать больше. А тут – прогнозы, полнолуние, всю неделю тепло, тишина. А вчера утром вышел и вернуться хотел, но вот видите, понесла нелёгкая. Вот уж действительно – за дурною головою... Что-то и не упомяну такого, над лиманом гнилью пахнет, – плакался Илья Николаевич.

– Да, дожда через край, – охотно согласился возчик. – Виноград кругом повыгнивал. Две недели лило, как вот это было резать.

– Но у Ивана мы пили вино этого года? – заулыбался Илья Николаевич.

– У Ивана! У Шевченки скажите! Это у соседей – дождь-туман, психия, говорят. А Шевченко снял всё до гронки, свёз на виноделку, сдавил-сбродил и по центнеру вина по хатам развозит. У Шевченки нэмае туману! – дядьки нахваливали председателя без устали.

Но замаячили Тузлы, на отшибе – аэродромный дом...

– А думаете в таку-о погоду сядет? – бодро спросил возчик про самолёт.

У Ильи Николаевича засосало под ложечкой, но он сослался на «вчера».

– Вчера! – возразил молчаливый. – А сутки ж сыпэ.

– Ну, так – на перекладных до Шабо как-нибудь, – бодрился Илья Николаевич. – Или ночным татарбунарским.

– Автобузом? Не придёт! – обрадовался возчик. – Дорогу за Лиманчиком развезло, мы фургоном еле проехали. ПАЗик тот там точно загрузнет!

За такими весёлыми разговорами Илья Николаевич сошёл с фургона. Впрягся в рюкзак, похлопал по тёплому боку овечку и зашагал к аэродрому. «Спасибо за вино, – повернулся Илья Николаевич к фурго-ну. – Це ж кров!» – добавил он с улыбкой.

Возница махнул кнутиком, и Илья Николаевич пошёл уже ходом к дому на краю аэродрома, у дороги из Тузлов на Жёлтый Яр. Три стороны ещё зелёного лётного поля обрамлены кормовыми бурьями, – как противотанковые надолбы из земли торчат, по футу, на выпуклый морской глаз. Добротный дом аэродромный несёт на трубе штырьевую антенну. На длинном шесте с оттяжками – конус полосатый; отяжелел, по всему, – слабо реагирует на дурацкий ветер.

Над входной дверью – козырёк, под козырьком, на крылечке – Коля Дружковский в форменной фу-ражке, и у Ильи Николаевича заблестели глаза:

– Рождённый ползат приветствует представителя аэрофлота! – радостно кричит Илья Николаевич. – Что, уже ждётся?

– Да нет, утренний не садился. На Татарбунары хоть прошёл на бронещем, а в Одессу стороной про-летел. Сторожу вон с самого утра, – кивает Коля на мотоцикл с коляской у дальнего угла дома.

– А я на радостях и не заметил... Что, премировали за верную службу крылатому транспорту? – пы-тается скрыть тревогу Илья Николаевич.

– Дождётся у них... Ночью один артист отдохнуть приехал. Под кожаным пальто уютно проспал до восьми. Колёса грязью забиты – за трактором пошёл четыре часа назад... И не покинешь: раскуроч-чат, – не считаешься... А вы чего ночным не уехали?

– Да разоспался в скирде под Дивизией, не смог заставить себя среди ночи в дождь выползти, идти в темноте, без дороги. А что это за мотоцикл?

– Та, «Урал» Пилипенки. Прихожу в восемь часов, а он спит в коляске под шляпой и пальто кожаным.

– Я, Коля, сегодня уже слышал эту фамилию, на фургоне из Лиманчика...

– С Базарянки он, директор школы. Перебрал вчера на свадьбах и поехал в поля отдохнуть. Это как же надо было набраться, чтоб с Базарянки, через дамбу на аэродром занесло... – У Коли «нет слов для выражения», он помогает себе руками. – И как же вообще это, колёса ж не крутятся, забило землёй и за-клинило колёса! Понимаете? – Коля простирает руки к мотоциклу. – Идёмте посмотрим...

Посмотрели, и Илья Николаевич сказал только «да-с».

– Коля, так что, второго не будет железно?

– Та, Николаевич, гляньте на лужи! – простёр Коля руки. – И ещё ж сыпит, как заведенный.

– А автобус был ночью, не знаешь? – ныл Илья Николаевич.

– Будет вам автобус! – заверил Коля и тут же добавил, что под Лиманчиком раскисло, но ПАЗик про-



рвётся, людям, мол, на Привоз, а кому на работу, и Илья Николаевич снова подумал «да-с».

Расспросил Илья Николаевич о порядках в гостинице, узнал, что полуночлег обойдётся ему не больше рубля и что прямо с гостиничного двора видно будет садится ли самолёт на Татарбунары... В гостинице, однако ж, Илье Николаевичу объяснили, что поселений уже второй день нету, что, наоборот, из гостиницы всех выселяют, что осталось два человека до утра и что всё дело в слёте учителей района. Тут Илья Николаевич стал объяснять, что ему сегодня, в час ночи на автобус в Базарянку идти.

– У меня же завтра, в понедельник, в восемь утра, рабочий день на судоремонтном заводе начинается, – объяснял Илья Николаевич и даже нервничал малость. – Завтра, в восемь ноль-ноль! Понимаете?

Но дежурная понимала своё. Ещё раз рассказала о слёте, что начнётся слёт этот во вторник, но для делегатов слёта уже завтра с утра начнётся поселение. Одним словом, Илья Николаевич должен понять, что люди, в конце концов, со всего района съезжаются! Илья Николаевич стал уставать и попросил аудиенции у директора гостиницы! Оказалось, что никакой гостиницы тут нету, что перед ним – дежурная дома приезжих и что одновременно она здесь уборщица, сестра-хозяйка, бухгалтер и директор! Но дело вовсе и не в директоре: ей не велено пущать самим Пилипенкой...

– Это который на мотоцикле? – вырвалось у Ильи Николаевича.

– Николай Терентьевич не только на мотоцикле, но ещё и член райкома! – строго возразила женщина, и Илья Николаевич с грустью посмотрел в окно.

Деревья вяло размахивали полуобнажёнными ветками, дождь из низкого неба не унимался, а до автобуса было не менее трети суток. И ему ещё у Лиманчика предстоит прорваться... Выполз Илья Николаевич из дома приезжих, глянул на часы: точно, сто часов под открытым небом, под осенним мелким дождиком. Конечно же, дождь надолго, самолёт не прилетит, но на аэродром идти надо... Там, смотришь, шестнадцать часов стукнет, тут уже и сумерки... А то, может, и сядет?

Дверь в «техническое здание аэродрома» с подветренной стороны, и на крылечке под козырьком почти не липает. Илья Николаевич стал устраиваться на единственном сухом квадратном метре в мокром мире. И скоро заметил, что дрёма валит его на рюкзак...

– Самолёт проспите! – услышал Илья Николаевич Колин голос, и тут же зажужжал двигатель АН-2. Самолёт обнаружился под облаками, но быстро разросся до настоящих размеров и вошёл в разворот со снижением. Зашёл против ветра и стал решительно сбрасывать высоту, направляясь прямо на крылечко, – Илья Николаевич даже привстал... В пятидесяти метрах поганый кукурузник выровнялся, качнула крыльями, с рёвом прошёл над самой антенной и резко завалился в боевой разворот в сторону Татарбунар. Вот уж действительно ничего, кроме «да-с» не скажешь...

– Хорошо, что это не ИЛ-2 с двадцатимиллиметровыми пушками! – прокричал Илья Николаевич. – Ничего себе шуточки.

– Я говорил с Заставой, просил, чтоб осмотрели лётное поле, – объяснил Коля штурмовку и пошёл в дом. Скоро Илья Николаевич услышал «тюльпан, я нарцисс», и Коля закрыл дверь радиорубки. Через минуту он вышел на крыльцо.

– Пустой номер, Илья Николаевич, идите спать в гостиницу!

– Я уже выспался, Коля, – грустно ответил Илья Николаевич и стал пересказывать в лицах разговор в «готеле». – Ты не мог бы поговорить с командиркой гостиничной или просто с Пилипенко? Мотоцикла же будет забирать, а Николай?

Но Коля сказал, что в гостинице говорить не с кем, что к директору школы он давно не вхож, а из-за мотоцикла только что разругался с ним до матюков.

– Трактор он нашёл, но пока в кафе перекусывает, – злился Коля. – Я ему не сторож тут, – кивнул Коля на мотоцикл. – Идёмте ко мне, хоть портянки просушите. У нас мама, а в большой комнате мы с Ирой и малым. Но в летней кухне пока теплее, чем в скирде, и не капает, – пойдёмте! У нас же на остановке сломали сидения и навес, в Базарянке придётся дожидаться, а это сколько идти...

– Нет, спасибо, Коля. Прогуляюсь... А то ведь тебе придётся ночью вставать, чтоб меня мимо бульдога провести. Нет, Коля, спасибо, – принял решение Илья Николаевич. – Посижу у вас в кафешке до десяти, а пока дотопаю, уже и к полуночи будет. Нет, спасибо. Привет твоим.

Коля не стал приставать с уговорами, зашёл в дом и скоро вышел с вялым лещиком в руке:

– У нас чешское пиво уже с неделю, держите! – и Коля протянул леща.

– Ну что, Николай, по моему настроению, мы прощаемся до следующей осени, – грустно сказал Илья

Николаевич и стал рюкзак расшнуровывать. – На вот, вашему столу от нашего, – и Илья Николаевич поставил на крыльцо половинку «российской». Увязал рюкзак, впрягся в лямки как следует, не забыл и ружьё и пошёл искать тузинскую харчевню...

Вполне приличный зал заполнен на две трети. Посетители, одни мужики, по всему, давненько сидят, заметно «продвинулись», как Бодя говорит... Илья Николаевич пристроил вещи на стуле, у незанятого столика при входе, расстегнулся. Подошёл к стойке, – на ней действительно красовалась дюралевая бочка с чешским пивом, известным в Одессе уже не один год.

– Это что у вас «пльзень»? – озадачил Илья Николаевич бармена.

– Пыво та й пыво, – был ответ. – Будете или ещё что? А то сидайте? – Галя всё принесёт...

Незамысловатый супчик картофельный, настоящий плов с бараниной, салатик из свежей капусты, – тут действительно можно было отлпчно «просушить портянки». Илья Николаевич достал леща, подозвал Галю, попросил ещё пива. Скоро у Ильи Николаевича вежливо спросили разрешения подсесть. Это был тракторист, которому только пива выпить и – забрать заказчика: мотоцикла надо из болота вытаскать... Тут в зале обнаружился ещё и Коля. Он кивнул Илье Николаевичу и прошёл к столику у окна. Тракторист сказал «о», встал, в три глотка «засосал» пиво и поспешил за Колей. В четыре руки они вытащили из-за стола плотного дядьку с пунцовой головой, напялили на него пунцовое кожаное пальто до пят, нахлобучили шляпу с детский зонтик. Со словами «идёмте, идёмте, тёмно уже» – повели его на улицу. За «выводом тела» Илья Николаевич наблюдал внимательно, так как сообразил, что наконец-то воочию увидел Николая Терентьевича Пилипенко.

Илья Николаевич глянул в окно, с удовольствием убедился, что действительно «тёмно уже», и попросил у Гали ещё кружечку и брынзы малость; леща же своего попросил передать бармену. Заказ оказался с вяеной кефалькой, Галя объяснила, что кефаль от Эдика. Илья Николаевич посмотрел на бармена и обменялся с ним приветственным взмахом руки. Спешить было некуда, Илья Николаевич поменял очки, вытащил из кармана рюкзак «Охотничьи просторы» в хлорвиниловом кулёке и «углубился»... За чтением время полетело. И вот уже зал заметно опустел, – шинкарь стал поторапливать вялых клиентов, напоминая, что скоро понедельник.

Слова о понедельнике, будь он неладен, погрузили Илью Николаевича в меланхолию, он с тихим ужасом думал: «Боже, ведь действительно...» Действительно в автобусе предстояло ехать, ехать стоя, стоя все сто двадцать километров... Илья Николаевич упаковал «Просторы», снова поменял очки, стал впрягаться в отягчённый болотными сапогами рюкзак. Подошёл Эдик и помог Илье Николаевичу разобраться с лялками, напомнил, чтоб ружьё прихватил. На приглашение Эдика заходить ещё Илья Николаевич сказал «спасибо», а подумал «нетушки», и толкнул дверь...

Когда Илья Николаевич добрёл до остановки с широким шиферным навесом, по прикидкам было часов одиннадцать; «или больше» – бодрился Илья Николаевич, но на часы не смотрел. Попытался определить, где ж на длинной скамье посуше, но везде было одинаково сыро. Илья Николаевич бросил рюкзак на скамейку, сел. Спинки не было, пришлось полулечь на рюкзак. Теперь предстояло настраиваться на долготерпение вола в ярме, когда вол этот ждёт у шинка хозяина... Поднял Илья Николаевич воротник куртки, закрыл глаза и погрузился в тупое ожидание; когда – шаги, а ветер нанёс запах вина. Подошёл и сел рядом парень, закурил. Вдруг заметил в полуметре Илью Николаевича, с удивлением стал его рассматривать, вертел головой по сторонам и снова всматривался в непонятного соседа, как бы соображая, откуда бы это ему было взяться. Илья Николаевич стал оправдываться, объяснил, что автобуса ожидает.

– Какой тут вам автобус! – радостно закричал парень. – Мне тоже на Сергеевку, но автобусы ж ночами не ходят!

– Почему, в три часа на Одессу будет! – возразил Илья Николаевич.

– Та что мне ваша Одесса! Сергеевка вон где! – показал парень. – Я со свадьбы. Добрэ шо втик, а то побылы б... Вон, поют, – кивнул парень. – Это мои как раз. Дурак,

– А как это петь в дождь? – спросил Илья Николаевич.

– Так навесы ж в дворах, свадьбы всегда в дождь, а петь надо...

Послышался мотоцикл, и мимо проехал уже старый знакомый Ильи Николаевича.

– О! – показал на Пилипенко парень. – Объезжает, пьяница. Это за него мне чуть не влетело. Директор ещё... Все молчат, а я, дурак, открыл-таки рот, как он заявился... Автобус только в восемь, сиди тут теперь. Дурак...



На магистральной полутёмной улице Базарянки пустынно, но постоянно долетают нестройные песни нескольких застолий. Погода веселью способствовала мало, но село явно бодрствовало. Сосед резко встал, вышел из-под навеса на свет фонаря, глянул на часы и быстро пошёл прочь, как человек, решившийся на поступок. «Вот тебе и *втик*, – подумал Илья Николаевич, сообразив, что ночной посетитель пошёл в ту сторону, откуда еле убежал. Провожая взглядом парня, Илья Николаевич вздрогнул и повернулся на звук шагов за спиной. В стандартных одеждах – ушанка, фуфайка и сапоги – подошёл и поздоровался местный.

– Вы, звянясь, на автобус тут? – спросил он вежливо. – А больше никого пока не было?

Илья Николаевич стал добросовестно рассказывать про парня, но как только упомянул Сергеевку, фуфаячник замахал руками:

– Так вы тут на восьмичасовой сидите? – местный посмотрел на часы. – Почти семь часов! Здоровья хватит?

Илья Николаевич сказал, что это парню на восьмичасовой, в Сергеевку, а ему – в Одессу.

– В Одессу уже скоро, – местный снова посмотрел на часы. – Пора за кламаками, – сказал он деловито.

Тут уж Илья Николаевич не выдержал и стал сдвигать рукав с часов. Рассмотреть стрелки не получилось, предстояло решить, что проще: встать и выйти на свет или поменять очки. Илья Николаевич нашёл третий вариант, надвинул козырёк, поднял воротничкишко и навалился на рюкзак... Заснул – не заснул, но мотоцикл слышал и поднял голову. Николай Терентьевич не проехал, но – продефилировал мимо! Медленно, на первой передаче, но главное – стоя во весь рост, вертикально. Горделивая посадка головы под шляпой, мощные прямые руки легко, надёжно лежат на рукоятках... Как на параде, как Жуков на параде... Скоро шум двигателя стих, но заснуть не получалось, Илья Николаевич смотрел во след мотоциклу и думал, что среди его охотничьих баек появится рассказ, после которого легко угодить в Мюнхаузену. Скоро сутки как появился ещё один довод в пользу мнения, что жизнь невероятнее художественного вымысла. Ну, на кой ляд ехать на мотоцикле стоя!.. Ну, скажите, на кой?

– Живые? – уже знакомый местный опять подошёл неслышанным, а Илья Николаевич снова вздрогнул.

– Послушайте! – набросился он на попутчика. – Только что тут Пилипенко проехал, вы знаете его?

– А то!

– Он ехал... Мне со сна, показалось, что он ехал – стоя!

– Ничего не показалось! – решительно возразил местный. – То уже Николай Терентьевич перепил. Свадьбы объезжает, слышите – поют!

– Вы сказали *перепил*... Так что – вставать? – Илье Николаевичу требовались уточнения.

– А не помещается, – охотно объяснял местный. – Кендюх на баке лежит, и вино ему – горлянкой назад идёт. Полный живот уже, и назад идёт!

– Ну вы ребята даёте, так уже прямо и идёт!... – засомневался Илья Николаевич, хотя и вспомнил винный запах от «Урала», утром ещё.

– А то не, весь бак утром красный! – упорствовал местный.

– Так сколько ж это нужно выпить!

– С ведро, как не больше, – с готовностью ответил местный. – Но вот это, как встал, – всё, считайте. В коляску теперь боком упадёт, прямо на ходу, и спит. Мотоциклом упрётся в забор или в столба какого и – до утра, если сын не найдёт.

– Да, – согласился Илья Николаевич. – Он сегодня, вчера, то есть, на аэродроме ночевал.

– Во-во! Где заглох, там и кровать! Той ночью сын его моего Игоря попросил нашим мотоциклом поискать. Они всё село объехали, переехали до Тузлов, – нигде! Кто б это додумался, что он на аэродроме...

– А чего ему тут вообще ночью шастать?

– Свадьбы объезжает, – сказал местный. – У нас, как работы в полях кончаем, – свадьбы по селу. Сейчас погода не первый день уже, а вон слышите, поют? А этот подъедет и кричит хозяина. Кто выйдет – он ему за дисциплину, за отметки. Тут сразу – та какие там отметки, Николай Терентьевич! И – за стол, и пошло дело. Посидит с полчаса, вина с графин выпьет, сверху кило мяса и – дальше, за дисциплину ругаться...

– Ничего себе, – Илья Николаевич не знал, что и сказать. – Он что, действительно в школе вашей работает?

– Работает, а что...

– Но вы же знаете его, как же он в школе работает... – мялся Илья Николаевич.

– Как? Нормально! И в райкоме нормально! А дурный... головою коня вбьёт!

– Что-то я смотрю Пилипенко этот, всем тут – сала за шкуру залил, – Илья Николаевич даже головою покачал. – Коня кувалдой не убить! Ну, разве какую-нибудь клячу послевоенную.

– Люди сами видели! Бригадир полевой бригады, Липниченко, Юра, – это все ж тут знают! Ехал он бричкой, а мотоцикл стоял посеред дороги. Бричка вдарила как-то по подножке, и руля скрутило ему. Ну, бригадир извиняться, а тот в крик, а бригадир, что ж вы на дороге поставили, а этот, не твоё, мол, дело... Как я теперь не поеду, так и ты, говорит, не поедешь! И токо гах – у висок, говорят, и коняка на колена упала в хомуте, и всё...

– Как это «гах», как это всё, не кувалдой же! – Илья Николаевичу требовалась ясность, для уточнения и разоблачения.

– Что это у вас – кувалда та кувалда, – обиделся местный. – Головою, все говорят! Лобом!

– Ладно, ладно, пусть будет лобом. – Илья Николаевич как-то даже ступешался, обвиняя незнакомого человека в дикой лжи, и переменял тему. – В автобус поместимся?

– Влезем! И сами, и клумаки, и с козую, у кого бывает...

Наконец, пошли люди. Скамейка стала заполняться, и Илья Николаевич повеселел. Взял рюкзак на колени, ружьё сверху, с обеих сторон подсели – стало уютно. Илья Николаевич склонился на рюкзак и стал подрёмывать под тихий говор. Иногда пробуждался от восклицания: «О, и ты в Одессу...» – и снова засыпал.

Шум автобуса вырвал Илью Николаевича уже из настоящего сна. ПАЗик пришёл изрядно загруженным, показалось, что народу слишком уж много. Но минуту посуетились и втиснулись. Илья Николаевич бегал пару раз от двери к двери, пока здоровый парень не сказал ему сквозь зубы: «Та заходите ж вы вже... Охотничек...». Он сдёрнул с плеча Ильи Николаевича рюкзак «этот ещё дурацкий»; вдвинул охотничка в дверь, следом рюкзак и ещё кого-то вдвинул, крикнул водителю «давай». Дверь зашпиела, закрылась со скрипом. Поехали.

Дворники ПАЗика суетились постоянно, как и у таксиста в субботу, но в несуетливой тесноте автобуса было тепло, сухо, ветер не дул, значит – комфортно, и, сдавленный со всех сторон, Илья Николаевич дремал стоя, как когда-то дневальным по роте, в мореходке. Уж если кидает в сон, а соседи удерживают в вертикальном положении, то и вздремнуть можно. Правда, засыпая глубоко, Илья Николаевич рушился вниз, и соседка со стороны спины говорила «та держитесь вы, дядько»... Ещё перед Шабо под Ильёй Николаевичем заёрзал сидящий и скоро встал и полез к двери. Илья Николаевич оглянулся на соседку сзади, но молодая женщина сказала раздраженно «та сидайтэ вы вже», и уже через минуту Илья Николаевич погрузился в сон младенца. А когда в Роксолянах вышел сосед от окна, спать стало комфортно, как под сухой простынькой...

Вдруг рядом прозвучало певучее «не, я до Привоза», Илья Николаевич встрепенулся и с удивлением увидел рядом с собою бывшую соседку за спиною. «Не проедете?» – спросила она с улыбкой.

– Нет, я до конца.

– О то добрэ, а то з вашим клумаком, – обрадовалась соседка, кивая на рюкзак, а Илья Николаевич попросил её напомнить, чтоб он ружьё не забыл.

– Вы что с охоты?

– Да! – весело ответил Илья Николаевич. – Мышей под Дивизией стрелял.

– О то! Ногам горэ!

– Да уж, – миролюбиво согласился Илья Николаевич. – За дурною головою, – добавил он, чтоб соседка не думала, что он по-украински не кумекает. – Я уже слышал эту поговорку, от попутчиков, с Босогляновки. Очень хвалили председателя.

– Наш дядька! Я у него звеньевою. Хозяин! Вино вот только полюбае, загубит себя...

– Ну, он же по делу, не то что Пилипенко из Базарянки.

– То лэдацо. А дурной – коня головою убил! – снова услышал Илья Николаевич.

– О, Господи! И в Босогляновке эта байка!

– Так тут все знают. Я и в Татарбунарах чула. Скандал на весь район был: жеребную кобылу убил, дурень.

– Знаете, – грустно сказал Илья Николаевич, – я по судоремонту часто с моряками общаюсь, но и они меня с этой историей в брехуны запишут.

– Кто брехуны? – обиделась соседка. – Хай в в Базарянку приедут. Там каждый скажет: головою!..

Вполне рассвело, куртка – вполне высохла. Дворники замерли, ПАЗик шёл уже без света. На улицах ни зонтов, ни луж. Илья Николаевич выспался, не чувствовал особой усталости и вдруг подумал, что поездка всё-таки удалась; глянул на часы – и на работу успеется! Вот только история директора школы вертелась





---

в голове и по-всякому выглядела фантастической: пусть какой дурак, но головою коня убить? Прошу покорно, дорогие товарищи... Хотя, ведро вина с килограммом мяса тоже не всякому по плечу. Переход мысли от желудка к плечу представился Илье Николаевичу каламбуром, и он подумал, что скептикам придётся призадуматься: ведь стоячего мотоциклиста он не выдумал... Посмотрел Илья Николаевич на бригадишу из Босогляновки, улыбнулся и сказал, качая головой: «Ну и ну»...

# ГЕННАДИЙ ДМИТРИЕВ

## КРЫСОЛОВ рассказ

*Они крадут и продают с пользой, удивительной для честного труженика, и обманывают блеском своих одежд и мягкостью речи. Они убивают и жгут, мошенничают и подстерегают; окружаясь роскошью, едят и пьют довольно и имеют все в изобилии.*

А. Грин

Сознание медленно возвращалось, и когда я снова открыл глаза, передо мной была непроглядная темнота, только звуки просачивались сквозь неё. Журчала вода за бортом, слышались мерные удары волн по обшивке, – судно шло, то поднимаясь, то снова опускаясь на крутой волне. Выл ветер в снастях, что-то скрипело, звенело в такт размаха судна – обычные звуки, с которыми я уже свыкся за время плавания. Попробовал пошевелиться, но верёвка впилась в тело – меня связали и бросили в трюм.

С ужасом вспоминал я подробности прошедшего дня: нас атаковала пиратская бригантина, команда, во главе с капитаном, сопротивлялась отчаянно, но пираты значительно превосходили нас числом, и вскоре всё было кончено. В живых не оставили никого, раненых матросов и пассажиров пираты заперли в трюме нашего корабля, а когда пиратская бригантина отошла на некоторое расстояние, в сторону нашего корабля полетели зажигательные ядра, брандскугели. Они разрывались на палубе, поджигая всё, что могло гореть. Корабль пылал, а с ним горели и люди, запертые в трюме; когда кому-то из них удавалось выбраться на горящую палубу, пираты стреляли в него, не давая добраться до борта. При этом старались не убить, а ранить, чтобы те, кто искал спасение в воде, находили свою смерть в огне.

Пираты смеялись, наблюдая за тем, как мечутся люди по палубе горящего судна, как вспыхивает на них одежда, и они, катаясь по дымящимся доскам, пытаются сбить пламя; тех, кто пытался броситься за борт, настигали пули. Так они все и сгорели, сгорели живо под свист пуль и смех своих палачей.

Только меня оставили они на своей бригантине, не знаю, почему они не сожгли меня вместе со всеми, я смотрел, как гибнут те, с кем свыкся за время плавания. Среди них был юнга, совсем ещё мальчик, он любил слушать, когда я играл на флейте, душа его была чиста и безгрешна, но пираты не пощадили и его.

Слёзы текли по моим щекам, до боли в пальцах сжимал я флейту, а пираты, смеялись, плясали, и кричали мне, чтобы я играл, чтобы мои товарищи умирали с музыкой. Я ответил им, что все они будут гореть в аду, что придёт время, и они ответят за всё, и тогда я сыграю им такую музыку, от которой у них кровь застынет в жилах. Они связали меня и бросили в трюм, падая, я ударился о что-то головой и потерял сознание.

Почему они не убили меня? Я не матрос, не воин, не купец, я не держал в руках оружия, у меня нет ни золота, ни серебра, только флейта – это всё, что у меня есть. Я плыл в Новый Свет, чтобы услышать звуки первозданной природы, природы девственной, не тронутой развратом Старого Света. Я плыл за музыкой, которую пронизанная пошлостью, погрязшая в грехах Европа уже никогда не сможет родить.

Это неправда, будто композитор сочиняет музыку, человек ничего не может сочинить, музыку рождает природа: неистовый шум водопада, тихое журчание ручья, шепот листвы, завывание ветра, шум дождя – душа музыканта, переболев этими звуками, выстрадав их, разрешается пением флейты, говором клавесина, плачем скрипки, громом литавр.

Я впитывал эти звуки первозданной природы, я жил ими, я пил их, как жадно пьёт воду из ручья уставший, измученный жаждою путник, я страдал ими, и флейта моя рождала новую, таинственную мелодию, которую никто никогда не слышал там, в Старом Свете. Но, видимо, никому уже не суждено услышать



музыку, рождённую моей измученной душой. Меня продадут в рабство в каком-нибудь пиратском порту, и музыка моя умрёт вместе со мной, так и не успев родиться.

Глаза постепенно привыкли к темноте, и я разглядел в квадрате открытого люка, прямо над головой, тёмное ночное небо – ни звёзд, ни луны, только тьма, пронизанная ветром. Внимание моё привлёк какой-то новый, незнакомый звук – странные шорохи, возня, попискивание. Я с ужасом понял – это крысы, те самые корабельные крысы, живущие в трюмах. Слышал, как полчища голодных крыс набрасывались на людей и съедали их живьём. Стало жутко и холодно. Если они нападут на меня, я не смогу даже пошевелиться.

Ночь была на исходе, неясные очертания внутренностей корабля стали едва различимы, и там, в углу, шевелилась серая, жуткая, бесформенная масса живых существ. Я замер в ожидании развязки. Время шло, но крысам не было до меня никакого дела, они были заняты чем-то более важным, чем моё грязное, пропахшее потом и затхлой водой трюма, истерзанное тело.

Крысы издавали какие-то неясные звуки, и казалось, они разговаривают между собой на человеческом языке, смеются над теми, кто живьём сгорел на ограбленном корабле, и надо мной, тем, кого приготовили им на ужин те, кто наверху. Мне показалось, что те, кто наверху, такие же крысы, как и те, что внизу, в трюме. Нет, они не люди, нет, разве люди могут так поступать? Разве люди могут жечь других людей? Разве могут люди смеяться, видя, как умирают в огне такие же, как и они, из плоти и крови, те, кто не чинил им зла, кого ограбили и сожгли, чья вина состоит только в том, что и они хотели жить?

Когда совсем рассвело, одна из крыс заметила меня, она осторожно подошла, потягивая воздух длинным усатым носом, взобралась мне на грудь, и внимательно смотрела на меня чёрными с красноватым отблеском глазами. Подбираясь ближе к моему лицу, она наткнулась на верёвку, которой меня связали, и стала обнюхивать её.

– Перегрызи верёвку, ну, что тебе стоит? – тихо попросил я.

Крыса подняла мордочку, определяя, откуда исходит звук, и, как будто вняв моей просьбе, стала грызть верёвку – видимо, засаленная, грязная верёвка пахла чем-то съестным. Когда крыса завершила свою работу, я пошевелился, освобождаясь от пут, и она испуганно отскочила в сторону, продолжая наблюдать за мной. Я осмотрелся, флейта моя лежала рядом, они бросили её в трюм вслед за мной.

Я открыл футляр, достал флейту и прикоснулся губами к мундштуку. Сердце радостно затрепетало. Но что толку от того, что флейта моя со мной? Меня разлучат с ней, как только мы придём в порт, если, конечно, эти мерзкие твари не сожрут меня раньше. Что я могу сделать один против целого полчища крыс? Всё моё оружие – только флейта, я не воин, не крысолов, я только флейтист. Крысолов. Флейта. Что-то знакомое шевельнулось в памяти, крысолов, вооруженный флейтой, победил целое полчище крыс. Но это легенда, всего лишь легенда.

В давние времена город Гамельн наводнили крысы, откуда они пришли, зачем, – никто не знал; крысы уничтожили все съестные запасы, нападали на людей, и люди никак не могли истребить их. Тогда бургомистр заявил: если найдётся тот, кто избавит город от крыс, он даст ему столько золота, сколько тот сможет унести. Время шло, и, несмотря на обещанную награду, никто не мог противостоять полчищам крыс. И вот, однажды, в город пришёл музыкант, играя на флейте, он увлёк за собой стаю крыс, заполонивших город, и утопил в реке Везер, но когда городские власти отказались выплатить награду музыканту, он чарами волшебной музыки увёл за собой детей на гору, где они и пропали.

Но куда я могу увести крыс, когда я сам пленник? Мне не выбраться отсюда уже никогда. Когда корабль тонет, крысы покидают его. Но корабль уверенно шёл по крутой волне, об этом говорили привычные звуки, а тонущее судно рождает иные звуки, я мог себе представить их, я знал, какие звуки рождает разбитый волнами корабль. Я обещал вам музыку, от которой у вас застынет кровь в жилах, слушайте, вот она! Слушайте, слушайте крысы, те, что внизу, и те, которые наверху!

Я понёс флейту к губам. Грохот волн, треск ломающихся шпангоутов, рёв воды, врывающейся в трюмы – эти страшные звуки рождала флейта, торжественная мелодия гибели наполнила трюм корабля; крыса, освободившая меня от пут, в ужасе рванулась наверх, за ней ринулись остальные.

Пираты, увидев, как крысы покидают корабль, пришли в ужас. Они кричали, метались по палубе, лихорадочно спускали шлюпки. Вскоре наступила тишина. Выбравшись из трюма, я понял, что остался один. Пираты оставили корабль, уйдя на шлюпках вслед за крысами в океан. Я был свободен, но я не моряк, я только флейтист, и если я имену власть над теми, кто слышит музыку, то я совершенно не умею управлять кораблём, я не знаю, куда он плывёт, что нужно делать с рулём и парусами, чтобы корабль плыл в нужном мне направлении.

Я свободен, но я не знаю, что несёт мне эта свобода – гибель или спасение.

# ЛЕОНИД ЛАТЫНИН

---

## КЛАВИШ БЕРЕЖНЫЙ РАЗБЕГ

\*\*\*

Глухота не порок. Метафизика спит.  
На стене не ружье, а короткие тени,  
И у каждой детали изменчивый вид,  
Словно это лекарство от смерти и лени.  
Что мне делать, скажи, с этим призраком дат,  
С невниманием воли и памятью тела,  
Я столетия спустя тот же жалкий солдат  
Не земного, увы, и ненужного дела.  
И война впереди, и война позади,  
А в душе только смута и робкая трата  
Этой медной печали в чугунной груди  
Не убитого жизнью солдата.

\*\*\*

Где-то помнят Трояна и Сима,  
Где-то плачут о бедной Марине,  
На развалинах древнего Рима  
Или в нынешней древней Мессине.

Почему же мы так безымянны,  
Безголосы, неслышимы стали,  
Погорят и погаснут экраны,  
Как погасли кресты и медали.

Почему же, законы наруша,  
Мы стремимся подпольно в претечи,  
Ведь забыли и небо, и суша  
Даже божьи заветы и речи.

Ведь забыли и люди, и страны  
Всё, что с нами и случилось, и было,  
Лишь в надежде они неустанны,  
Чтобы солнце вверху не остыло,

Что подвешено кем-то, когда-то,  
Чтоб светить и лжецу, и пророку,  
И гниющему в поле солдату,  
Равно – западу или востоку.



Равно – северу, миру и югу,  
Равно – быющему, равно – распяту,  
И кружиться по точному кругу  
И летящему, и не крылату.

Где мне место в великой картине  
Безмянного мрака и света,  
В этой нынешней древней Мессине,  
Что для памяти мера и мета.

Что я, боже, для белого снега,  
Для истории гибельной скачки,  
Что мне, боже, звезда твоя Вега,  
Что я Веге – холодной горячке.

Да, конечно, я связан рождением  
С этим снегом и тем небосводом  
Так же явно, как связан движеньем  
Со своим терпеливым народом.

Ну, а значит – и с этим Трояном,  
Начинавшим с груди и удара,  
И с газетой и белым экраном  
Безмянного в космосе шара.

\*\*\*

Испуганно и осторожно  
Коснуться глухой струны.  
Мне жаль, что опять тревожно  
В пределах чужой войны.  
На паперти нищий в хоре  
Бормочет глухой напев.  
Европа сползает в море,  
Долги отдать не успев.  
Глаза – то печаль, то жало.  
Вера – то сталь, то воск.  
Зачем-то земля рожала  
То, что увидел Босх.  
Солнце к закату ближе.  
Звезды тонут в пруду.  
Что я делал в Париже  
В том сумасшедшем году?  
Две с половиной встречи.  
И вдребезги вся судьба.  
Снег покрывает плечи  
И бронзовый лоб раба.

\*\*\*

В словах моих так мало гласных,  
А несогласных – пруд пруди,  
Как лет тревожных и напрасных,  
Что стали прошлым впереди.



Столы железные и стулья  
 В саду торжественно пусты,  
 И шляпы кожаная туля  
 Собой украсила кусты.  
 А я сижу в саду пирую,  
 Налью и выпью до конца.  
 За первой рюмкою вторую  
 Во имя Сына и Отца.  
 Чего тебе, моя зазноба?  
 Дай отдохнуть от ратных дел.  
 Мы как-нибудь исполним оба  
 Нам предназначенный удел,  
 А я хочу ещё немного –  
 Вина и бешеной тоски –  
 Вне воли, истины и Бога,  
 И жизни грешной вопреки.

\*\*\*

А день помедлил и погас,  
 И свет растаял понемногу.  
 И часть – необратимо – нас  
 Перетекла печально к Богу.  
 А в небе дальнем облака  
 Во тьме прозрачной голубели,  
 И клином по небу века,  
 Как гуси-лебеди, летели.  
 Ночник светился не спеша,  
 Ночная музыка звучала.  
 И задремавшая душа  
 Мних забот не замечала.  
 А где-то плыли поезда,  
 И где-то мчались пароходы,  
 И гасла медленно звезда,  
 Звезда покоя и свободы.  
 И клавиш бережный разбег  
 Мне рисовал черты и лица.  
 И медлила из-под закрытых век  
 Слеза скатиться...

\*\*\*

*К. П. Чуковскому*

Всё как положено по штату –  
 Белы дома и высоки.  
 Заставы прежнего Арбата –  
 На дне асфальтовой реки.  
 Колёса режут и уютжат  
 Витые лестницы, следы  
 И дом старинный, неуклюжий,  
 Меня хранивший от беды.



Всё хорошо, всё так же минет,  
Снесут и эти этажи  
И сохранившийся донныне  
Обломок пушкинской души...

\*\*\*

Какое мне дело до вашего века,  
До чёрных идей и червонных забот?  
Играет на дудке молитву калека,  
Стирая со лба выступающий пот.  
И вторят игре инвалиды во фраке,  
И дождь барабанит, и плачет дитя,  
А звезды сияют привычно во мраке,  
Оркестру уродов исправно светя.  
И мне среди них уготовано место  
В последнем ряду, у гитарной струны,  
В составе большого чудного оркестра,  
Среди уцелевшей случайно страны.  
Я в такт и усердно бренчу понемногу  
В немые сроки, что отпущены мне.  
И звуки лицом запрокинуты к Богу,  
Пол-яви – в бреду и пол-яви – во сне.

\*\*\*

Она кругами ходит, слава,  
Она смыкается с бедой,  
Она проклятие и право  
Быть до конца самим собой.  
Она не спросит, где истоки, –  
Запишет сразу в мудрецы  
И раньше зрелости – в пророки,  
И раньше смерти – в мертвецы.

# АЛЕКСАНДР ТИМОФЕЕВСКИЙ

---

## МЫ ЗАИГРАЛИСЬ В СТАРИКОВ

### ПРИМЕТА ВРЕМЕНИ – МОЛЧАНЬЕ

Примета времени – молчанье  
Глубоких рек, земли мельканье,  
Ночей крошечных пустота  
И дел сердечных простота.  
Как обесценены слова,  
Когда-то громкие звучанья  
Не выдержали развенчанья.  
Примета времени – молчанье.  
Примета времени – молчанье,  
Предпраздничная кутерьма,  
Ноябрьский ветер, злой и хлесткий,  
Бесчинствует на перекрёстке,  
Стоят, с тоски оцепенев,  
И не мигают светофоры,  
По главным улицам страны  
Проходят бронетранспортёры,  
Проходят танки по Москве,  
И только стёкол дребезжанье,  
Прохожий ёжится в тоске.  
Примета времени – молчанье.  
Мысль бьётся рыбою об лёд  
И впрямь, и вкось, в обход, в облёт.  
И что ж? Живой воды журчанье  
Сковало льдом повсюду, сплошь.  
Мысль изречённая есть ложь.  
Примета времени – молчанье.

\*\*\*

Осталось так немного моря нам в море синем,  
Совсем немного неба – в небе, в степи – полыни,  
Осталось нам немного снега зимою белой,  
А осенью опавших листьев и хвои прелой.  
А в знойный день – шмелей гудящих на той поляне,  
А ночью – звёздочек блестящих в ночном тумане.  
Мы так немного успели сделать, совсем немного,  
А между парт учитель ходит и смотрит строго.  
Вот-вот раздастся звонок знакомый, такой далёкий.  
Учитель скажет, – сдавать работы, конец урока.





\*\*\*

*В. Агеносову*

*Гль мне в лоб шлагбаум влепит  
Неповоротный инвалид.  
Пушкин*

Опасен стихотворный лепет,  
Не зная точно наперёд,  
Он пищит: или в лоб мне влепит...  
А получил удар в живот.  
Здесь нас скорей не разночтенье,  
А откровенье удивит –  
Влепил больной душевной ленью  
И полоумный инвалид.

Вначале было слово, слово...  
Но, музе ветреной служа,  
Я сам, с неловкостью слепого,  
Хожу по острию ножа.  
Сболтнул, – Мне жить осталось с вами... –  
И прикусить спешу язык,  
А вдруг, играючи словами,  
В судьбу нечаянно проник.

\*\*\*

*А. Левитину*

Нас зовут и гонят со двора,  
Мама нам кричит: ребята, ужин!  
Не зови, у нас идёт игра,  
Никакой твой ужин нам не нужен.  
Мы играем в карты, в распиши,  
И в двенадцать палочек, и в прятки,  
Ведь игра есть праздник для души,  
Проиграл – душа уходит в пятки.  
Мы из самых рьяных игроков,  
Не кричи и перестань сердиться,  
Мы тут заигрались в стариков,  
И уже нельзя остановиться.

\*\*\*

Я исчерпал свой срок,  
Иссяк, и стоп-машина:  
Моих земных дорог  
Осталось три аршина.  
В Астапово. Тайком.  
Все бросив. Третьим классом.  
Простыть под сквозняком,  
Отведав хлеба с квасом,



И уходя во тьму,  
И смертную истому,  
Чтобы сказать Ему:  
Ну, вот. Теперь я дома.

### ГОРЫ И ЛЕС

Такая случается штука –  
Вдруг мокро щеке и тепло.  
Не надо ни слова, ни звука,  
Чтоб сердце в любви истекло.  
Молитва должна быть безмолвной,  
Безмолвно молитесь в тиши.  
Иначе он будет неполным –  
Момент возвышенья души.

В окне лбы гор, а может, горы лбов,  
Меж ними небо втиснулось, как блюдо,  
Или как белый тюк между горбов  
Лохматого трёхгорбого верблюда.  
На ближней горке буйная листва,  
Вторая – как застывшая цунами,  
А третья нам видна едва-едва,  
Чуть различимый силуэт в тумане.

Гор трёхступенчатая линия –  
Природы альфа и омега –  
Сперва зелёные и синие,  
А дальше – серые до неба.  
Не знаю места их у Бога.

Не в том загадка: выше, ниже ли,  
Но суетится мысль убогая –  
Потом, когда умру, увижу ли?

Ложатся горы в стих  
Размерными рядами,  
А облака на них  
Ложатся бородами.  
А сердце: ах, да ах –  
От счастья замирая –  
Ведь горы в облаках  
Почти преддверье рая.

Вглядись, вокруг поля лес, как нимб,  
И небо сочеталось с ним  
Без швов, в одно сплошное целое,  
А посередке – лошадь белая.  
Лес, что ты вынешь нам из-под полы,  
Какой сюрприз внезапно пригодишь:  
Двух сосен обнажённые стволы  
Напоминают ноги двух чудовищ.  
Деревьев ценные стволы  
И хвои пенные валы,  
Весьма обыденные с виду,



Стремятся ввысь, где синь и свет.  
А там сойдутся, или нет,  
Как параллельные Эвклида.

Мы городские все чумные,  
Для нас леса – миры иные,  
Нам не ясна деревьев стать:  
Что нам они напоминают,  
Куда вершины устремляют  
И что пытаются сказать.

В березняке нам птицы пели,  
Дубы венками нас венчали  
И тишиной встречали ели,  
Снимая грусти и печали.  
Обиды, сердца утишая,  
От злобных мыслей стерегли,  
Оберегали, утешали,  
Никак утешить не могли.

Ты всё твердишь мне «ненавижу»,  
Заместо прежнего «люблю».  
А я ленив и неподвижен,  
Не возражаю и терплю.  
А я, тебе не прекословя  
И не входя в докучный спор,  
Смотрю без мысли на шиповник,  
Как дети смотрят на костёр.  
Мне не понятно, кто я, где я,  
В каких веках, в каком краю,  
В чём суть, в чём смысл и в чём идея:  
Я сам себя не узнаю.  
Я между лесом и горами,  
Статист в чужой какой-то драме,  
А может быть, забыл слова.  
Забыть легко. Меня же нету.  
Ведь я не то, и я не это –  
Не горы, и не лес – трава.

\*\*\*

Виновато шепнёшь: – Я чуть-чуть...  
Тут же в кресле уснёшь под часами.  
В одиночку проделанный путь  
Не увидишь моими глазами.  
Трёх таинственных света снопов,  
Бьющих ввысь над чернеющим лесом,  
И моих однозвучных шагов  
Не услышишь скрипучую мессу.  
Здесь от гравия снег побурел,  
Тень от сосен легла на дорогу.  
Я, наверно, любить не умел,  
Вечно путал любовь и тревогу.

# ОЛЕГ МРАМОРНОВ

---

## НА ВОЗВРАТНОМ ПУТИ

\*\*\*

В сухом логоу овечка бежит,  
в сухом лесу дреза дрожит –  
деревце наших мест.  
В сухом овражке камни лежат,  
за Груниной горкой девки блажат,  
парни ищут невест.  
Какой же ближе мне край села –  
и там, и там меня жизнь нашла,  
и там, и там я жывал.  
Оранжевая луна взошла  
в неведомом мне конце села –  
я там ещё не бывал.

\*\*\*

Долог деревенский день тягучий,  
тянется, пока последний луч –  
с приближеньем ночи неминучей  
озарит края закатных туч.

Ночь замкнёт знакомое пространство –  
куст, забор, калитку и сарай,  
а наутро где угодно странствуй,  
чего хочешь, то и выбирай.

Вновь погожий утренник настанет,  
в лучезарной дымке глянет день.  
Пусть пчела за данью прилетает  
и стяхнёт с меня дурную лень.

\*\*\*

Под крутым береговым обрывом,  
где гнездится щур,  
в лунку мы с отцом неторопливо  
опускали шнур.



И на подпуска ловилась рыба,  
здорово бралась.  
Щур летает, ловля прекратилась –  
отыщи-ка связь.

Ни один карасик не попался:  
или рыбы нет?  
Хорошо, что в голове остался  
детский тот сюжет.

Махонькое всё, а было крупным.  
Так вот глазомер  
мерит жизнь, и станет недоступным  
то, что ты имел.

\*\*\*

Повзрослевшие дочери приедут к старушкам,  
загудят по соцветьям шмели,  
юность явится вдруг позабытой подружкой  
на леваде ожившей земли.

Живоносную землю в фату убирает  
белых груш облетающий цвет,  
как невесте, ей девичий сон навевает,  
где ни скорби, ни страхов, ни бед.

Я в питомнике старые груши проведал,  
вешний воздух в меня проникал,  
и цветущий терновник про жизнь мне поведал,  
но про тернии я уже знал.

Огибая терновник, на Грунину горку  
поднимусь и в последнем цвету  
задичавшего сада увижу девчонку,  
улетающую в высоту.

### В БОЛЬНИЦЕ

Больничный батюшка помажет  
целебным маслом тебя  
и помазочком жить накажет,  
не слишком о земном скорбя.

О чём скорбеть?  
Ступай, земное,  
не засти мне *иных* дорог.  
Иная жизнь дороже стоит,  
когда ты вправду занемог.

В больнице ласковой *иное*  
и незаметней, день за днём,  
наследье плотное, земное –  
как масле на лбу моём.



## У ОКНА ВАГОНА

Леса закончились. Пошли поля, подлески,  
овраги, буераки. Высоко  
кочуют тучки. Ветер занавески  
колышет, а до дома далеко.

Проносится Россия буераков,  
тамбовского подстепья, мужиков,  
церквей и тюрем, хлебородных злаков,  
татарника, крапивы, лопухов.

Состарился в сезонных переездах,  
намыкался в скрипучих поездах...  
когда-нибудь последняя поездка,  
последний поезд... смерть, могила, прах...

Тогда утомонюсь в селе забытом,  
на кладбище казацком, а пацан,  
что рыл могилу мне, насупленный, сердитый,  
смахнёт слезу и осушит стакан.

## ЖЕЛАНИЕ ПОЙМЫ

Только б ещё увидеть –  
зрение напитать  
дивной излуки видом,  
в пойме побыть опять.

Солнце там всходит рано,  
землю в зажим берёт,  
стискивает арканом,  
жадно целует в рот.

Пойманная хазарка,  
пойменная земля,  
в солнца объятьях жарких  
вербы и тополя...

И поворот, манящий  
к южным живым морям,  
и горизонт, сулящий  
новые дали нам...

Всё собою обнимет  
мой благодарный взгляд,  
впитает в себя и примет,  
и Богу вернёт назад.



\*\*\*

Как прежде Шолохов – так я теперь станичник.  
Вернувшись на дозор, убогий пограничник  
пытаюсь прочертить между добром и злом  
границу, важную в ничтожестве моём.

Но смутно всё. Колеблемые тени  
врагов добра куда-то улетели.  
И где теперь граница, где враги?  
Упал туман, и не видать не зги.

#### ВЕРНИСЬ НА ЛОВЧЕН

На Ловчене, окутанном туманом,  
укрывшись одеялом облаков,  
забывшись сном, святым и безобманным,  
спит Петар Негош – повелитель слов.

Вернись туда. Там вещему поэту  
в видениях открылся Божий рай,  
там воспевал он черногорский край,  
и песни растекались по белу свету.

Он от жестоких карстовых пород  
вознёсся до спасительных высот,  
до светлого заоблачного неба.

Вернись туда, где дикая скала  
поэта от врагов уберегла,  
отведай снова цетинского хлеба.

#### НА РЕКЕ КАЯЛЕ

*Над широким берегом Дуная,  
Над великой Галицкой землёй  
Плачет, из Путивля долетая,  
Голос Ярославны молодой:  
«Обернусь я, бедная, кукушкой,  
по Дунаю-речке полечу  
И рукав с бобровой опушкой,  
Наклонясь, в Каяле омочу.*

*«Слово о полку Игореве» (пер. Н.Заболоцкого)*

Дыбятся на пути холмы, словно земные волны,  
мечены их валы белыми гребешками,  
то выходят наружу мел и известь,  
меловые склоны трава мнует.

Волны земли, чего вы так расходились,  
не захлёстывайте меня совсем, с головою,  
не захлёстывайте, как Игоря захлестнули  
вместе с войском русичей на реке Каяле.



Ближе река Каяла, ближе.  
Воздух уже опалает кожу,  
Гзак и Кончак, должно быть, точат стрелы,  
в бугорки ушли, не видать поганых.

Близко река Каяла, близко.  
Гребень степной волны навис над нею,  
половецкий вал подступает страшный,  
войско храброго Игоря погибнет.

Вот она и открылась, река Каяла,  
намочу-ка я в ней свои ботинки -  
Ярославна-то рукав не омочит,  
раненому Игорю не утрёт раны.

Волны, замрите, навек застыньте!  
Нечего вам в степи ходить, плескаться,  
хватит того, что Игоря нищ повергли  
половецкой силою окаянной.



# МАРИЯН ШЕЙХОВА

---

## ТРУДНЫМ СЛОВАМ НЕ УЧАТ

### ПАМЯТИ С. ПАРАДЖАНОВА

Что ты кашляешь, рыжий монах? Ветер треплет сутану.  
Март бессилен, но май неотступен. Молчи обо мне,  
Остуди воспалённую душу – о тебе горевать не устану,  
Чёрный бык в золотистых колосьях роет землю на дальнем гумне.

Выйди к солнцу из храма, пусть ликует крестьянское тело.  
Раньше слова и глина была, шелестело в ладонях зерно.  
Ты молился не так, как земля под ногами велела,  
Где томилось в кувшине надежд затаённых вино.

Что ты в небо глядишься? Опрокинута чаша чудес,  
Купол храма в траве, прорастает весна из-под ног,  
Ослабевшая грудь просит жертвы, но жертвенный крест  
Отлученных от плуга не примет обманутый Бог.

Чёрный конь рвёт узду. Белый снег на груди Арарата,  
Золотые оклады песков обнимают границы морей.  
Нет у страсти возврата назад. Под корою граната  
Просыпаются зерна земных и небесных кровей.

### МИМО БЕЛОГО ДУХАНА

Мимо белого духана мчатся кони, как во сне,  
Вечер в небе польхает, словно ягода в вине,  
И деревья озорные гнутся гибко, как лоза,  
У кутил усы шальные и суровые глаза.

О чём споёт им Маргарита, взлетая в белом над землей?  
Что не случилось – то забыто, что было – хлынуло волной.  
Прими блаженство неземное поляной белых роз к ногам,  
Рисуя красками, как жизнью, чтоб возвратить её богам.

Блики жёлтого скольженья, взлёт над зеленью холма,  
Чёрным высится возница, в тень упрятаны дома.  
У кутил серьёзные лица – сердце держат на замке,  
Руки вскинет Маргарита, словно птица, в кабаке.



О чём поет им Маргарита? Бровь полумесяцем летит,  
Земля букетами укрыта, а кисть ласкает и горит...  
Прощай, неведомый художник, луна взметнулась нотой «си»,  
Шарманщик, горести виновник, у песни слова не проси.

... Мимо белого духана мчатся кони, как во сне,  
Бредят руки кистью белой, красной плачут о вине...  
Мрак подвала, пол холодный, гряда битых кирпичей,  
Вдох последний... крошку хлеба... никому... никому... ничей...

Янтарный шарик на запястье, и в стайке жёлтых птиц – лицо,  
У белых роз – права на счастье, у невозможности – кольцо.  
Не пой о прошлом, Маргарита, в ладони пряча лепестки,  
Душа прощению открыта, но нет спасенья от тоски...

### КЕЛЛИ

Знаешь, они виновны. Разве моя вина  
Что от рожденья до даты я им ещё не верна?  
Выбор – всегда за ними, слово – всегда за мной,  
Сможем ли стать другими, если пройдем стороной?  
Не было, милый, ангелов, спросим у них потом,  
Мама проснётся ночью, чтобы сказать о простом,  
Сон свой нашепчет на воду – и за окно плеснёт.  
Помню – молчи, любимый: Келли опять уйдёт –  
Дочь моя нас не знает, вот оттого и бледна.  
Видишь, как буквы тают? Это была не я.  
Я разрешаю, милый, сдать меня раньше всех,  
Женщине имя – сивилла, имя мужчине – успех.  
Не было, милый, ангелов, спросим у них потом,  
Трудным словам не учат, их разрывают ртом.

### И БУДЕШЬ ТЫ МНЕ СЛУЧАЙНЫЙ

И будешь ты мне случайный, совсем случайный...  
Под ноги дождик лезет, как будто бы он ни при чём.  
Завтра распухнут пальцы от жёлтых цветов молочая,  
Я их ломаю сегодня, держу оборону плечом.  
Пауль зароется в землю, в складки её, в морщины –  
Знаешь, как любят солдаты каждую её пядь?  
Губы щекочет травинка, и ветер, как ты, матерщинник,  
Шепчет слова чужие, прежде чем двинуть вспять.  
Ходит кругами дождик – мне он к чему, безлюдный?  
Если осколками сыплет, я словно крот, ухожу.  
Хочешь в дорогу, мальчик? Вечер сегодня чудный...  
Если на слух полагаться, лучше потом напишу.  
Имя чужое? Неправда. Порохом пахнет имя.  
Пить ли, не пить – не знаю. Кофе нальют нам в чайной.  
Ты говоришь о жарком, я говорю о дыме –  
Олово каплет ... Помнишь? Будешь опять случайным.



## КРОВАТЬ У ОКНА

Хочет сказать – не умеет... Выйди навстречу к ним.  
Лесом идёшь – не видят, и в небе ты им незрим.  
Все – как один – молчаливы. И в горле у всех – крик.  
Поле*m* иди дождливым,  
Поле*m* иди,  
Старик...

Проводы – первая встреча. Что же они не кричат?  
Голос дрожит до речи, а после – дорога в ад?  
Всё потому, что зрячих не достигает свет.  
Поторопись к ним, старче, –  
Больше дороги нет.

В поле ночует голос – будет им дом, конечно.  
В горле у них не камень – крик или мрак крошечный.  
Нет на них бедной крестьянки... Ты виноват, старик...  
Люди и лесом ходят,  
Ты поле*m* иди напрямик...

В поле ночует голос... Тихо начнет он петь...  
Выйдут навстречу люди,  
Могут ещё успеть...

## НИ СЛОВА О ЛЮБВИ

Спят миражи  
На дне моих морей,  
Качают волны колыбель утрат.  
Ни слова о любви – о ней не говорят,  
Любовь жива молчанием о ней.

Ни слова о любви –  
есть только нежность моря,  
есть гордость силы и её тоска,  
и высотой взлелеянная воля,  
живое сердце, верная рука  
сурового, как воин, одиночества.

Ни слова о любви...

# ЕКАТЕРИНА АВГУСТА МАРКОВА

## МОЁ – ТЫ эссе

Загадка Осипа Мандельштама сродни загадке Тунгусского метеорита. Большую часть творческой жизни он прожил в убогой реальности первобытного социализма. Реальность эта довольно широко отражена в его стихах.

*Я человек эпохи Москвошвей, –  
Смотрите, как на мне топорщится пиджак...*

И Москвошвей, и карточки, и варварские трудности с паспортом и пропиской, и полуголодное существование. Но только смотрит на всё это поэт инопланетными глазами... Там, в тех даях, откуда он родом – гораздо ярче солнце. Глаза рассчитаны на то солнце...

Надежда Мандельштам говорит о «наблюдательности хищника», свойственной Осипу Эмильевичу.

А вот в полумраке всеобщего идиотизма Мандельштам не различает деталей... Именно по этой причине он сам продиктовал следователю НКВД самоубийственные стихи о Сталине, сам продиктовал фамилии людей, которым он читал их...

Георгий Иванов в своих воспоминаниях очень точно подметил эту его бытовую неотмирность... Когда он приехал к красным от белых и собирался воспользоваться документом, подписанным белым генералом. Документ же, какая разница... В воспоминаниях «Китайские тени» Георгий Иванов даёт образ Мандельштама, приехавшего в красный Петербург, до боли напоминающий князя Мышкина в первой главе романа (его приезд из Швейцарии). «Конечно, он приехал в летнем пальто с какими-то шёлковыми отворотами, особенно жалкими на пятнадцатиградусном морозе). Конечно, без копейки денег в кармане, простуженный, чихающий, кашляющий, не знающий, что ему делать. Первой его заботой, после того, как он немного осмотрелся и отошел, было – достать себе “вид на жительство”».

– Да успеешь, завтра.

– Нет, нет. Иначе я буду беспокоиться, не спать. Пойдем в Совдеп, или как его там...

– Но ведь надо тебе сначала достать какое-нибудь удостоверение личности.

– У меня есть. Вот.

И он вытаскивает из кармана смятую и разодранную бумажку. – “Вот: “Командующий вооруженными силами на Юге России”, – значит в заголовке. – Удостоверение... Дано сие Мандельштаму Осипу Эмильевичу... Право на жительство в укрепленном районе... Генерал Х... Капитан У...”

– И с этим ты хотел идти в Совдеп!..

Детская растерянная улыбка.

– А что? Разве бумажечка не годится?..»

Мандельштам числил себя потомком библейских овцеводов, патриархов и царей... Может быть, это и не противоречит инопланетному происхождению... В земной жизни – беззубый, рано состарившийся чудаки, в косо завязанном галстуке, в топорщащемся пиджаке. Он дружил с Ахматовой... Поэты эти были из другого семени. Они по другим причинам писали стихи, чем послеоктябрьская армия литераторов, получавшая за идеологически выдержанные рифмы крупные гонорары.

Полушутя Анна Андреевна выговаривала Надежде Яковлевне Мандельштам, что у Осипа мало любовной лирики... Надежда Яковлевна не спорила и в какой-то мере начинала чувствовать свою вину... Она вспоминала, как Мандельштам, только что написавший,



Твой зрачок в небесной корке,  
 Обращенный вдаль и ниц,  
 Защищают оговорки  
 Слабых, чующих ресниц.  
 Будет он обожествлённый  
 Долго жить в родной стране –  
 Омут ока удивлённый, –  
 Кинь его вдогонку мне.  
 Он глядит уже охотно  
 В мимолетные века –  
 Светлый, радужный, бесплотный,  
 Умоляющий пока.

2 января 1937

– удивлённо констатировал, что только Боратынский да он писали стихи женам...

Надежда Яковлевна Мандельштам пишет в своей умнейшей книге Воспоминаний, что, по Мандельштаму – любовь – это не поклонение прекрасной Даме, а то единственное, выражается словами МОЁ – ТЫ.

Вспоминается легенда Платона об Андрогинах, мощных двуполох существах, разрубленных завистливою силой и пущенных по свету искать друг друга, дабы обрести прежнее сверхчеловеческое...

В писательской среде существует чья-то шутка, что жениться надо на хорошей вдове, которая после смерти будет заботиться о литературном наследии мужа. Надежда Яковлевна – уникальная вдова. Все стихи Мандельштама, которые дошли до нас (многие утеряны в тюрьме, в ссылках, в лагерях) сохранились благодаря памяти Н.Я. Мандельштам. В самых отчаянных ситуациях, когда и жить не хотелось, она вспоминала о своей миссии и находила силы оставаться в такой жестокой, бесприютной жизни. Жить было негде, надеть было нечего, часто голодала...

Но кому она принесла эти стихи? Не обольщалась Надежда Яковлевна и насчёт грядущего читателя. «... надо знать, как все мы, выросшие в интеллигентных семьях, привыкшие к застольному разговору и определённому кругу интересов, вдруг – без всякого переходного периода, в один миг – очутились в новом мире, среди совершенно чужих людей, говорящих на нашем языке». Только ощутив разрыв связи времён, можно понять «блаженное бессмысленное слово».

Пронесла в памяти она и «изменнические» стихи, как они назывались у них между собой.

Увлечения другими женщинами никогда не носили у Мандельштама серьёзный характер, он не мог бы уйти от своей Нади. Даже роман с Ольгой Вакслер, доставивший столько страданий Надежде Яковлевне, явно был обречён изначально...

Хочется снова процитировать Георгия Иванова (но это о другом «романе»):

«В “Tristia” (книге Мандельштама) есть крымские стихи: одно из лучших русских стихотворений:

...Где обрывается Россия  
 Над морем чёрным и глухим.  
 ...Как скоро ты смуглянкой стала  
 И к Спасу бедному пришла –  
 Не отрываясь, целовала,  
 А строго в Москве была.  
 Нам остается только имя,  
 Блаженный звук, короткий фок,  
 Прими ж ладонями моими  
 Пересытаемый песок.

Так вот – это написано в Крыму, написано до беспамьятства влюбленным поэтом...». «Мандельштам жил в Коктебеле. И так как он не платил за пансион и, несмотря на требования хозяев съехать или уплатить, – выезжать тоже не желал, то к нему применялась особого рода пытка, возможная только в этом “живописном уголке Крыма”, – ему не давали воды... Кормили его объедками. Когда на воскресенье в

Коктебель приезжали гости, Мандельштама выселяли из его комнаты – он ночевал в чулане. Простудившись однажды на такой ночевке, он схватил ужасный флюс и ходил весь обвязанный, вымазанный йодом, сопровождаемый улюлюканьем местных мальчишек и улыбками остального населения “живописного уголка”. Особенно, кстати, потешалась над ним “она”, та, которой он предлагал “принять” в залог вечной любви “ладонями моими пересыпанный песок”. Она (очень хорошенькая, немного вульгарная брюнетка, по профессии женщина-врач) вряд ли была расположена принимать подарки подобного рода: в Коктебель её привез её содержатель, армянский купец, жирный, масляный, черномазый. Привёз и был очень доволен: наконец-то нашлось место, где её не к кому, кроме Мандельштама, ревновать...».

Вспоминаются строки Ахматовой: «Когда б вы знали, из какого ссора растут стихи...». К слову сказать, Марина Цветаева обижалась на Иванова и утверждала, что стихи посвящены ей. Н.Я. Мандельштам пишет, что отлично знала, что посвящено Цветаевой – «На розвальнях, уложенных соломой», «В разноголосице девического хора» и «Не веря воскресенья чуду»...

Но никак нельзя ограничить образ Мандельштама дружески-шуточными воспоминаниями Г. Иванова, написавшего уже по смерти Мандельштама, в эмиграции –

*Но поёт петербургская вьюга  
В занесённое снегом окно,  
Что пророчество мёртвого друга  
Обязательно сбыться должно.*

Предваряет эти стихи Георгия Иванова эпиграф из Мандельштама:

*В Петербурге мы сойдёмся снова.  
Словно солнце мы похоронили в нём.*

По поводу этих стихов между Осипом Эмильевичем и Надеждой Яковлевной был забавный разговор. «В Москве в 1922 году Мандельштам собирал “Вторую книгу”, он вспомнил стихотворение “В Петербурге мы сойдёмся снова...” (цензура его не пропустила), и я спросила его, к кому оно обращено. Он ответил вопросом, не кажется ли мне, что эти стихи обращены не к женщинам, а к мужчинам. Тогда я удивилась: в юности есть только одно блаженное слово – любовь. Меня смущало, что Мандельштам назвал “бесмысленным”... Такое определение любви ему несвойственно. Он посмеялся: “дурочкам всегда чудится любовь...”»

Думается, в стихах Мандельштама часто скрыта в подтексте любовная нота, как она скрыта и не произносится в счастливом браке.

Ахматова говорила с лукавой улыбкой, что у неё были «все варианты любви». Но она забывала о самом главном («варианте»), о супружестве, в подлинном старинном значении этого слова. О нём не помнили поколения, рождённые на рубеже XIX-XX вв., особенно в богемной среде. Оно было даже высмеяно множество раз... Мандельштам и в этом существовал отдельно от общественного мнения. Он считал, что на всю жизнь должна быть одна жена и один муж... Как писала его верная жена, – «Он не умел быть дрожащей тварью, которая боится не Бога, а людей».

Тайна Мандельштама не разгадана даже немногими близкими людьми. Пишут: «говорил то, что думал», но совсем не так, *по-дессидентски*, а *по-инопланетному*, в других цивилизациях так врать, как на земле, не умеют, видно. Многие стихи Мандельштама можно читать с конца к началу и возникает новый смысл.

*Целый лес незваных кораблей.  
Нам подарков с острова не надо.  
Охраняй Акрополь и Пирей!  
О Европа, новая Эллада...*

Мандельштам говорил, что никто не может быть реалистом, что действительности, как данности, нет, есть действительность, как искомое...

Он искал действительность, а действительность нашла его и убила...

В заключение хочется привести не дошедшее до Владивостокского лагеря, где Мандельштам умер с голода, письмо его единственной «нищенки-подруги». Она выполнила свою миссию, сохранила стихи



Мужа, пронесла их сквозь смертоносные времена. Иосиф Бродский последний раз видел её в кухне однокомнатной квартиры, которую удалось получить под старость. У неё остались одни глаза, она стала почти невесомой: «Девяносто лет девочке», – пошутила Надежда Яковлевна. Было ясно, что ТАМ они встретятся.

22/10 (1938)

«Ося, родной, далёкий друг! Милый мой, нет слов для этого письма, которое ты, может, никогда не прочтёшь. Я пишу его в пространство. Может, ты вернёшься, а меня уже не будет. Тогда это будет последняя память.

Осюшка – наша детская с тобой жизнь – какое это было счастье. Наши ссоры, наши перебранки, наши игры и наша любовь. Теперь я даже на небо не смотрю. Кому показать, если увижу тучу?

Ты помнишь, как мы притаскивали в наши бедные бродячие дома-кибитки наши нищенские пиры? Помнишь, как хорош хлеб, когда он достался чудом и его едят вдвоём? И последняя зима в Воронеже. Наша счастливая нищета и стихи. Я помню, мы шли из бани, купив не то яйца, не то сосиски. Ехал воз с сеном. Было ещё холодно, и я мёрзла в своей куртке (так ли нам предстоит мерзнуть: я знаю, как тебе холодно). И я запомнила этот день: я ясно до боли поняла, что эта зима, эти дни, эти беды – это лучшее и последнее счастье, которое выпало на нашу долю.

Каждая мысль о тебе. Каждая слеза и каждая улыбка – тебе. Я благословляю каждый день и каждый час нашей горькой жизни, мой друг, мой спутник, мой милый слепой поводырь...

Мы как слепые щенята тыкались друг в друга, и нам было хорошо. И твоя бедная горячечная голова и всё безумие, с которым мы прожигали наши дни. Какое это было счастье –

И как мы всегда знали, что именно это счастье.

Жизнь долга. Как долго и трудно погибать одному – одной. Для нас ли – неразлучных – эта участь? Мы ли – щенята, дети, – ты ли – ангел – её заслужил? И дальше идёт всё. Я не знаю ничего. Но я знаю всё, и каждый день твой и час, как в бреду, – мне очевиден и ясен.

Ты приходил ко мне каждую ночь во сне, и я всё спрашивала, что случилось, и ты не отвечал.

Последний сон: я покупаю в грязном буфете грязной гостиницы какую-то еду. Со мной были какие-то совсем чужие люди, и, купив, я поняла, что не знаю, куда нести всё это добро, потому что не знаю, где ты.

Проснувшись, сказала Шуре: Ося умер. Не знаю, жив ли ты, но с того дня я потеряла твой след. Не знаю, где ты. Услышишь ли ты меня? Знаешь ли, как люблю? Я не успела тебе сказать, как я тебя люблю. Я не умею сказать и сейчас. Я только говорю: тебе, тебе... Ты всегда со мной, и я – дикая и злая, которая никогда не могла просто заплакать, – я плачу, плачу, плачу.

Это я – Надя. Где ты?

Прощай.

Надя».

# ГРИГОР АПОЯН

## КТО ПИСАТЕЛЬ?

эссе

Нелепый вопрос. Тем более странно он звучит в аудитории, где собрались эти самые писатели – тут подобный вопрос определённо приобретает характер некоего вызова, провокации. Но если я сейчас в лоб предложу поднять руки тем, кто считает себя писателем, то вряд ли многие из вас выполнят мою просьбу. И это хорошо, это будет означать, что здесь собрались действительно хорошие писатели. Ибо, как сказал Ницше, *«Лучшим автором будет тот, кто стыдится стать писателем»*. Но это тонкое замечание философа относится исключительно к субъективной реакции творческого человека, на самом деле, нисколько не отражающей его внутреннюю убеждённость, но только страх быть осмеянным более искушённым окружением. В действительности, каждый, кто берёт в руки перо, где-то в глубине души абсолютно убеждён, что он и есть лучший писатель на Земле. И это совсем не стыдно, это обычная, можно сказать, банальная вещь, и касается она отнюдь не только писателей. Ганс Селье, автор широко обсуждаемой в своё время теории стресса справедливо заметил, что *«каждый вправе в глубине души считать, что он лучше всех, даже если другие этого не находят. Такая установка принесёт ему пользу, и ни для кого не обидна, если он не поднимает из-за этого шума»*. Но странным образом, учёный муж не обратил внимание на тот важный момент, что весь смысл данной установки (а она, как мы уже заметили, присуща каждому человеку) для подавляющего большинства людей заключается именно в том шуме, который можно поднять, опираясь на это «убеждение». Показать себя, повыпендриваться – в сущности, это цель (может быть, даже единственная в жизни цель) всех людей. Остальное зависит от культуры, воспитания, от образования, среды и т.д. Уметь не заявлять о себе громогласно, считаться с чужими чувствами и интересами – вот, собственно, в чём заключается истинная культура; мало кто обладает ею. Так что шум бывает большой, нередко до войн доходит, больших войн.

Каждая птица знает предел своей высоты, но не человек. Человек витает – это его основное качество, а его сознание – изумительная проститутка, которая всегда знает, как извернуться, чтобы оказаться сверху, которая обслуживает исключительно саму себя, всегда находя самые изощрённые средства для полного и глубокого удовлетворения. И когда уже совсем нечем гордиться, человек найдёт аргументы, чтобы хвастать, извините, своим замызганным задом.

На мой взгляд, это важнейшее свойство человеческого сознания практически полностью проигнорировано современной наукой. Между тем, **инстинкт превосходства**, как я его называю, наряду с инстинктом самосохранения и инстинктом продолжения рода обеспечивает выживание и распространение биологического вида. Вдумаемся, разве не этот именно инстинкт лежит в основе любого патриотизма – дворового, деревенского, родового, национального и т.д. – и был бы у человека шанс солидаризироваться и выжить без этого патриотизма? Не сомневаюсь, что более глубокое изучение животного мира выявит зачатки аналогичного инстинкта и у братьев наших меньших.

Вернёмся, однако, к первоначально поставленному вопросу. Довлатов где-то писал, что все писатели легкоранимы – это иное признание их самомнения, которое, как было сказано, в принципе, ничем не отличается от самомнения слесарей, или дворников. Наша задача, однако, не в анализе глубин подсознания пишущей братии, а в нахождении неких объективных критериев для однозначного причисления данного конкретного претендента к этой самой возвышающейся над остальным миром братии, и, пытаясь ответить на поставленный провокационный вопрос, мы рассчитываем – может быть, самонадеянно – в процессе размышлений, обсуждений, споров найти, наконец, некоторую объективную оценку, чёткое определение для этого понятия – «писатель» – если это вообще возможно, если это вообще имеет смысл.

Чтобы не прятаться от самого себя, и в этой жалкой игре неизбежно не проторить дорожку к глубокомысленному и потому бесполезному теоретизированию, прежде всего, необходимо объяснить, откуда





у меня лично возник этот вопрос – тривиальный и неразрешимый одновременно. Ответ лежит на поверхности: мне было необходимо разобраться в себе самом – кто я есть такой, имею ли я право учить других достойно жить – ведь именно в этом, по большому счету, заключается миссия писателя? У меня тем более должны были возникнуть эти сомнения, что по образованию я инженер, кандидат технических наук, и большую часть жизни потратил на какие-то разработки, которые ничего не давали моей душе, но зато позволяли обеспечивать семью минимумом комфорта без постыдной сделки с зоркой по части идеологии властью. Я думаю, последняя фраза полностью проясняет причину моего вынужденного выбора профессии по окончании школы. Когда пришла пора определяться со своей будущей специальностью, ни для меня, ни для нашей учительницы по русскому языку и литературе не было никаких сомнений, в чем именно моё истинное призвание. Я до сих пор храню сочинение, за которое мне была выставлена пятёрка с двумя минусами – в нём всё-таки были какие-то грамматические опшибки, но не выставить мне высший бал у преподавателя не поднялась рука – должно быть, на неё произвел достаточно сильное впечатление мой нестандартный текст (сегодня я перечитываю его без какого-либо восторга, а если быть совсем уж точным – то с известной долей стыда; но надо делать, конечно, скидку на возраст и, особенно, на то время, запрессованное в жёсткие рамки «типичных героев»). И вот, нисколько не сомневаясь в том, куда бы мне следовало идти при наличии действительно свободного выбора, я твердым шагом направился в Политехнический институт. Почему? Причин было две: первая, не самая существенная, заключалась в том, что я имел способности также к естественным наукам, а в те времена идти в гуманитарии юноше, который успевает по математике и физике, было немислимо – слишком был низок рейтинг гуманитарных профессий. Так что стоящему на перепутье абитуриенту надо было иметь особое мужество, чтобы, отлично успевая по математике и физике, идти на филологический факультет. Но у меня оно было, это мужество, я никогда не был склонен плыть по течению. Другое дело, что существовала и вторая причина, гораздо более важная. Несмотря на юные годы и основательную промывку мозгов, которой подвергались все советские люди и особенно школьники, я к своим семнадцати годам совершенно чётко осознавал, что, взяв в руки профессиональное перо, я буду вынужден писать под диктовку, и вот это было для меня немислимо. В СССР способному усвоить некоторые нравственные принципы зрелому юноше, которому не хватало мужества (или безрассудства) встать на революционный путь, дорога была одна – нейтральная наука, техника. Я знал, по крайней мере, ещё несколько человек, которые, как и я, были фактически принуждены сделать свой выбор не в пользу действительно любимого дела. Были среди них такие, кто добился выдающихся результатов «не на своём» поприще. Воистину, талант везде себя проявит!

Итак, я стал технарём, а когда много лет спустя, уже почти пятидесятилетним мужчиной, испив горечь потери работы и, соответственно, средств к существованию, вследствие очередной заварушки в правящей камарилье, результатом которой на сей раз стал развал великой страны, я причалил, наконец, к редакции одной из ереванских газет и очень скоро – да будет мне позволена маленькая нескромность – стал одним из ведущих её журналистов, коллеги по новому цеху не переставали удивляться: «Где же ты прятался всё эти годы?». Мне приходилось выкручиваться, придумывая различные причины, – разве мог я оскорбить их своей правдой? Разве моя правда не была бы для них упреком, я же никого не хотел упрекать, никого – каждый сам делает свой выбор и сам отвечает перед собственной совестью. Разве мало было абсолютно честных, высокопрофессиональных, а порой и великих литераторов в советскую эпоху? Это были люди, наделённые способностью очень умело лавировать; у меня такая способность отсутствовала начисто, и я это знал. Так что свою свободу (относительную, конечно) и независимость я оплатил безвестностью. Успехом своим. Конечно, это горько, но, тем не менее, сегодня я говорю себе спасибо, что не написал ни одной строчки на потребу своего брюха, ни одной строчки, за которую мне было бы стыдно перед вечностью. Да у меня, определённо, и не получилось бы ничего.

Итак, взяв впервые в руки перо, точнее впервые рискнув выйти в мир с пером наперевес (ибо в блокнот я писал постоянно ещё со школьных лет), я вначале занялся журналистикой, но это не давало мне истинного удовлетворения, я чувствовал в себе большой потенциал, задатки истинного писателя. Долгое время я стеснялся признаться в этом даже самому себе, но когда мне попала уже вышеприведенная цитата Ницше о том, что лучшим автором будет тот, кто стыдится стать писателем, я понял, что он сказал это обо мне. Большинство настоящих писателей испытывают заметную неловкость, когда их обзывают (для них, именно обзывают!) этим словом. Я полагаю, происходит это оттого, что истинная любовь всегда стесняется самой себя; она старается спрятаться, укрыться от посторонних взглядов, досужего любопытства тех, у кого нет собственной любви, собственного объекта поклонения. Истинная любовь скромна и тиха; это любовь к самому себе громогласна, и глаголет она всегда только о себе, пусть это будут даже самые

страстные признания своему якобы объекту. Ибо объект у такой любви всегда один – собственная персона.

Итак, я занялся журналистикой, точнее даже – публицистикой. Чем это меня не устраивало? Публицист обличает *свое* время, спорит со временем, писатель ищет пути примирения с ним. И только в таком качестве он отличается от публициста, от журналиста вообще. Журналиста интересует человек во взаимодействии с другими людьми, писатель больше пытается исследовать внутренний мир человека. Журналист полемизирует с обществом, писатель – со *временем*, с вечностью. Мне казалось, что я созрел для спора с вечностью, наверное, я был самонадеян. Но сомнения, ужасные сомнения одолевали меня; они одолевают меня по сию минуту. Я пытался каким-то образом выяснить наконец, имею ли я право считать себя писателем. И на эту трибуну меня привели те же бесплодные поиски ответа на этот вопрос. Сейчас я уже подозреваю, что ответа на него просто не существует. Каждый грамотный человек может считать себя писателем; и кто его переубедит – Нобелевский комитет, который не раз отмечал отнюдь не самых лучших? Или издатели, готовые печатать любую макулатуру, если на неё есть спрос со стороны невзыскательных домохозяек? Есть, конечно, профессиональная среда, которая в состоянии, по крайней мере, отделать откровенного графомана от чего-нибудь стоящего литератора, но вы когда-нибудь видели, чтобы в этой среде было единодушие даже в оценке всемирных знаменитостей? Кто мне должен сказать в лицо, что никакой я не писатель, чтобы я безропотно принял вердикт? Сугубо личный и потому малоинтересный этот вопрос приобретает большую значимость, когда, обобщая, направляешь его в сторону всей пишущей братии. Ведь есть немало людей, считающих Толстого довольно скучным писателем или пеняющих Достоевскому на несовершенство его формы. Если даже эти великие могут подвергаться едва ли не осмеянию, как найти ту объективную шкалу, по которой можно оценить достоинства писателя? Говорят, что у писателя должно быть рефлектирующее сознание, что в его произведениях должны присутствовать психолого-философская и повествовательная компоненты и другие очень умные вещи, но никто не предложил и, очевидно, никогда не предложит шкалу, по которой можно ранжировать писателей по их степени соответствия этим самым умным критериям – уж слишком субъективно восприятие литературы, как и всякого искусства.

Потому имеет смысл взглянуть на этот вопрос с несколько иной стороны. Марсель Пруст в одном из своих произведений писал, что *«подлинная жизнь, в конечном счёте, открытая и прояснённая, а следовательно единственно прожитая целиком – это литература. В каком-то смысле, эта жизнь каждое мгновение пребывает и в художнике, и в каждом человеке. Однако она не видна людям, ведь они не пытаются её прояснить»*.

В каком-то смысле мысли Пруста перекликаются с апокрифическим Евангелием от Филиппа, который писал: *«Язычник не умирает, ибо он никогда не жил, чтобы он мог умереть. Тот, кто поверил в истину, начал жить, и он подвергается опасности умереть, ибо он живёт»*.

Пруст, в свою очередь, живущим фактически признает только творящего литературу. Но не обольщайтесь – он ничего не говорит конкретно о писателях. Поднимая своим заявлением литературу, как таковую, на невероятную высоту, Пруст рассматривает её, как часть искусства, которое должно позволить нам *«выйти за свои пределы и узнать, что видят во вселенной другие люди – вселенной отличной от нашей, пейзажи которой так и остались бы для нас неведомы, как лунные виды. Благодаря искусству вместо одного нашего мира мы видим множество, и сколько было самобытных художников, столько в нашем распоряжении миров, ещё больше различающихся между собой, чем миры, летящие по вселенной»*. И в итоге он приходит к выводу, что *«единственное средство обрести Потерянное Время – это произведение искусства»*.

А если это так, давайте немного поговорим об искусстве в целом и литературе, как части этого божественного занятия.

Ницше говорил, что искусство дано человеку, чтобы он не умер от правды. Он знал её убойную силу. Лично я думаю, что искусство дано человеку, чтобы он не умер от несвободы. Если признать глубокую корреляцию между правдой и несвободой, то у нас с великим философом не будет разногласий.

Высшее искусство – это Бог, идея Бога. Религия, моленное упование на Бога и есть самый отчаянный уход от правды.

Всё искусство создаётся на основании ожиданий от жизни, от людей большего, чем они на самом деле могут дать: до тех пор, пока эти завышенные ожидания кажутся оправдывающимися, искусство оптимистично; с того драматического момента, когда раскрывается горькая истина – искусство пессимистично, зачастую – трагично. Именно потому трагедии производят гораздо более сильное впечатление на людей, «очищают» их.

Искусство не терпит никаких канонов, запретов, цензуры. Если искусство не является символом свободы – это не искусство. Игнорирование невыносимых оков постылой реальности – упоение искусства.



В настоящем произведении художника всегда острее всего ощущается раскрепощённость, свобода. Это может быть даже порнографический фильм.

И тут мы подходим к разговору о норме, поскольку норма, в этом смысле, является некоторым тормозом для творчества, ограничителем свободы. Норма – в частности, когда это касается языка – выполняет три основные функции: первая – наиболее точная передача смысла; вторая функция сутобо эстетическая – выразить мысль красиво и экономно; наконец, третья функция, приобретающая порой наиболее важное значение, – корпоративная, а именно, распознавание с первых же слов принадлежность говорящего к той, или иной категории. И все те, кому больше нечего предложить, кроме правильного выговора, будут стоять насмерть за правила грамматики. Очень хорошо образованные бездари, способностей которых хватило только на то, чтобы основательно изучить правописание, конечно, никогда не простят истинному гению его случайной ошибки при написании слова «корова». За чистотой теорий строго следят те, кому более нечего предложить, ничего нового, своего. Между тем, чем жёстче правила, тем скучнее язык; исключения обогащают его, делают интересным и неповторимым. Это касается языка в целом, как средства коммуникации, и в той же мере языка отдельно взятого творца. Истинный поэт, нисколько не задумываясь, позволяет себе «вольности», которые потом признают гениальными. Я где-то писал, что творчество есть преодоление профессионализма, устоявшихся взглядов, «незыблемых» теорий, иногда даже законов логики. Широко известно высказывание знаменитого датского физика Нильса Бора: *«Ваша идея, конечно, безумна. Весь вопрос в том, достаточно ли она безумна, чтобы оказаться верной?»*. Как видим, даже в такой точной науке, как физика, безумство приветствуется – что же говорить об искусстве, литературе!

Наука признает фактом только то, что может быть повторено в исследованиях других ученых; искусство признает фактом только то, что неповторимо. Всё, что может быть разоблачено, раскрыто до конца, не может быть названо искусством. Если когда-нибудь, не дай бог, с искусства будут сорваны её таинственные покровы, оно просто перестанет существовать, превратится в науку. Для науки единственно важно, «что» сказать. Для искусства – преимущественно, «как» сказать.

Подлинным символом искусства является музыка – чистая музыка, без примеси поэзии, картинок и других «украшений». Результат её воздействия на нас – чистая эмоция. В любой поступающей в наш мозг информации мы ищем смысл и эмоцию. Крайне редко они бывают полностью разделены. Даже в симфониях Бетховена мы ищем и находим смысл и пытаемся выразить его словами. Отсюда следует, что литература – другой символ искусства, ибо даже самые сильные внутренние эмоции могут быть выражены, переданы вовне только вербально, словами.

Но и то верно, что искусство – это во многом профанация искусства. Впервые эту истину в присущей ему строго научной форме озвучил Карл Маркс. *«Предмет искусства, – писал он, – а также всякий другой продукт создает публику, понимающую искусство и способную наслаждаться красотой. Производство производит поэтому не только предмет для субъекта, но также и субъект для предмета»*. А Марк Твен примерно ту же мысль изложил, естественно, в своей юмористической форме: *«Цивилизация – это машина по производству потребностей, в которых нет потребности»*. Он имел в виду, конечно, не еду и секс, потребность в которых формирует отнюдь не цивилизация. А всё остальное – искусство, и вот тут цивилизация, конечно, постаралась. Кто-то говорит ей за это «спасибо», кто-то проклинает, но пути-то обратного нет...

Здесь, наверное, уместно сказать несколько слов о том, как ценится в обществе искусство, и какой ценой оно достигается, чем расплачивается творец за дарованный ему свыше талант.

Не секрет, что популярные деятели искусства испокон века оплачивались намного выше представителей любых иных профессий (за исключением бизнесменов, которые самостоятельно «поднимают» свои деньги). Какие бы революционные изобретения ни предложил самый выдающийся учёный или инженер, он никогда не будет вознагражден даже малой толикой тех гонораров, которые получают известные певцы или режиссеры, даже если это открытие ученого сулит качественно изменить жизнь буквально каждого человека на земле. В каком-то смысле песня оказывается намного дороже хлеба.

Сия дилемма ставила в тупик человека с древнейших времён, заставляя порой даже великих императоров доискиваться славы цирковых артистов (вспомним хотя бы Нерона). Между тем, в подобной «несправедливости» нет ничего поразительного: человек испытывает гораздо более глубокое чувство благодарности к тому, кто облегчает его синоминутные душевные страдания (а именно в этом состоит утилитарное предназначение искусства), чем к тому, кто обещает завтра облегчить его тяжёлый физический труд. И платит соответственно (тут, правда, следует оговориться, что благодаря новым технологиям у талантливых учёных в последнее время также появился шанс «поднять» большие деньги.) Но и плата творца радости – назовём его так – чрезвычайно высока; только сам он знает, какими душевными муками вырабатывается бальзам для чужих страждущих душ.

И тут время вернуться к собственной персоне, посмотреть, а чего, собственно, стою я сам, что могу предложить почтенной, платящей публике?

Нет, я никогда не рассчитывал, что мне может открыться какая-то высшая истина, поскольку не верю в существование таковой. И не могу сказать, что я так уж честолюбив: для этого я достаточно уверенный в себе человек. Просто я ждал слишком долго. Ждал и надеялся, хотя умом понимал и сердцем чувствовал, что ни ждать, ни, тем более, надеяться не стоит. Но я ждал и надеялся – человек! Не убежать ни в ту, ни в другую сторону. Стать знаменитостью – конечно, это суррогат цели в жизни. Но хоть что-то.

Почему в пожилом, уже, казалось бы, отжившем своём возрасте человек так остро нуждается в успехе? Потому что, пройдя через все тернии жизни, он, наконец, открывает для себя печальную истину, что таких понятий, как любовь, искренняя привязанность и бескорыстная дружба не существует, есть только аплодисменты победителю, и в своей запоздалой мудрости он страстно жаждет их. И ещё он начинает очень остро ощущать, как окружение потихонечку (а порой и довольно грубо) выводит его за скобки, и последняя тщетная надежда побитого самолюбия несчастного – общественное признание, как спасение от душашающего одиночества. Конечно, человек во все свои годы активно стремится к успеху, но у стариков это стремление становится идеей фикс. Должно быть, и я в этой шеренге. Да и как не вспомнить здесь Сальвадора Дали: *«Успех часто бывает единственной видимой разницей между гением и безумием»*.

Но трезво оценивая сложившуюся ситуацию, могу твёрдо сказать, что единственный реальный шанс для меня нынче – очень маловероятный, но единственный! – это выиграть Джек-пот в лотерею. Тем не менее, я, вот, пишу, значит, на что-то все ещё рассчитываю, жду... Говорят, что с возрастом душу человека больше греют воспоминания, чем надежды, но со мной не так, совсем не так. Может оттого, что и вспоминать особо нечего – у меня была довольно пустая жизнь, в ней не было большой любви.

Чтобы понять смертельную усталость от изнурительного ожидания успеха, грандиозного успеха, необходимо иметь не только великие амбиции, но и уверенность в их обоснованности, многочисленные авторитетные признания твоего таланта. Мне было бы совсем не трудно примириться с мыслью о своей бездарности – по большому счёту, я всегда безо всяких ожиданий писал «в стол». Но мучительно постоянно слышать восторженные комплименты со всех сторон и оставаться при этом абсолютно невостребованным. На самом деле, истинный талант – невыносимое бремя. Вот я знаю, что никогда не подниму штангу в несколько пудов, и, соответственно, меня совершенно не трогают чужие достижения в этой области, но когда я чувствую свой высокий потенциал в какой-либо сфере, и об этом же мне непрерывно твердит всё моё окружение, я не могу не реагировать болезненно на своё продвижение, или отставание.

Но мудрые люди давно подметили: *«Успех есть путешествие, а не цель»*. В этом смысле, мне не пристало жаловаться – я всё ещё в пути. И нынче я ощущаю такую внутреннюю свободу и порождённую ею духовную мощь, что никакие невзгоды, никакое непонимание близких, или насмешки врагов не могут хоть в малой степени поколебать мою волю, склонить голову перед жестокостью и несправедливостью жизни.

На самом деле, разве мне не хватает собственного признания? Почему мне не должно хватать собственного признания? Разве добиваясь признания других, мы тем самым не себе хотим доказать, что чего-то стоим? Так неужели об этом должен сказать кто-то другой? Мне – нет!

Вообще тщеславие призвано компенсировать низкую самооценку, но никогда не выполняет свою функцию. Потому за одной шубой появляется вторая, третья, за первой яхтой – вторая, десятая. Разве пристало мне идти по этому позорному пути?

И, тем не менее, будет большим лицемерием сказать, что жажда признания более не съедает меня. Я страдаю из-за его отсутствия, но это преимущественно не тоска по деньгам и славе – хотя не буду глупому отрицать их важность для меня – а острое желание освободиться от чувства одиночества. Я и пишу только, чтобы избыть своё одиночество. Я вовсе не жажду активного общения с людьми – в этом, как раз, я нуждаюсь менее всего. Мне себя с избытком хватает, я переполнен собой. Изоляция от ближнего окружения, от конкретных скучных людей – мой давний добровольный и принципиальный выбор. В этом смысле, одиночество – мой бог, моя неприступная крепость. Но чем больше ты отдаляешься от ближайшего окружения, не находя в нём отклика своим мыслям и чувствам, тем острее у тебя желание найти всё это в виртуальном мире, через своё творчество, через успех, который важен для тебя, как подтверждение наличия единомышленников – что не одинок ты и не покинут всеми в этом бескрайнем мире.

Противоречие, однако, в том, что путь к вершинам – это другой путь к одиночеству. На пике, тебя видно издали, и те, далёкие восхищаются тобой, но рядом уже нет никого, и некому руку подать.

Давно подмечено, что люди, добившиеся заметного общественного признания, как-то сразу оказываются в вакууме: друзья и знакомые покидают их и стараются держаться подальше. Это вполне объяснимый



феномен, так как для большинства людей совершенно невыносима мысль, что вчерашний его друг, над которым он мог и подшучивать, вдруг стал знаменитостью, с которым и разговаривать надо, чуть ли не стоя. Но намного тяжелее тем, кто, имея несомненные на то права, общественного признания по тем или иным причинам не добился, а вот друзья, почувствовав его более высокий уровень, тем не менее, покинули его. И что он может сделать, как понизить свой уровень? Ох, и без шапки тяжело Мономаху нести свою голову! Это зря говорится, что друзья познаются в беде; в беде тебе может протянуть руку помощи и сердобольный прохожий, а вот искренне обрадоваться твоему большому успеху, настоящему счастью может только истинный друг. Для этого надо обладать величием души, мало кому это дано.

Что касается трудности признания, то не стоит из-за этого особенно расстраиваться: ведь чтобы оценить чужой талант, надо быть почти столь же талантливым, так что чем крупнее талант, тем труднее ему найти тех, кто действительно способен его оценить. По этой логике, ты должен, наоборот, жаждать *непризнания* – это как раз и будет говорить об исключительности твоего таланта. Сможешь ли ты подняться на такой уровень, когда признание будет тебе действительно безразлично и даже противно? Удавалось ли это кому-нибудь? Может ли художник действительно так возвыситься над теми, кого презрительно называет «толпой»?

Добиться, добиться камешков и стоять под их градом, не чувствуя боли, а только счастье оттого, что вот, довел их наконец до их естества, до полного раскрытия истинной их сущности, и отделился, таким образом, от них окончательно, целиком и безвозвратно, и именно потому *ты* не можешь более быть среди них, а вовсе не потому, что они не принимают тебя. Вот, великий Шиллер высказался довольно резко: «Есть только одна форма отношений с публикой, в которой никогда не расквашаешься, – это война с ней». Если бы он употребил вместо слова «война» слово «игнорирование», я бы посчитал его одним из таких исключений. Злое слово «война» выдает его неудовлетворенные амбиции. Но это так естественно...

Сегодня моё занятие (я не говорю – профессия) – Слово. Я довольно уверенно держу его в руках; главное – я не боюсь его. По-настоящему умный человек никогда не думает, а тем более не скажет, что он не может ляпнуть глупость. Потому он живёт легко и беззаботно. И пишет так же. В отличие от тех надушенных дураков, которые, смутно догадываясь о своих действительных возможностях, более всего боятся сморозить глупость, и потому непрерывно «морозят» их.

Вне зависимости от оценок окружающего мира, ощущаю ли я себя настоящим писателем? Отвечаю честно: не знаю.

Говоря совсем уж откровенно, должен признаться, что никогда не ощущал себя, что называется, настоящим специалистом в какой-либо отрасли – ни инженером, ни журналистом, ни тем более писателем, хотя во всех сферах удаивался немалых похвал. Полагаю, именно эта неуверенность в собственных силах была главным для меня препятствием на пути к успеху, но я и не очень сожалею об этом – в конце концов, каждый, в том числе и великий диктатор, и позаборный бомж, проживает одну-единственную короткую свою жизнь, и, по большому счёту, как мало они отличаются друг от друга! Ну, и я в этом ряду где-то посередине.

Надеюсь, столь подробный рассказ о собственных переживаниях не покажется вам слишком скучным, поскольку почти уверен, что сходные чувства владеют всяким, кто осмелился взять в руки перо.

А возвращаясь к первоначально поставленному вопросу, остаётся только сказать, что истинным писателем является тот, кто живёт полноценной, *прояснённой*, как определил Пруст, жизнью, притом он может и не писать ничего, но своим примером, своей жизнью служить делу оздоровления нравов – не это ли истинное назначение литературы?

# ВЛАДИМИР СМИРНОВ

## ГОЛГОФА ОДЕССКОЙ КИРХИ

эссе

Помню далёкие военные годы при румынской оккупации. Мы с бабушкой Таней идём в гости к бабе Жене – матери моего умершего в 1938 году отца – на улице Манежную, 52. Путь от Екатерининской площади, дом №5, где мы жили с бабушкой в квартире №20, до Манежной достаточно далёкий. Особенно для меня – пятилетнего или шестилетнего мальчика, у которого подруга бабушки Тани – доктор Павлова – обнаружила порок сердца и недостаток в тазо-бедренном суставе, из-за чего постоянно при утомлении болела правая нога (потом оказалось, что бедро было деформировано, очевидно, вследствие протекавшего и самостоятельно зарубцевавшегося туберкулезного процесса).

Баба Женя жила тогда одна в «двухкомнатной квартире» на втором этаже дома с общим для всех жильцов общим деревянным балконом-коридором. «Двухкомнатную квартиру» действительно нужно взять в кавычки, ибо никаких удобств, кроме умывальника на маленькой кухне не было, в туалет нужно было бегать во двор.

И эту квартиру через несколько лет сделали ещё коммунальной!

Бабушка Женя недавно лишилась своего внука Толи, которого в самом начале войны ударило сорвавшееся полено перекрытия крыши во время бомбёжки. Толя остался с бабушкой после того, как его мать – моя родная тётя Оля, лишившись первого мужа и выйдя во второй раз замуж за немца-колониста по фамилии Франц Штольц, после раскулачивания была вместе с ним выслана на север, куда-то в Сыктывкар. Баба Женя, лишившись в 1938 году сына – моего отца, а затем и внука, очень тосковала, конечно, и очень нуждалась. Частная торговля, разрешённая при румынах, позволяла ей зарабатывать себе на жизнь за счёт перепродажи яиц на Новом базаре. К подобной борьбе за жизнь она привыкла. Об этом свидетельствует письмо моего отца от 10 октября 1927 года, адресованное ректору Института Народного хозяйства Арнаутову<sup>1</sup> с просьбой о назначении ему стипендии, так как он с матерью очень нуждался хотя бы в каком-то обеспечении продуктами, будучи больным гемофилией. Видимо, ректор Арнауты помог моему отцу (см. об Арнаутове В.А. 1-ю часть серии книг «Реквием XX века» – В.С.), так как он закончил учёбу и потом успешно преподавал в ряде вузов, получив звание профессора.

Но вернёмся к теме нашего рассказа. Когда мы проходили с бабушкой через Новосельскую (Островидова) мимо лютеранской Кирхи, какие-то пожилые женщины пригласили бабушку вместе со мной зайти в Кирху, чтобы отдохнуть и послушать службу. Там в это время как раз начиналась служба -молебен.

Мы зашли в Кирху. Помню высокие стрельчатые своды и аккуратные ряды скамеек с высокими спинками. Мы сели. Раздались величественные звуки органа. Я тогда ещё не мог знать о том, что со зданием храма, в котором мы находились, связана трагедия великого музыканта С. Рихтера и его отца. Я тогда даже не понимал, что готический шпиль здания Кирхи был обезглавлен. Как я узнал в дальнейшем, ещё до войны специальным механизмом с верхушки храма были сорваны кресты и образовалось отверстие в шпиле, направленное в небо. Злые языки говорили, что через это отверстие с помощью огня изнутри здания Кирхи якобы направлялись бомбардировщики на город. И якобы этим занимался приглашённый из Житомира в Одессу бывший органист Кирхи, замечательный музыкант, учившийся в Вене, отец уже тогда известного пианиста Святослава Рихтера. Его звали Теофил Рихтер и его арестовали на основании сведений, предоставленных НКВД агентом того же НКВД Оскаром Юндтом, служившем в немецком консульстве, помещавшемся на углу Садовой и Петра Великого, лакеем и курьером.

Консулом в 30-е годы был высокообразованный немецкий дипломат Пауль Ротт, имевший двух сыновей и дочь, с которыми дружил молодой тогда Святослав Рихтер, а его отец Теофил Рихтер давал им уроки по фортепьяно. Следовател НКВД обвинил Теофила Рихтера в связях с немецким консульством,



которого уже в 1935-1936 годах в Одессе фактически не существовало. По данным, связанным с архивно-следственным делом №12298 (см. 1-ю часть серии книг автора «Реквием XX века» – В.С.) Теофил Рихтер был расстрелян в ночь с 6 на 7 октября 1941 года, незадолго до прихода в Одессу оккупационных войск.

Недоразумения в отношении причин и обстоятельств злодейской расправы с Теофилом Рихтером послужили злосчастной причиной трагедии в жизни великого музыканта и его разлада с матерью в последующие годы.

Потом свидетель срыва с крестов со здания Кирхи, мой коллега по работе доцент Раввей говорил мне, что когда кресты и колокола упали на землю, долгое время в окружающем районе города по улице Островидова стоял небывалый, подобный грому, звон.

Прошло много лет, но судьба опять столкнула автора с событиями, происходящими вокруг здания немецкой лютеранской Кирхи. После окончания войны здание Кирхи перешло в ведение Одесского электротехнического института связи (ОЭИС) имени А.С. Попова.

В те годы я учился в школе Столярского, где познакомился и сдружился с преподавателем музлитературы В.А. Швецом. Эта дружба учителя с учеником сохранилась вплоть до конца дней В.А. Швеца.

Незадолго до смерти В.А. Швеца завещал мне свои многочисленные рукописные работы вместе с остальным имуществом, включая дневники, которые он вёл с 1940 до 1991 года, когда он умер. В дневниках оказались записи, осветившие судьбы многих выдающихся одесситов. Подробности их жизни и печальной судьбы можно было почерпнуть только из материалов архивно-следственных дел, хранящихся ныне в УСБУ и Областном архиве. Особенно важными оказались свидетельства В.А. Швеца в отношении семьи С. Рихтера, которые позволили выяснить некоторые ранее скрытые мотивы действий её членов.

(Дневники В.А. Швеца автор публиковал в основном за свой счёт в пятитомнике серии книг «Реквием XX века». Первая часть «Реквиема» выдержала повторное, дополненное и исправленное издание. Издание 5-й части около 50% оплачено Областной администрацией Одесской области – В.С.).

В дальнейшем, после окончания школы и неудачной поездки в Москву с попыткой поступления на Философский факультет МГУ, автор поступил на Физико-математический факультет ОГУ, потом работал 2 года в Полтаве, в Одесской астрономической обсерватории и, наконец, уже после защиты кандидатской диссертации в 1968 году поступил на работу в должности старшего преподавателя кафедры физики в ОЭИС имени А.С. Попова.

Оказалось, что большая часть окон института обращена как раз на здание Кирхи, посещение которой во время оккупации врезалось в мою память. Одно из зданий общежития института было построено на месте Немецкой школы, где учился С. Рихтер. Вид кирхи всегда радовал меня, так как я всегда восхищался этим величественным зданием, хотя оно на моих глазах долгие годы разрушалось не без воздействия, как говорят, окружающей враждебной среды.

Вначале, после войны, как говорили мне товарищи по работе и бывшие студенты института, в Кирхе было каким-то образом устроено студенческое общежитие. Потом здание было каким-то образом переделано под спортзал, а потом появилось решение о его разрушении.

Об этом говорила мне и очень уважаемая мною заведующая кафедрой физики Елена Леонидовна Иванова, которая очень помогла мне в начальный период преподавательской работы, которая была для меня вначале достаточно сложной. Она как-то сказала мне, что здание Кирхи собираются разрушить и на его месте построить 14-этажный корпус института. От достаточно компетентных людей (профессор А. кафедры ТОЭЦ) я значительно позже узнал, что под здание кирхи в то время были заложены заряды и ожидалось разрешение из Москвы на его подрыв. Но судьба была благосклонной к этому, спасённому шедевру архитектуры.

О спасении кирхи я узнал со слов ныне профессора Консерватории (ныне Музыкальная академия). Будучи студентом консерватории, ныне профессор Юрий Дикий отправился в Москву и добился приёма у министра культуры (говорят, тогда была ещё при власти Фурцева), которая отменила подрыв здания.

После этого уже пятиэтажный, а не 14-этажный новый корпус института был отстроен, слава Богу, не на месте Кирхи, а на отведенном пустыре, а здание Кирхи с тех пор было предоставлено свободному саморазрушению. Здесь трудно указать точные временные сроки, но в дальнейшем, как я понял, администрация ОЭИС не только не заботилась о здании кирхи (да это и не входило, видимо, в её обязанности), но стремилась к его порой даже насильственному разрушению.

Об этом говорят не только высказывания очевидцев, но и открыто наблюдаемые факты.

Так, один сотрудников института, близкий к хозяйственной части, неоднократно говорил мне, что проректор (и не один он) по хозяйственной части Тягнирядно, стремясь разрушить здание кирхи, сливал

под него институтскую канализацию, но при этом больше страдало здание самого института. Так, после слива канализации под здание кирхи образовались трещины в основном здании Института связи.

Что касается высказываний по поводу попавшего в немилость архитектурного шедевра, то их было множество. Я удивлялся, когда видел совсем ещё молодого человека, секретаря парткома Ляхова, отец которого преподавал марксистско-ленинскую философию, когда он, как мальчик, прыгал от радости, восклицая: «Кирха горит! Ура!». Это было в тех редких случаях, когда резвящиеся мальчишки, которые шныряли по пустовавшим лестницам заброшенного здания, разжигали на стенах костры. Вызывать пожарников в нашем институте при этом никто не собирался.

Об одной из причин такой ненависти к архитектурному сооружению, на которое ориентировались всё в городе и которое, в общем, всегда украшало одесский ландшафт, как-то мне высказал начальник полтона Института связи по фамилии Брежнев после одного из партсобраний: по его мнению «это здание – символ немецкого колониализма». Хотя в то время, насколько я знал, немцев из одесской области всех выселили и заменили корейцами. При этом Брежнев похвалялся, что нужно способствовать гибели Кирхи.

Как ни странно, но подобное действие вскоре после этого разговора действительно произошло. Уже в 80-е годы, когда провозглашались идеи неосуществлённой горбачевской перестройки, я написал статью в «Вечернюю газету», где писал об озеленении окружающей Института связи территории. При этом я высказал мысль о том, что «озеленение», которое происходит за счёт того, что из здания кирхи вырастают деревья, не радует.

Возможно, что именно эта тема заинтересовала редактора газеты Б.Ф. Деревянко. По поводу Кирхи последовал ряд статей газеты, одну из которых я нашёл в своём архиве. Это газета от 19 марта 1997 года с передовой статьей, подписанной Евгением Голубовским. В статье говорится: «Вчера утром председатель Одесского горисполкома В.К. Симоненко проводил первую рабочую планёрку на Кирхе, где начинаются ремонтно-восстановительные работы.

Вначале произошёл обход стройплощадки. Но назвать стройплощадкой территорию у Кирхи нельзя. Институт связи всё ещё не убрал гаражи, подсобки, не украшающие институт и мешающие будущим работам. Да, у строительства появился штаб в общежитии института связи, на первом этаже. Каждый, желающий принять участие в работах, мог сообщить об этом по телефону (указан номер).

Во вторник к прорабу на стройке после публикаций в «Вечерней газете» обратилось 19 человек. В списке записаны: плотник В.Д. Федорчук, доцент Института связи Смирнов В.А., маляр Улянич К.П., студенты Художественного училища и др.

После восстановительных работ придёт черед переоборудования зала под концертный орган. В конце статьи указывались номера счетов, на которые следовало переводить деньги на ремонт Кирхи. Помнится, мы с женой дали какую-то сумму денег прямо рабочим, которые были в «штабе стройки», т.е. на первом этаже общежития института.

Так Кирху в это время собирались перевоплотить в Городской концертный орган зал, хотя прекрасный, имевшийся там ещё во время войны орган был давно уничтожен.

Далее с Кирхой произошло то, что и с Домом пионеров в бывшем Воронцовском дворце: после ремонта там разразился сокрушительный пожар.

Действительно, в кирху завозили в изобилии лес, солярку, стены крепились какими-то железными скрепами, чтобы здание не развалилось. Ещё чаще из кирхи этот же лес куда-то увозили, но идеология институтского Брежнева продолжала витать в воздухе, в частности, и в нашем Институте связи.

Что готовилось при «ремонте» здания на самом деле, сказать достаточно трудно. Интересным явился тот факт, что В.А. Швецу 21 октября 1943 года (см. его дневники, напечатанные в серии из пяти книг «Реквием XX века» – В.С.) приснилась Кирха, объятая пламенем. Это был поистине «вещий» сон! В день Победы 9 мая 1976 года Кирха действительно запылала.

Как мне говорил один из знавших подробности этого дела проф. А., в центр зала Кирхи была поставлена бочка с соляркой, которая в выбранный день была подожжена. Капли кипящей и горячей жидкости разбрызгивались по зданию и все леса, сооруженные в зале Кирхи, запылали.

Так произошло ещё одно преступление людей, которые «не ведали, что творят».

В конце концов здание Кирхи было взято под опеку настоящих хозяев. Слава Богу, что справедливость восторжествовала над злобой и духовным маразмом!

Будем же хранить этот шедевр пламенной готики и пусть это здание приносит только радость и вдохновение всем, кто в него заходит!

<sup>1</sup> Областной архив: фонд Р-129, опись №1, ед. хранения № 2462.



# «ДРУЖБА ЖУРНАЛОВ»

## ЧИТАТЕЛЯМ «ЮЖНОГО СИЯНИЯ»

С радостью представляю читателям «Южного сияния» международный литературный альманах «Золотое руно» и, пользуясь случаем, его младшего брата, электронный литературный портал с тем же названием. Вышло уже три номера альманаха, за 2014, 2015 и 2016 годы, готовится четвёртый номер «Золотого руна», который мы рассчитываем выпустить этой осенью; сетевой портал «Золотое руно» – это совсем новый проект, стартовавший в марте 2016 года. Оба издания осуществляются в Москве, но мы горды тем, что печатаются у нас не только московские авторы, но и из многих городов России и стран зарубежья. В альманахе в разной мере представлены авторы, проживающие на Украине, в США, в Германии, Австралии, в Израиле, ещё больше – выходцы с Украины. Что касается портала, ареал его распространения значительно шире. Среди наших читателей русскоязычные жители почти сорока стран.

Предметом нашей гордости является и то, что у нас печатаются и зрелые мастера, и авторы менее известные. Такое соседство способствует популяризации новых имён. Ещё одна особенность альманаха: у нас дружно сосуществуют авторы патристического и либерального направления – при явном преобладании последних. И, наконец, наряду с поэзией и прозой мы особое внимание уделяем публицистике и критике: в трёх вышедших номерах альманаха «Золотое руно» были опубликованы замечательные исследования-эссе Евгения Рейна об Анне Ахматовой и Иосифе Бродском, статьи Льва Аннинского о Светлане Алексиевич, о Евгении Евтушенко, его же замечательное исследование о творчестве писателя Бориса Минаева, спорная, но и интересная статья Елены Сафроновой к 200-летию Михаила Лермонтова, эссе Льва Альтмарка о Бродском. В четвёртом номере альманаха я рассчитываю опубликовать собственное критическое исследование: «Захар Прилепин: между художественной правдой и ложной идеей» – ныне это исследование представлено на портале. Кроме литературоведческих материалов мы широко публикуем материалы политологические, культурологические, исторические.

Двери альманаха и особенно портала широко открыты для гостей с Украины, в частности, для членов Южнорусского Союза Писателей. На наших страницах уже были представлены многие нынешние и бывшие одесситы, готовятся и новые публикации.

С удовлетворением представляем наших авторов. Среди них такие известные мастера, как Евгений Рейн, Кирилл Ковальджи, Анна Гедымин, Роман Сенчин и менее известные, но, бесспорно, талантливые.

*Главный редактор  
литературного альманаха «Золотое руно»  
и одноименного электронного портала  
Леонид Подольский*

---

**ЕВГЕНИЙ РЕЙН****ДОМ АРХИТЕКТОРОВ***Памяти отца*

Где Штакеншнейдер выстроил дворец,  
 На Герцена (теперь опять Морская),  
 Меня туда водил ещё отец  
 В год довоенный, за собой таская.  
 В сорок шестом я сам туда ходил,  
 В кружок, где развлекались акварелью,  
 Но никого вокруг не восхитил,  
 И посеючас я чувствую похмелье.  
 «Эклектика», – сказал искусствовед,  
 когда спросил я через много лет,  
 а он махнул рукою безнадежно.  
 Эклектика... Ну как это возможно?  
 Ведь мой отец погиб в сорок втором,  
 А я мешал здесь охру и краплаки,  
 И это был не просто детский дом,  
 А способ жизни на сырой бумаге.  
 Отец и сам неплохо рисовал,  
 И на меня надеялся, быть может,  
 Но если я войду в тот самый зал,  
 То догадаюсь, что меня тревожит,  
 Ведь я не сделал то, что он велел,  
 Что завещал – искусство для искусства.  
 Мой бедный дар обрушился в раздел,  
 Где всё так своевольно и не густо.  
 Теперь здесь ресторан, голландский клуб,  
 И только по краям – архитектура,  
 Но, расспросив, меня пускают вглубь,  
 Быть может, узнают, но как-то хмуро.  
 Эклектика! Но не согласен я,  
 Досада быть эклектикой не может,  
 Печаль отца, потёмки осень,  
 Карает сына, узнаёт и гложет.

**У АРДОВЫХ**

Когда я в эту комнату зашёл,  
 Они сидели за столом так долго,  
 Что подустал и разорился стол,  
 Заветрелась закуска и завоггла.

А в захмелевшем воздухе густел  
 Осадок разговоров или шуток,  
 Перед прощаньем возникал раздел,  
 Необходимой жизни промежутков.



Но было, оставалось пять минут  
Ещё сказать и выпить на дорожку,  
Закончить миром этот страшный суд,  
И вновь начать не страшный понемножку.

В передней не толпились у пальто,  
А уходили прочь поодиночке.  
Борис и Миша говорили, что  
Нельзя остановиться на полстрочке.

Но утро обещало долгий день,  
Шифрованную молоком страницу,  
И одному – безбожье деревень,  
Другому – бегство в жёлтую больницу.

А я остался ночевать, и спал  
В той комнатухе старшего из братьев,  
Где черновик Ахматовой мелькал,  
Как снег в окне, потёмки разлохматив.

И снился мне какой-то дружный век,  
В котором все усядутся по круту,  
Где остановка и неспешный бег  
Вдоль времени и вопреки испугу.

#### СЭНДИ КОНРАД

Десять и девять, бегун стометровый  
и лейтенант белгородской милиции,  
Саша Кондратов – живой и здоровый,  
как мне твои перечислить отличия.  
Выученик формалистов и Проппа,  
мистик числа и наследник Введенского,  
что ты подскажешь мне нынче из гроба,  
гений, разведчик разброда вселенского?  
Ты, почитавший и острова Пасхи  
идолов, йогов конфигурации,  
красивший крыши дворцов без опаски,  
в сумке носивший свои декларации,  
Сдавший в запасник бурятского Будду,  
Конрадом Сэнди себя называвший,  
всё пропущу, а тебя не забуду,  
ты, пентаграммой себя повязавший.  
Книжки строчивший для «Гидроиздата»,  
трубки куритель, любитель пельменей,  
нету таинственнее адресата –  
азбука Морзе и ток переменный.  
Ты, не закончивший дела-романа,  
«Здравствуй, мой ад!» и дошедший до края,  
живший в лазури на дне котлована,  
смыслом погибели буйно играя.  
Место нашедший в Казанском соборе,  
после работы на Мойке и Невском,  
ты, заявлявший в ночном разговоре:  
«Буду я к Вечности вечным довеском».

Всё это сбудется, Саша Кондратов,  
о, Сэнди Конрад, из дали, из праха,  
из новолунья, из чёрных квадратов,  
лучший из лучших, бегун-растеряха.

### КРАСИЛЬНИКОВ

*«Хиромант и некрещённый человек М.К.  
послал мне безбедное существование до 55 лет»  
(из письма Писифа Бродского к Евгению Рейну)*

Красивый дылда с бледной рожей,  
На Маяковского похожий,  
Во сне является ко мне,  
За пазухой – бутылка водки,  
В запасе – правильные сводки,  
Он в прошлом греется огне.

Он – футурист, он – бюджетянин,  
Бурлюк им нынче прикарманен,  
Он Хлебникова зачитал,  
Он чист, как вымысел ребёнка,  
И чуток, точно перепонка,  
Что облепила наш развал.

Зачем-то Кедрин им обруган,  
Он нетерпим к своим подругам,  
Одну он выгнал на мороз,  
Он отсидел четыре года,  
Пьян от заката до восхода,  
До Аполлинера дорос.

Он говорил, а мы внимали,  
Он звал нас в сумрачные дали,  
Где слово распадётся в прах,  
Где Джойс и Кафка лишь начало,  
Где на колу висит мочало,  
Туда, туда на всех парах.

Работал в «Интуристе» в Риге,  
Влачил не тяжкие вериги,  
И сбросил их и – утонул,  
В истериках, скандалах, водке,  
Посередине топкой тропки,  
Смешав величье и разгул.

### В ПОСЁЛКЕ

В посёлке тишина...  
Не меркнет свет, не меркнет...  
Собачий лай...  
И только ткань небес  
Серятиной немаркой  
Уходит через край.



И только август ждёт,  
И будет ждать исправно  
До сентября.  
И что нам свет небес,  
Он отошёл недавно,  
Во тьме горя.

Мы проживаем здесь  
И доживём до края,  
И, может быть, умрём,  
И снова небеса,  
Сникая и сгорая,  
Закончат сентябрём.

#### КЛАДБИЩЕ В ПЕРЕДЕЛКИНО

Здесь сыновья под боком у отца  
И женщины великого семейства,  
Проросшие из праха деревца  
И три сосны облюбовали место.

Сегодня, в непроглядный летний час  
Могильщики работают исправно,  
Выравнивая уровень «на глаз»,  
И то, что скрыто, скоро станет явно.

Объявятся и урны, и гроба,  
И корни переделкинского леса,  
И от ограды ржавая скоба,  
Отрытая из тьмы без интереса.

Но если заглянуть в глубокий схрон,  
И бросить комья и цветы на крышку,  
Жизнь обернётся как палиндромон,  
Как срез могильный, – точно, без излишку,

До буквицы, до первого словца  
Той рукописи, выросшей из шутки,  
Здесь сыновья под боком у отца,  
Чтоб слушать чтение сказки до побудки.

#### КОМАРОВО

От станции всего лишь полчаса,  
Дорога к озеру ведёт через подлесок,  
И я услышу ваши голоса,  
Взлетающие возле занавесок.

Там, в комнате уже накрытый стол,  
И кто-то говорит ещё невнятно,  
Но ты настойчив, юный произвол,  
Спирт на тебе не оставляет пятна.



И всё равно – июнь или июль,  
А, может, август календарь тревожит.  
Холодный борщ прольётся из кастрюль  
И молодой картошки нам подложит.

Итак, товарищи, всё впереди ещё,  
Планеты льют лучи над головою,  
И, опираясь на моё плечо,  
Сидит Судьба и дремлет с перепоею.

Сквозит в заливе мелкая вода,  
Атлантика дымит за горизонтом,  
Под утро засыпают города  
В непроходимом воздухе азотном.

Но вышиты бутылки, и пора –  
За лесом завывает электричка,  
И гаснет под созвездьем Топора  
У табака помедлившая спичка.

#### «ПЕЙЗАЖ В ОВЕРЕ ПОСЛЕ ДОЖДЯ»

Н.

Осины, ивы около запруд,  
И заросли осоки, и дорога,  
Болото, кочки – всё, что есть вокрут, –  
Великолепно, в сущности – убого.  
Искусство, необъятный твой пейзаж  
Нас помещает в бездны сердцевины,  
Какая точная, естественная блажь,  
Художник, как Адам, возник из глины.  
Но если отойти в далёкий зал,  
Стать на границе лучших откровений,  
И высмотреть, что быстро срисовал  
Бродяга, сумасшедший, новый гений.  
Там паровозик на краю земли,  
Повозка со снопом у переезда,  
Пустующая лодка на мели,  
Всё движется намеренно и резко.  
Всё вместе с ним. Отбросив свой мольберт,  
Сам живописец – нищий и богема,  
Спешит в Париж, чтоб выполнить обет,  
Из Амстердама или Вифлеема,  
Теряя тюбики, чужой абсент глуша,  
Среди народных скопищ и уродов,  
И соскребая лезвием ножа  
Пронзительные очи огородов.

#### ЦАРСКОЕ СЕЛО

«...Смотри, ей весело грустить  
Такой нарядно-обнажённой...»,  
И городочек полусонный,  
И парк лицейский сторожить,



Песком хрустеть, тревожно стыть  
Среди листов его наклонной,  
И у Руины за колонной  
Друзей и вспомнить, и простить.  
И, глядя в календарь бездонный,  
Решать здесь: быть или не быть...

---

## КИРИЛЛ КОВАЛЬДЖИ

---

\*\*\*

Двадцатый век. Россия. Что за бред?  
Сюжет невероятного романа,  
Шальное сочиненье графомана,  
Где не наложен ни на что запрет.

От океана и до океана  
Империя, которой равной нет,  
Вдруг распадется и из мглы дурмана  
Преображённой явится на свет.

Россия и двуглавой, и двуликой,  
Растоптанной, великой, безъязыкой,  
Отмеченной судьбою мировой

Встаёт до звёзд и валится хмельной,  
И над её последним забудыгой  
Какой-то гений светится живой.

\*\*\*

Россия – сутки в поездах.  
Простор – вопрос вопросов.  
Спор в коридоре, храп впотьмах,  
жилище на колёсах.  
Спор о житье-бытье в купе  
и в тесноте на полках  
о власти, будущем, судьбе,  
жизнейских кривотолках.  
Свобода, исповедь... Вагон  
Какие слышит речи!  
Здесь откровенности закон  
С гарантией невстречи.  
Народ вскипает на волне  
прекрасных, бесполезных  
идей – нет ни в одной стране  
длинней дорог железных.  
Успех и горе, смех и грех...  
Сошлись, спасаясь в беге,  
по паре тварей – этих, тех,  
как в ноевом ковчеге.

Набит Россией весь вагон,  
а те, что прочих выше, –  
ну, нечто вроде vip-персон –  
те, верно, там, на крыше...

### В ТЕ ГОДЫ

Как на площади Восстания – высотка,  
сталинская красotka:  
шпиль до неба!

Как на этаже двадцатом  
свадьба, а на десятом  
развод  
с кулаками и матом

Как на восьмом рожают  
на седьмом умирают  
как на втором обмывают медали  
под звон бутылок

как в подвале –  
пуля в затылок!

\*\*\*

Ну, как вы там в раю? В неведении, что ли,  
Что существует ад и вопли вечной боли?  
А под землёй вулкан – не видно сквозь асфальт?  
В большие города с неоновым фасадом  
Вползают смертники, а с майским райским садом  
Соседствует Содом и Бухенвальд!  
Не внемлет слух, не различает око  
Хотя бы одного среди рабов пророка!

\*\*\*

Пусть по заслугам поэтам награда  
или премия, но порой  
на полке книги из первого ряда  
перекочёвывают во второй,  
или навек покидают полку,  
когда от них поубавилось толку.  
Переменчивая библиотека –  
литературное зеркало века.

### ФЕСТИВАЛЬ

Поэты читают стихи друг другу  
у моря в Дворце красоты.  
В саду противно кричат павлины,  
как озабоченные коты...





Поэты вручают друг другу премии,  
потом гурьбою идут на фуршет...  
Есть южное море, есть ветер времени,  
небо есть,  
а читателей нет...

\*\*\*

Айседора Дункан и Марина Влади,  
Вы спасение ради... увы... се ля ви...  
У Сергея стакан, игла у Володи,  
неформат европейской любви.  
Потому, что Россия со счастьем в разводе,  
В разладе, не в моде – зови, не зови...  
Но бессмертье Серёжи, бессмертье Володи –  
В беспределе русской любви!

#### СЕРДЦЕ ДРУГА

*Памяти поэта  
Рудольфа Ольшевского*

Бронзовый, юркий, глазастый,  
с солнцем одесским в зубах,  
ах, по столице молдавской  
Рудик ходил на руках!

Он – колесом по бульвару,  
на анекдоты мастак,  
с голым талантом на пару  
этот весёлый босяк.

С голым талантом и солью  
причерноморской волны,  
с горькой мальчишеской болью  
неизлечимой войны.

Жизнь нечаянной дрожью  
в сердце простого юнца  
высекла искру божью  
и превратила в певца.

Время поспело иное.  
Рудик по лестнице лет –  
вверх, а болит больное  
сердце твоё, поэт.

С какой тоской безответной  
тебя от молдавской земли  
однажды высотные ветры  
за океан занесли?

Чужая бессильна милость:  
чужим чудесам вопреки,  
сердце остановилось  
на середине строки.

Знаю, останется с нами,  
будет живым всё равно –  
к вам он придёт стихами,  
а мне без него – темно...

—

## ВАЛЕРИЙ ЛЕБЕДИНСКИЙ

### НОСТАЛЬГИЯ

На Говардовской,  
Той, что спускалась к Днепру,  
В тихой заводи улицы Витте –  
Вот истоки того, что так близко перу,  
Хоть и карты судьбы моей биты.

...А потом,  
После памятных шляхов моих,  
Тихих мест празаветного детства,  
Сорок лет  
я вбирал  
сокровенное  
в стих –  
Те края, как алмазы наследства.

Сорок лет...  
Это не был поставленный крест  
На дальнейших свиданьях с Херсоном,  
Только образ  
душой  
не покинутых мест  
Я в Москве ощущаю весомо.

Словно ссылке из мест моих памятных дней,  
Отчужденье от их восприятий  
Всю дальнейшую суть,  
Где былое полней,  
Предстаёт на прощальном закате.

...Вот глубинный,  
над пыльными вихрями,  
свод.

И пронизана ими, увита  
Тишина,  
Где скрипенье убогих подвод  
Вдоль Говардовской – к улице Витте.



К финским домикам – тем, что вершили Херсон,  
Где за ними – глухой жилпосёлок.  
Скрип подвод, он порою врезается в сон,  
Болевой, он как будто бы колок...

И пускай наши дни всеобъял Интернет,  
Скорость их с ним стремительно слита, –  
По Говардовской  
вверх –  
достопамятный след  
К тихой заводи улицы Витте...

### ДНЕПРОВСКОЕ РЕТРО

...Сражённая пылью, закрученной ветром,  
Упала на градус шальная жара.  
О, юности дальней днепровское ретро,  
Ты вновь оживаешь под скрипом пера.

По спускам к Днепру с раскалённой Забалки  
Я снова, как в юности, еле бреду.  
Жара всеохватна. К ней нету закалки.  
Мне легче в мороз пробираться по льду.

И в душном, безликом, сухом, внеозонном  
Застыли пред памятным взором извне  
И пыльные бури над белым Херсоном,  
И пляж островной на другой стороне.

А я всё иду, проплываю рекою,  
А буря всё крутит песчаную прядь...  
О, боже... Глаза прикрываю рукою –  
Их вихрем песка застилает опять.

### МИР ПЛАВНЕЙ

...А в плавнях камыши  
Как будто крыты лаком.  
Мне любо в той тиши  
С полночным полумраком.

О, стимул для пера –  
Мир плавней у Херсона!  
Гладь полного Днепра  
Черна. Устала. Сонна.

И странен жёлтый строй  
Стеблей, застывших стоя.  
А воздух – с теплотой  
Предлетнего застоя.

И вял, и грустен плеск,  
И борт у яхты ходок,  
И бледен лунный блеск  
Пустых соседних лодок.



Вот так: любовь к Днепру  
В глухой ночи херсонской.  
...А ночь ползёт к утру,  
К рассветной лени солнца.

И я на днище лёг  
В тени стеблей примятых...  
Украина. Мой порог.  
Конец пятидесятих.

\*\*\*

*В насыщенную среду ассоциаций...*  
К. Паустовский

В насыщенной среде ассоциаций,  
Где юных лет заветные места,  
Вдохну я снова аромат акаций,  
Пройду у пирса около моста.

Спущусь к Днепру Торговым переулком,  
Переплыву на катере на пляж.  
Скрипят борта, гудки взывают гулко,  
Песок и зыбь – как сказочный мираж.

Они со мною: лишь прикрою веки –  
Пред взором снова  
Детство и Херсон,  
И бродит юность в отошедшем веке,  
И груз годов пока что невесом.

О, дальний опыт двух семей столичных,  
О, стылость поздней жизни холостой,  
Пока вас нет,  
Я весь во днях тепличных,  
Где южных трав лекарственный настой.

И всё же...  
Мыслей под пером капризным –  
Калейдоскоп в насыщенной среде!  
В ней было счастье. Было горе тризны.  
Привычен путь к нежданной беде.

Увы, не стало папы, мамы, Аллы,  
Пополнил прах насыщенность среды,  
И память гложут горькие обвалы  
И кладбища с засильем лебеды.

И к жизни тяжкой  
Горы иллюстраций,  
Летающих дней отравленный настой, –  
Вот суть среды моих ассоциаций,  
По мере лет и грозной, и густой.



тягостное впечатление... Старик напоминал льва, но льва, потерявшего клыки и когти, изгнанного из стаи, издыхающего...

Подобных личностей в Ленинграде становилось меньше и меньше. Город светлел, молодец, звенел радостью жизни. Но нет-нет, да и выползали из нор и чердаков тени прошлого и падали на панелях.

– А костыли куда его? – спросил леккома санитар Горшков; старика подобрали с костылями.

– Приставь к стене пока. Как отойдёт, инвентаризируем. А может, родня отыщется.

Лекпом хотел добавить, что подобранный не из простых – одет был в изношенный, но дорогой когда-то спортух из настоящего шалона, во внутреннем кармане находились вырванные из книг листочки с надписями поэтов Блока, Есенина, Сологуба, а также удостоверение, что старик этот отбыл срок заключения по статье 58-10, освобождён, и «имеет право проживать на всей территории Союза ССР». Это было странно – в город Ленина подобный общественно-вредный элемент с недавних пор не особо пускали. Но, может, он каким подвигом искупил...

И вовсе он не старик – этому заросшему седыми волосами, с серой истончившейся кожей человеку сорок семь лет. Иван Максимович Поддубный в пятьдесят пять всех борцов Северо-Американских Соединенных Штатов победил, а он, лекпом, в свои пятьдесят два каждое утро на турнике вертится...

Да, не стоило рассказывать о новом больном всем подряд. Мало ли... И лекпом, почему-то рассердившись, вместо того, чтоб уйти вслед за санитарями, строго спросил парня с перевязанной головой:

– Как, Дегтярников, мозг встаёт на место?

– Потихоньку.

– М, сотряс по пьянке в момент, а теперь пятый день матрас уминаешь. А работа стоит.

– Да трезвый я был. Поскользнулся.

– Трезвый, – проворчал лекпом. – Несло, как из винного погреба.

– Не бывал в таких погребах, не знаю.

Они бы наверняка ещё долго вот так вяло перебрехивались, но тут в палату влетел невысокий криво-плечий гражданин со звероватым лицом. Клетчатый пиджак расстегнут, в кулаке зажата кепчонка.

– Александр Иванович здесь?

– Таких не знаем, – прогудел старший по палате, страдающий избыточным давлением металлист Губин.

– Погоди, Степан Яковлевич, – насторожился лекпом. – А вы оттуда, товарищ?

– Откуда?

– Н-ну, из гэ... – Он осёкся и поправился: – Из энкэвэдэ?

– Я? – Вошедший вздрогнул. – Я – нет. Я из другого... другой организации... Так вот же! – Клетчатый увидел седого человека и бросился к нему. – Александр Иванович!..

– Не будоражьте, не надо. Отходит, кажись, ваш Александр Иванович. Вкололи ему камфары, вроде очунулся, помог раздеть себя, помыть, а потом опять... Доктор сказал – полное истощение жизненных сил.

Клетчатый присел на край кровати, с тоской смотрел на лежащего... Лекпом переводил взгляд с одного на другого. Определил – не родня. Спросил:

– Так вы кто будете, гражданин? Посторонним не положено.

– Я литератор, – с усилием ответил клетчатый и вынул из нагрудного кармана пиджака трубку.

– Курить тут нельзя... Стихи сочиняете?

– Да. И стихи тоже.

– Любопытно... А почитайте, – попросил один из больных, на вид интеллигентный, в очках. – Искусство, я слышал, помогает излечению.

– И то, – поддержали другие. – От безделья киснем натуральным образом. И репродуктор сломался...

Лекпом, желая проверить правдивость посетителя, добавил:

– К литераторам у нас уважение – они почти как врачи. А если с улицы, то покиньте.

Клетчатый как-то затравленно поозирался, явно – все заметили – покопался в памяти, выбрал нечто подходящее и начал нервной скороговоркой:

*Хлеб сдай,  
лён сдай,  
хлопок сдай  
в фрак!*



Знай, знай, знай, –  
 это будет впрок.  
 Нам заводы помогают,  
 нам заводы высылают  
 ситец, косы и косилки,  
 трактора и молотилки,  
 обувь крепкую из кожи.  
 Ты заводу вышли тоже,  
 только быстро,  
 только дружно,  
 ровно к сроку  
 всё, что нужно.

Стих кончился, но слушатели ещё некоторое время ждали продолжения. Не дождавшись, заговорили:

– Бойкое.

– Как ребёнок придумал. Эту, речёвку пионерскую.

Лекпом кивнул на седого:

– И он тоже стихи сочиняет?

– Тоже.

– Хм, – покривил рот перевязанный Дегтярников, – такие же?

– Разные. Есть очень... очень сильные. – И клетчатый поёжился.

– А можно послушать? – произнёс интеллигентный. – Вдруг окажется, что с гением рядом лежим.

– Вам не понравится.

– Отчего ж? Нельзя заранее судить. Вы озвучьте, а мы решим.

– Только не производственное, – добавил кто-то с дальней койки. – Душевное что-нибудь.

– Душевное... Извольте. – Клетчатый покосился на сухое, опутанное космами лицо Александра Ивановича. – «Моление о пище» называется.

– Здорово! – взбил подушку Дегтярников. – Я люблю про харч.

*Пищи сладкой, пищи вкусной  
 Даруй мне, судьба моя, –  
 И любой поступок гнусный  
 Совершу за пищу я.*

*Я свернусь бараньим рогом  
 И на брюхе поползу,  
 Насмеюсь, как хам, над богом,  
 Оскверню свою слезу.*

*В сердце чистое нагажу,  
 Крылья мыслям остригу,  
 Совершу грабеж и кражу,  
 Пятки вылижу врагу.*

*За кусок конины с хлебом  
 Пль за фунт гнилой трески  
 Я, – порвав все связи с небом, –  
 В ад полезу, в батраки...*

– Пакость какая! Блевотина! – прервал лекпом. – У нас тут больница, а не сортир, гражданин литератор.

– Вы же сами просили...

– Ну, не могли мы представить, что такую мерзость на русском языке сочинить возможно.

– Да, отвратительное стихотворение, – поддержал интеллигентный, но как-то раздумчиво.



И клетчатый, видимо, уловив эту раздумчивость, ободрился:

– Но ведь сильно? Сильное? А стихи надо писать так, что если бросить стихотворением в окно, то стекло разобьётся!

– Хорошо, – раздалось с кровати натужное, нутряное, будто из зарытой могилы. – Хорошо сказал, Данюшка.

– Оп-па, воскрес! – изумился Дегтярников. – С возвращеньцем.

– Дая, где я?

– В больнице, Александр Иванович. В Жертв революции.

– Это которая Мариинская?..

– Да-да, она.

– Мариинская... Кто здесь из знаменитых умер, не знаешь?.. А, не важно...

– У нас редко теперь помирают, – сказал лекпом. – Лечим.

– Давно я здесь?

– Часа три как привезли. На улице вас подобрали...

– А бумаги?.. Автографы где?

– Всё в гардеробной. Сюда нельзя – нечистые у вас, гражданин, вещички.

– Вещички?! – хотел было возмутиться седой, но сил не хватило; зашептал: – Данюшка, забери... отнеси автографы в Пушкинский Дом. Они и деньги мне заплатили, а я не несу... Отнеси.

– Да, Александр Иванович.

– И к жене потом... Марии Николаевне... скажи, что вот так... я здесь...

– Да, конечно.

– Пусть не приходит. У неё же ноги... туберкулёз костей... Успокой её... Адрес помнишь? Здесь, за углом – Жуковского, дом три, седьмая квартира.

– Помню, Александр Иванович, – кивал клетчатый Дая; лицо его совсем утеряло звероватость, было жалким и детским. – А я вас ждал, ждал на нашем месте, потом торговка одна говорит: да забрала вашего медицинская помощь, думали пьяный, а его удар, кажись, хватанул. И я – сюда. Как чувствовал...

– Спасибо, Данюшка, – седой обнял его руку своими сухими, костлявыми пальцами. – Только ты побег, ради Христа, отдай автографы, не хочу для них подлецом оставаться...

– Пойдёмте, – сказал лекпом, – я выдам. А костыли пускай остаются – может, и пригодятся ещё... И прикреплю вас к кухне, – подмигнул лежащему. – Наверно, и ужин ещё захватите...

Лекпом и Дая, несколько раз успевший оглянуться по пути от кровати до двери на седого, вышли.

Больные, заинтересованные новым соседом, а больше томившиеся отсутствием дел, молчащей радиотарелкой, некоторое время не решались заговорить с ним. Александр Иванович лежал на спине, хорошо виден был его крупный, но какой-то сморщенный, как полежавшая в тепле картошка, нос, высокий лоб; глаза были прикрыты...

Но стоило ему шевельнуться, и интеллигентный сразу спросил:

– А вы действительно такие стихи сочиняете?

Седой ответил не сразу; соплатникам показалось, что он не услышал, спит, и пошевелился во сне. Но вот заговорил:

– Разные я писал. И у Бодлера учился, и у Брюсова, Валерия Яковлевича, у Бунина, Ивана Алексеевича... Такое вот у меня есть, из первой книги:

*О, сколько фротости и прелести  
В вечерних красках и тенях,  
И в затаённом робком шелесте,  
И в затуманенных очах.*

*Мы словно в повести Тургенева:  
Стыдливо льнем плечо к плечу,  
И свежей веточкой сиреневой  
Твоё лицо я щекочу.*

Седой помолчал и спросил слегка занскиваяще:

– Как?





– Мило, – ответил интеллигентный.

– Вот именно – мило. В одно ухо влетело, из другого упорхнуло. А то, какое вам Даня читал, оно у вас всех в голове застрянет, как гвоздь сапожный.

– Не дай бог, – бормотнул старший по палате и сделал движение правой рукой, будто крестится.

– И много у вас книг напечатано?

– Три книги поэзии и три статей. Ещё семь книг подготовлены...

– Книги, видать, при старом режиме брали, – хмыкнул Дегтярников, – а теперь перестали.

– Ошибаетесь... При старом режиме один сборник стихов был издан, остальное – после Октября.

Я для революции сделал поболее... поболее многих.

– А как фамилие ваше?

– Фамилия... Тиняков, Александр Иванович.

На фамилию больные никак не отреагировали – не покивали, не ахнули удивлённо-восторженно, – и седой добавил:

– Но я много под псевдонимами выступал: Одинокий, Герасим Чудаков, Чернохлёбов, Немакаров...

Больные и на этот раз остались равнодушны. Александр Иванович прикрыл глаза, но тут же его толкнул новый вопрос:

– А вы из бывших?

– В каком это смысле?

– Дворянского происхождения?

– Нет, совсем другого... Из крестьян. Потомственно... Но Тиняковы никогда крепостными не были! Государственные крестьяне Орловской губернии... Поколение за поколением трудились, богатели своим старанием... до кровавого пота трудились... Дедушка, Максим Иванович, имение купил, триста десятин земли. – С каждой фразой голос этого почти трупа становился живей. – Он замечательный был человек, дедушка. Камень, а не человек... Его силами и деньгами новый Покровский храм в Становом Колодезе построили. Возле Орла. Такому храму и сама Москва позавидует... Много Максим Иванович на благие дела жертвовал, но строг был!.. Всех в кулаке держал. Уже и сыновья взрослые, и дочери замужние, а всё равно... Чужие люди его благодарят, а родные – слёзы льют. И то – тайком. Боялись показать, что недовольны чем... Помню, как он настоял, чтоб старшая внучка его, Анна, кузина моя, вышла за хорошего человека, но нелюбимого. Деду он нравился, а Ане... И такого горя, какое у неё и родных её перед свадьбой было, я и на похоронах не видел. И я плакал – она первой моей любовью была, хотя мне шёл тогда седьмой год всего... Аня мне свою карточку подарила, до сих пор храню, во всех скитаниях со мной она...

Александр Иванович передохнул, отдышался и продолжил:

– Моему отцу дедушка после свадьбы имение купил в селе Богородицком Мценского уезда. Шестьсот десятин земли! Барин бы какой от такого изобилия вздулся, ожирел и лопнул, а наши все – трудились. За плугом сами ходили. Нанимали, ясно, работников, но и Тиняковы рук не жалели... Детство моё прекрасное было – природа вокруг, простор, красота. Дали русские... О городе ведашь не ведал – незамутнённый я был совершенно до десяти лет, до самой гимназии... Дедушка часто к нам наезжал, смотрел, как справляемся. Книг никаких не терпел, кроме святого писания, церковных... Пушкина и Тургенева от него прятали... Однажды Державина увидал, полистал – и в печь. Мать моя: «Батюшка, за что?!». А он: «Поганцы!». И повторяет то, что выхватил глазами из книги: «Не лобзай меня так страстно». Но я тогда и запомнил, что Державин – запрещен. И потянуло запретное читать... И мне от Максима Ивановича доставалось. Раз сидим вдвоём на веранде. Лето, благодать. И я говорю: «Дедушка, гляди, две мухи слиплись и летают». А он как взвился: «Ты на что это внимание обращаешь, поганец?! Пшёл в чулан – без обеда остаёшься». А я совсем ещё душой младенец был. Чистенький, волосы светлые, кудри ангелочкины... После этого стал узнавать, зачем это мухи слипаются, петух на кур прыгает, козы, собаки друг на дружку лезут...

Голос Александра Ивановича, до того натужный, деревянный какой-то, сделался мягче и в то же время погрустнел.

– Перегибал дедушка, но прав он был в своей строгости. Это я потом осознал, потом... когда исправить ничего стало нельзя. А тогда наперекор поступать хотелось. Нельзя – а я буду!.. И постепенно дедушка сделался для меня врагом. В лицо боялся перечесть, больше тайком... Отец тоже крут был, но не так уже – уже червоточина появилась. Моя мать её занесла, сбила отца с пути... Она городская, из семьи состоятельной, на вид почтенной, но тронутой вырождением. Старший брат матери отравился из-за

любовного вздора, она сама, Мария Лукинична, тоже была психически нездоровой. Ей бы в монастырь уйти, там мечтать и молиться, а она замуж вышла за земного, грубого человека, который только работал и ел, чтобы работать, – за отца моего, Ивана Максимовича... Она очень меня любила. Глубоко любила, мучительно, беззаветно. Великим человеком меня видела, сызмальства мне это внушала... Зачем? – Александр Иванович тяжело вздохнул-простоноал. – Другую отцу надо было жену – из своего круга. Как бабушка – крестьянка из одного с дедом села. Нарожала здоровых ребят, до старости хлопотала, следила за каждой тряпкой и щепкой, каждым куриным яйцом... Родился бы я от крестьянки, не стал бы таким... не стал бы литератором... литератором-неудачником, не подыхал бы от голода и унижений, а заведовал бы каким-нибудь откомхозом и была бы у меня смачная, мясистая баба, крепыши-ребята, надёжный дом, достаток...

Седой замолчал и долго отдышал, громко дыша. Будто пробежал в гору. Потом попытался подняться, но сразу уронил тело на простынь.

– Попить бы... не смогу сам.

Десятьяников осторожно, стараясь не трясти головой, встал, прошёл к баку с водой, зачерпнул кружку. Отнёс седому.

– И что же, – спросил интеллигентный, – с вами приключилось такое, что вы так теперь сокрушаетесь?

– Много... много всего. Нет сил обо всём рассказывать, да и надо ли... Рождённый неудачником и в гроб должен сойти неудачником, не поведая о себе ничего и никакого следа в жизни не оставив.

– Ну уж вы слишком, – сказал слезливо тот человек, что просил клетчатого почитать «душевное». – Аж плакать захотелось.

– Впрочем, след я оставил, – словно не услышав этих слов, заспорил Александр Иванович с самим собой. – Только не такого следа хотел... Показали мне, что обо мне пишут эти... сбежавшие с родины. Жорж Иванов, лощёный сноб, ничтожество, эпигоныш, так изгадил... Все сплетни вспомнил, все мои пьяные бредни записал... Ходасевич, хорёк глостатый... «Тиняков писал посредственные стихи». А ты?! Тебя белогвардейцы на руках носят, ты и рад. И гонорар в валюте получаешь... Ничего-о, посчитаемся... Я хоть живые души из пожаров спасал, а они что... Барышни томные в брюках... Фуф... Да и здесь имеются такие, кто на Тинякове зарабатывать вздумал... Зоценко... Только меня на Соловки отправили – сразу повестушку строчить принялся. Думал, видать, что я там навек спину, а я – вернулся. Прочитал стряпню эту. Отвратительно, беспомощно, примитивно... Встретились, говорю: «Вы, Михаил Михайлович, вероятно, думали, что я умер. Нет ещё». Он смутился, поспешил якобы по делам... Потом пришлось мне к нему обратиться – одеться не во что стало, жена заболела туберкулёзом костей. Написал я ему письмо. Не письмо – мольбу! Денег немножко просил, брючонки куда не годные... Не отозвался Михаил Михалыч. Что ж, большим деятелем стал, на канал с Горьким скатался, полюбовался, как там народ русский... Теперь на писательский съезд... ещё и с пламенной речью выступит...

– И как там на Соловках? – спросил старший по палате.

– Хорошо... Хорошо мне жилось в лагере. Много там людей культурных, думающих, дисциплина, кормёжка хоть не роскошная, но по распорядку. Работать на общих основаниях я по здоровью не мог, в тепле держался... А потом, к сожалению, перевели меня в ссылку в Саратов. На положении почти свободного гражданина я там находился – голодал и бедствовал невероятно. Освободился, вернулся сюда. Жена больная, безработная – а она уроками английского языка кормилась... и меня кормила. Папиросами для меня, бывало, плату брала... Милостыню снова просить после возвращения я побоялся – могли снова выслать. Распродаю библиотеку, автографы знаменитых писателей. Мне многие подписи ставили, книг много разных было... Всё развеялось...

– Значит, у Зоценко Мишель Сиягин с вас списан, – не спросил, а вслух подумал интеллигентный больной; Александр Иванович дёрнулся, как от удара.

– Нисколько!.. То есть, черты внешнего сходства имеются, а сути – нисколько... Особенно парусиновый портфель не прощу Зоценке. Его Мишель портфель этот для виду носил, чтоб, когда милостыню просит, люди видели, что он человек не пропащий, поневоле опустившийся. Чтоб разжалобить... А я в том портфеле свои книги носил. Продавать пытался... Почти не брали, глупцы. А третья книга – «Аз есмь сущий» – одно из самых замечательных явлений в области нашей новейшей поэзии. Я доказал в ней, что честность выше притворства не только в жизни, но и в словесности.

– Экая заслута! – раздалось ироническое с одной кровати. – Чему тут хвалиться?

– Есть чему, – строго и глухо сказал Александр Иванович. – Вот скажите, вы кого больше всех на свете любите? Только честно... Честно.



– Ну, жену... детей.

– Родину! – как-то двусмысленно бросил Дегтярников.

– Ребяг родных больше всего...

– А, не врите, – остановил перечисление Александр Иванович. – Себя самих мы больше всех любим. Себя! Худого, жирного, лысого, вшивого, с ногтями грязными, ногами вонючими. Обожаем, бережём, поклоняемся... И я это воспел!

– Ну-ка, как вы это сделали, любопытно, – сказал интеллигентный.

И Александр Иванович с готовностью стал почти нараспев, торжественно декламировать:

*Я судьбу свою горькую, мрачную  
Ни на что не желаю менять:  
Начал жизнь я мою неудачную, –  
Я же буду её и кончать!  
Больше бога, Героя и Гения  
Обожая себя самого,  
И святей моего поклонения  
Нет на нашей земле ничего.*

*Неудачи мои и пороки  
И немый, в расчёсах, живот,  
И бездарных стихов моих строки,  
И одежды заношенной пот –  
Я люблю бесконечно, безмерно,  
Больше всяких чудес бытия...*

– Ясно, ясно, – перебил старший по палате. – Воинствующий индивидуализм. За это, гражданин, можно обратно на Соловки отправиться. И нас ещё с вами зацепят.

После этого на несколько минут установилось молчание. Обитатели палаты занялись поиском каких-нибудь дел. Кто-то зашуршал сто раз прочитанной газетой, кто-то заводил часы, копался в тумбочке. Дегтярников подошёл к репродуктору и, ворча, стал вертеть ручку громкости.

– Я должен был ещё в тридцатом году умереть, – своим глухим, деревянным голосом, от которого снова все вздрогнули, объявил Александр Иванович. – Ещё до Соловков, до Саратова.

– С чего эт? – оторвавшись от репродуктора, с усмешкой спросил Дегтярников. – Кто вам указал, когда умирать?

– Ну как же, – поддержал его тон интеллигентный, – слышал же в стихе – сам начал жить, сам и будет её кончать... И что вам помешало?

– Ничего не помешало. Если вы о самоубийстве, то я никогда о нём не думал. Это отвратительно – жить нужно до последней возможности... Дело в том, что в тридцатом году сумма трёх цифр равнялась тринадцати. Один плюс девять плюс три равняется тринадцать.

– И что?

– Я пережил до того три таких года. И в каждом из них случились роковые для меня события. В девятьсот третьем – тоже в сумме тринадцать – начали печатать мои произведения, я познакомился с Валерием Яковлевичем Брюсовым, Леонидом Николаевичем Андреевым, окончательно бросил гимназию, имел первое сношение с женщиной. В этом же году умер дедушка Максим Александрович... В девятьсот двенадцатом – опять же тринадцать в сумме – была издана первая книга, я переехал в Петербург... В двадцать первом – и здесь тринадцать – второй переезд сюда, я узнал о смерти отца, похоронил Блока, Александра Александровича, который один из немногих по-человечески ко мне относился... Тридцатый был последним на моем веку год, дающий в сумме тринадцать, и я ожидал смерти. Я всё испытал, под конец и тепло семейного очага. Но вместо смерти был арестован. Впрочем, это тоже знак тринадцати.

– Дешёвая мистика, мракобесие, – отозвался Дегтярников. – Да тут большинство все эти четыре года пережили. И что?

– Вам, может быть, и ничего. А мне это важно. Я вообще люблю размышлять. Не люблю, вернее, а имену потребность... Некоторые и календаря не знают, в часах, – Александр Иванович указал взглядом

на металлическую лепёшечку в руке старшего по палате, – не разумеют. А я знаю, разумею и могу анализировать. И когда я пережил тридцатый год, я был очень раздосадован. Судьба меня обманула.

– Досадовать, что не умер, – покривился интеллигентный, – декадентство какое-то... М-да, любопытный вы человек – с Блоком были знакомы, Андреевым. Зоценко вас описал, белые вас вспоминают, побирались, если не ошибаюсь, на Соловках побывали... И как – довольны судьбой? Вы уже говорили, что неудачник и так далее, но всё же, начистоту...

Александр Иванович похрипел в глубине горла, подбирая слова для ответа, не решаясь заговорить. Может, пробежал сейчас мысленно свои сорок семь прожитых лет.

– Судьба, – наконец решился, – судьба богатая получилась. Такие были приключения, такие скандалы, женщины... Я саму Ахматову, Анну Андреевну, щупал, а она только попискивала и жаловаться не бежала. Потом, когда на панели стоял, подошла однажды. «Можно, – говорит, – я вам двадцать копеек положу?». «Можно», – говорю. Она положила и пошла этак медленно, ждала, видимо, что окликну, а я не окликнул. Не нужна уже она мне была. А муженька её ненавидел – всё гения корчил, над Брюсовым, Блоком смеялся... Да меня, – Александр Иванович неожиданно возвысил голос почти до крика, – два раза к виселице присуждали! У меня сам академик Тураев, Борис Александрович, великий наш учёный по Древнему Египту, советов спрашивал!.. Профессор Фриче, Владимир Максимович, от Главлита меня защищал... Я вам здесь и сотой доли о себе не поведал. Жаль, всё это со мной вместе в могилу уйдёт... Но я жалею... Жалею, что по такому пути пошёл. Прав дедушка Максим Александрович был, когда запрещал меня в гимназию отдавать. «Развертится он там! – говорил. – Погибнет». Мать меня в образование тащила, а отец не в силах был сопротивляться... Сколько ссор было, слёз, крику. Два мира схлестнулись: здоровых крестьян и города, гнилью зараженного... Отец сдался, отдал меня в гимназию, и я покотился... Уверен был – возношусь в небеса культуры, а на самом-то деле – падал. Не нужно крестьянину ни Цезаря, ни Овидия, ни геометрии. Ни русской литературы! У крестьянина поля есть, рощи, птиц пение, молитвы...

*В златые саваны деревья облеклись,  
И скупо льётся свет на землю с поднебесья...  
Бледна и холодна и безучастна высь  
Печальной порой, порою златолеся, –*

вот как я начинал. От этих строк моих у Бунина, Ивана Алексеевича, глаза влажнели!.. И чем кончил:

*Скорю, конечно, и я тоже сделаюсь  
Падалью, полной червей,  
Но пока жив, – я лжкую над трупами  
Раньше умерших людей.*

Были и позже стихи, но их при обыске забрали... сожгли, наверно... В девятьсот втором мне гимназии стало мало, и бросился я в Москву, в пучину. Решился порвать с семьёй, с крестьянскими своими корнями... А дедушку к тому времени я уже ненавидел: отсталый, деспот, самодур... Нашёл одного Тинякова – Аристарха, – каторжника, девять человек топором зарубившего, и всем рассказывал, что это и есть мой дед. Стыдно теперь, стыдно... Несколько месяцев в Москве как пестрый сон пролетели; я запутался и прибежал в Ясную Поляну, к Толстому, Льву Николаевичу.

– Вишь, и до Толстого дело дошло, – насмешливо, но негромко, не перебивая, сказал Дегтярников старшему по палате Губину.

– Толстой болел тогда, мы с ним посредством записок общались. Через дочку... Он мне написал: «Возвращайтесь домой, помиритесь с родителями, дедушкой. И, пожалуйста, не становитесь современным поэтом. Современные поэты – люди ненормальные. Вы крестьянин, а крестьян в свете не любят. И в литературном кругу тоже. Будете на побегушках у дворянских фуражек, смеяться над вами будут, и погубят». Так и вышло. Поклонялся я Бунину, Брюсову, псу-сифилитику Садовскому, а они на меня плевали... Вернулся я после Ясной Поляны домой, покаялся, в гимназии продолжил учёбу. Но стихи не бросил. И стал современным поэтом... Поэтом стал, а в круг небожителей принят не был. За папиросами для них бежал, Канта цитировал... Я же таким учёным был – от клинописи до гипнотизма всё знал. И всё сам, самоучкой!.. Они пили, морфий кололи, кокаин в ноздри сыпали, блудили так, что стон стоял,



Никольскому на всякий случай пятки лизал, а мной прикрывались: «Тиняков – свинья, Тиняков – развратник. Тиняков – «Чёрная сотня». И получилось, что ничем я для будущего не останусь, как только грязью... Боюсь там, – Александр Иванович шевельнул сухими пальцами, – с бабушкой встретиться. Боюсь, как он поглядит на меня. Сожжёт глазами. Сожжёт-от...

– Чего у вас опять с репродуктором? – вошёл в палату монтер.

– А? С репродуктором? Да не бухтит, – всполошился Губин. – Погляди, с тоски без радины подышаем.

Монтер, ворча, стал копать в чёрной тарелке. Больные следили за его движениями, на глухой, слабый голос седого уже никто внимания не обращал.

– ...Не подлец я, бабушка, а если бога хулил, то от отчаяния. Не помог мне бог, никто не помог...

А я настоящим хотел...

– Опять проводок оборвали! – досадливо объявил монтер. – Ироды. Аккуратно надо крутить, а не дергать. Привыкли...

– Да мы аккуратно вроде.

– Почините, пожалуйста, товарищ. Хоть знать, что в стране происходит...

– ...Я написал настоящее, бабушка. Никто не заметил только. Все грязи ждали... А у меня есть...

Послушайте, бабушка. Послушаете, да?

*Былинкой гибкою под ветрам я качаюсь,  
Я Сириусом лью лучи мои в эфир,  
И я же трупом пса в канаве разлагаюсь,  
И юной девушкой, любя, вступаю в мир.*

Если бы обитатели палаты отвлеклись от обсуждения сломанного репродуктора, то наверняка очень бы удивились, каким чистым стал голос седого. Чистым, свежим, трепещущим.

*И все очам людским доступные картины,  
Все тени, образы и лики бытия  
Во глубине своей божественно-едины,  
И все они во мне, и все они – лишь я.*

*Христос израненный и к древу пригвождённый,  
И пьяный сутенёр в притоне воровском –  
Четкою дружною, навеки примирённой,  
Не споря меж собой, живут во мне одном.*

*Во всё, что вымерло, в деревьях, гадах, птицах,  
Во всё, что есть теперь в пучине бытия,  
Во всех грядущих в мир и нерождённых лицах –  
Во всем Единый Дух, во всем Единый Я.*

Больных оглушил последний аккорд бравурной мелодии из воскресшего репродуктора. И тут же восторженный девичий голос произнёс:

– Вы прослушали песню «Мы любили его» из картины «Три песни о Ленине». А теперь о новостях дня. В столице нашей советской родины городе Москве сегодня начал работу Всесоюзный съезд советских писателей. Более полутысячи мастеров слова собрались в Колонном зале Дома Союзов, чтобы создать великую литературу социализма.

– Эй, поэт, – обернулся к кровати седого Дегтярников, – а ты чего не там?

Александр Иванович не слышал: он погружался в последний свой сон – сон смерти.

**ВАЛЕНТИН РЕЗНИК****РОДИНЕ**

*Посвящается Татьяне Кузовлевой*

1

Не меня название  
Твоих бед и обид.  
Ты – моё наказание,  
Мой растерянный вид.  
Обречённый на муки  
Жить с тобою в любви,  
Я лижу тебе руки,  
Что по локоть в крови.

2

Ты наломала столько дров,  
Моя опора и защита...  
Я не желаю, чтобы вновь  
Всё оставалось шито-крыто,  
Чтоб твой загадочный архив  
Хранил бессрочно тайны века,  
Твою судьбу похоронив  
В глухих подвалах и отсеках,  
Чтобы, себе наперекор  
Ещё не раз давала маху,  
Не видела б себя в упор  
По дурачье или со страху,  
Чтоб, изнурённая мольбой,  
Себя борьбою истязала  
И, как с протянутой рукой,  
С протянутой душой стояла.

3

Жизнь отбивая где придётся  
По милости добра и зла,  
Зачем, рождённый инородцем,  
Кормился с твоего стола?  
Твоим напитывался духом,  
И восхищаясь, и хуля...  
Но коль земля мне будет пухом,  
Так пусть уж русская земля.

\*\*\*

Жизнь моя спонтанная,  
Где грехов не счесть.  
Улица Ростанная  
В Петрограде есть.



Я случайно с Лиговки  
На неё свернул  
И, как после вышивки,  
Взял да и уснул –  
В тополином дворике,  
Где вороний гвалт,  
Где друзья-соколики  
Под весёлый мат  
Забивают, в сущности,  
Вечно «козла»,  
Позабыв о скудости  
Духа и стола...  
Сколько спал? – Не помнится.  
Час, а может, пять,  
Лютая бессонница  
Отступила вспясть.  
Отдала позиции  
Взятые с трудом,  
Ах, как сладко спится мне  
В месте проходном,  
В городе – где ренессанс  
Шпилей и колонн,  
И который, в целом, сам  
Весь, как явный сон.

\*\*\*

Я не был нерукопожатным,  
Поскольку был до фени всем,  
И тем, что чем-то был запятнан,  
И незапятнанным ничем,  
В автоматическом режиме  
Я коротал свою судьбу  
При сногшибательном режиме,  
Что чудом вылетел в трубу.  
Ходило ходуном сознание,  
Ломало душу от тоски,  
Когда пускались в православье  
Отпетые большевики.  
И, стройные ряды покинув,  
Чтоб только быть у пирога, –  
Ленкомсомольские богини  
Лепили из меня врага.  
А гласность всех подряд косила,  
Картошкой молодой цвела,  
И, может быть, одна Россия  
Рукопожатною была.

\*\*\*

Вот производственных романов  
Давно я что-то не читал.  
Производить их стало странно,  
Не модно, я бы так сказал.

Как будто выжили из жизни  
 И токарей, и слесарей,  
 Всех тех, кто при социализме  
 Был рупором его идей.  
 В колхозы ездил и дружинил,  
 На демонстрации ходил,  
 Над продовольственной корзиной  
 Трудился изо всяких сил.  
 И взбрыкивал, и слыл покорным,  
 Не равнодушным был к вину,  
 И величался гегемоном,  
 Что на плаву держал страну.  
 И вместе с нею был опущен,  
 Своей элитности лишён.  
 И перестав вперёд идущим,  
 Был в быдло-класс переведён.

\*\*\*

Я тот, кто Христа на Голгофу загнал,  
 Кто спаивал русский народ,  
 Кто в Ленина и Николая стрелял.  
 А может быть, наоборот?  
 Чьи кости валяются в Бабьих Ярах,  
 И кто называется жид,  
 И в чьих, чуть навькате, грустных глазах  
 Страх тысячелетий дрожит.  
 И даже когда всё в порядке, увы,  
 Спокойным я быть не могу  
 Затем, что меня ненавидите вы,  
 За то, что у вас я в долгу,  
 За то, что моя неизбывна вина,  
 И нету прощения мне,  
 За то, что обжитая вами страна  
 Живёт постоянно в дерьме.

## ЛЕОНИД ПОДОЛЬСКИЙ

### ПОСВЯЩЁННЫЙ рассказ

Заканчивалась перестройка. Жизнь менялась на глазах. Новоявленный банкир из бывших фарцовщиков Барыкин понял: его время. Время лёгких денег, великих перемен и чудес. Пьяное, многообещающее. Время бандитов и авантюристов. Отшпелестят, обесценятся, превратятся в труху банкноты с вождём, и сам Ленин – выйдет в тираж; Советский Союз, эта великая Сизифова стройка, обратится в Вавилонскую башню, всё рухнет и останется один Бог – Деньги. Зелёный Бог. Станет мир без границ, мир свободы и порока, фарисеев и торгашей, и в этом мире такие, как он, Барыкин, ловкие, прыткие, наглые будут процветать.

Барыкин учился когда-то на художника, но училище не закончил – небесталанный был, подавал немалые надежды, однако выгнали за фарцовку. Знал Барыкин великую силу искусства, занимался контрабандой



картин на Запад, на этом и сделал первые деньги, ещё до обмена валюты и обналички. Это большевички-дурачки распродавали «Эрмитаж» за копейки, отдавали сокровища другу – авантюристу Хаммеру<sup>1</sup>, а на загнивающим – товар дороже, чем золото и бриллианты. Там всё продается, а прежде всего – искусство.

Настало время, когда можно стало дышать. Казалось, Советская власть давила, гноила по тюрьмам и лагерям, сносила бульдозерами, выдавливая из страны, заставляла молчать идейно чуждых, неблизких ей Шагалов и Фальков, а другое искусство, из катакомб, будто сорная трава, прорастало меж глыб. Художники из МОСХа разъезжали по стране, писали портреты шахтеров, металлургов, орденосцев, ткачих, а эти, отщепенцы, *чужие* – творили на кухнях, на чердаках, искали форму, образ и цвет. Не напрасно... Едва забрезжила оттепель, вторая, после завершившейся в манеже<sup>2</sup>, вспомнили критики про «Бубновый валет»<sup>3</sup>, зашептались про «Лианозовскую группу» и «Сретенский бульвар», кто-то припомнил недавних «Мухоморов»<sup>4</sup> – страна оживала, андеграунд выходил из подполья, а Барыкин понял – Эльдorado. Чужая кровь, тюрьмы, озарения, психушки, бессонница – *деньги*. Большие деньги. Барыкин стал коллекционером и по совместительству галеристом. В отличие от других нуворишей, коллекционировавших водку, автомобили, наполеоновские мундиры, оружие, ордена, яхты, футбольные клубы, виллы, девиц, пасхальные яйца, этот коллекционировал Художников. Благородный коллекционер, интеллектуал, меценат, по сходной цене Барыкин скупил немало картин. Художники встречались разные. Одни, наивные до странности, не зная цену, за бесценок отдавали и радовались, как дети. Сами несли сокровища Барыкину. Другие превратились в дельцов. Власти не уступали, себя не жалели, иные на Голгофу шли, а перед зелеными не устояли. Эти всё готовы были продать. Но один, легендарный, талантливейший, отмеченный Пикассо, блаженный – говорили, что птицы в клюве приносят ему еду – этот, не от мира сего, существовал сам по себе, не входил ни в какие тусовки и не писал манифесты, один наедине с Богом и жил бомжом, отшельник и гордец, не шёл к Барыкину.

– Искусство не продаётся, – говорил Зайцев, юродивый, – не я пишу, Бог. – А Бог, как известно, изгонял торговцев из Храма.

Станный он был, Зайцев. Прославленный, признанный среди таких же изгоев и очень редких ценителей, он никогда не выставлялся, кроме тайных квартирных выставок, лишь однажды заочно в Париже по непонятному недосмотру властей. Зайцеву было слегка за сорок и, однако, как старое дерево коростой, он весь оброс мифами, легендами и апокрифами. Рассказывали, будто он сидел, будто на выставке в манеже пьяный Зайцев схлестнулся с Хрущёвым, а на Бульдозерной<sup>5</sup> бросался под гусеницы; ещё говорили, что фамилия его не Зайцев, в Зейцер, что непробудный пьяница и хулиган, что лечился с политическими в психушке. Но что бы ни говорили, все признавали – гений и самородок, он и учился всего только год и изгнан был за диссидентство: перед картиной Бродского «Ленин в Смольном» начал мелко и часто креститься, а в душах читает, словно Христос, и человек он верующий глубоко, только пишет странно, будто волхв. Иные не раз пытались уличить его в чародействе.

Чтобы заполучить бессребреника Зайцева, банкир Барыкин решил пойти на хитрость – позвали художника якобы не к Барыкину, а к красавице-жене Оксане, изнывающей от одиночества в золотой клетке. Тут, правда, выходила загвоздка: Барыкин в ту пору не был женат. От прежней жены откупился и уехал за границу, а жил с новой, не женой, но моделью. Увёз с выставки какого-то модного агентства, что-то вроде эскорта.

– Что же, пойду посмотрю, понравится, напишу, – согласился Зайцев, известный ценитель красоты непорочной и автор десятка «Мадонн», – только денег антихристовых не возьму, за закуску, мне чтоб селедку и винегрет, и водки. И приду сам, «Мерседесов» не переносу. Господь пешком ходил, а эти... тела бездушные возят... плоть...

...И явился в апартаменты барыкинские роскошный странный человек в скуфейке, в заштопанной, без пуговиц, курточке, брюках-пузырях и в требующих каши ботинках, из которых торчали немытые давно пальцы. Увенчана же сия композиция была ярко-красным мохеровым шарфом из Парижа – то ли босая, то ли клошар. Охрана хотела прогнать Зайцева, но велено было: выпустить. И вошёл удивительный человек с бородашкой клинышком, ликом похожий на Христа, со взглядом светлым и строгим, посмотрел пристально на барыкинскую жену-не жену и спросил, будто учитель нерадивую ученицу:

– Жена, говоришь? Не похожа ты на жену. Ложь в тебе сидит и бесстыдство. Ну давай, корми.

Зайцев уселся за стол, взял немытыми руками хлеб, стал крошить его на стол, налил себе водки, выпил, крикнул и руку запустил в винегрет – так узбеки плов едят. Он ел, пил, хрустел зубами, сморкался, кидал кости на стол, не обращая ни малейшего внимания на Оксану, притворную жену Барыкина. Наконец,

насытившись, выпил стакан водки, отёр руки о скатерть и снова взглянул на наблюдавшую за ним, как за странным зверем каким, Оксану.

– Ну что, пока не пьяный, давай буду тебя рисовать... блуд твой... Чай на Сотбис продавать станете. Меня уже не будет...

«Юродивый, сволочь, – зло сверкнула глазами Оксана, – редкостный хам», но покорно села в кресло, как велел спрятавшийся подальше Барыкин.

Зайцев взял в руки мастихин, разложил приготовленные для него краски и принялся малевать – он именно малевал, то тюбиком от краски, то мастихином, то пальцем, то окурком. И всё дымил – прямо в лицо Оксане. Модель много раз порывалась встать, выгнать наглого бомжа, но сил не было, воли, – что-то божественное, или дьявольское заключалось в странном этом, необычном человеке, она его ненавидела, а приказал бы, пошла бы за ним, как за Христом шли... святой, грешный, необузданный, дикий...

К Барыкину она тянулась из-за денег, а этот парализовал её, видел насквозь, разглядел дьявола... Дьявола, потому что закончил и встал, а она всё сидела... И он сказал:

– Посмотри на себя. Это есть ты...

Наконец, она поднялась и посмотрела. Будто в зеркало, только особенное... красавица, ямочки на щеках, улыбка лёгкая, игривая, зубы ровные, а в глазах – жуть... Враг человеческий... Он... Злые глаза, хищные...

– Неужели это я? – спросила Оксана.

– Очистись, – сказал Зайцев. – Изгони его.

Тут и вошёл Барыкин. Снова принялся Зайцев рисовать. Только теперь холодно, сосредоточенно, будто устал. И Барыкин получился холодный, жадный. Будто похож, один в один, всё вроде правильно, а – чёрт. Человек-сатана. Всё разглядел Зайцев. Всё... Даже будущее разглядел... Чёрное...

...Несколько лет прошло, они не встречались более, отчего-то Барыкин боялся этой встречи, что-то тревожило его, хотя дела у новоявленного олигарха шли прекрасно: банк его стал одним из первых и коллекция росла, вокруг него убивали, но он богател, и Оксана-модель родила двух детей, только зачем-то ездила на богомолье – то в Дивеево Святое, то в Иерусалим. Но Барыкина её метания интересовали мало – бабья дурь. Всё вроде было хорошо, когда Барыкин заметил, что портрет его начал чернеть. Он долго не обращал внимания – мало ли, краски, – но через некоторое время почувствовал себя плохо. Стал задыхаться, кашлять, а в мокроте заметил кровь. Барыкин взглянул на портрет, тот стал совсем черным. Банкир испугался, стал молить Бога и обратился к врачам. Обследовали его в Швейцарии. Диагноз оказался неутешительный: рак.

– Срочно нужно оперировать, – сказал профессор. – Вас можно спасти.

– Да, – согласился Барыкин. – Но прежде я бы хотел урегулировать отношения с Богом. Грешен я, – Барыкин был почти уверен, что некая мистическая связь существует между его болезнью и портретом. А потому прежде, чем удалять опухоль, следовало что-то сделать с портретом. Только, с портретом ли? Ведь портрет – зеркало... или луч, высвечивающий глубоко-глубоко, в бездонной пропасти сознания, где формируется его эго. Следовало встретиться с художником. Он не знал зачем. Однако в портрете заключалось некое послание, диагноз, а может указание. Мысли Барыкина путались. Ему больше не нужны были деньги, ничего не нужно, только жизнь. Другая жизнь, не та, которую он прожил. Он впервые думал сейчас, что грешен, что жил плохо, нечисто, бездушно и тихо просил Бога, чтобы тот позволил исправить. Он на *всё* был согласен, на *всё*, только выкупить жизнь. Вчера ещё он не верил в Бога, а сейчас умолял Его. Молил отменить всё то зло, что он сделал людям. Обещал Ему стать другим. Помогать женщинам, которых сделал вдовами. Стал верить, что *там* есть суд. Странное дело, Барыкину казалось теперь, что если он очистится, болезнь пройдёт. Что есть невидимая связь – inferнальная, демоническая – между грязью в его душе и болезнью. Всю жизнь он думал о деньгах, а думать надо было о душе...

– Все мы грешны, – сказал профессор.

– Нет, я – особенно. Я – олигарх...

– А... – согласно протянул профессор.

– Дайте мне несколько дней, – попросил Барыкин. – Я хочу отыскать художника.

В тот же день банкир велел своей службе безопасности за любые деньги разыскать художника, но Зайцев исчез. Удалось только выяснить, что года два-три назад Зайцев начал писать картину «Вознесение». Работал он долго и трудно, читал духовные книги, молился, ездил по монастырям – пытался проникнуть в образ Христа. А потом собрался в Иерусалим. И что его сопровождала женщина. Кто она и откуда, оставалось неизвестно. Она не была красива, но вроде бы свет – божий свет – изливался у неё из глаз. На этом следы их терялись...

Банкира Барыкина прооперировали – кажется, удачно; почти здоровый после нескольких месяцев пребывания в Европе вернулся он в Москву. Едва войдя в свою виллу, Барыкин торопливо устремился в галерею, где висел портрет и с трепетом включил яркий свет: портрет посветлел. Сколько ни всматривался олигарх, признаков болезни в лице он больше не видел, никакой черноты. Но ещё сильнее поразило Барыкина, что ничего не оставалось дьявольского, злого, лицо казалось просветлённым, будто свет сходил на него с неба. Обрадованный и поражённый, олигарх упал на колени – молился и благодарил Бога. В тот же день он решил учредить фонд, чтобы помогать талантливым, но бедным художникам. И тем же вечером начальник службы безопасности сообщил, что женщину, сопровождавшую Зайцева в Иерусалим, удалось отыскать – каждый день она ходит на молитву, исповедуется и собирается поступить в монастырь трудницей, чтобы со временем принять постриг. Монастырю же она подарила необыкновенную картину, которую художник писал мучительно и долго и из-за которой таинственно исчез.

– Дело в том, – начальник службы безопасности замялся, – что Зайцев, художник, вознёсся на небеса. Так она говорит.

– Вознёсся? – вскричал Барыкин. – Как Иисус Христос? – несколько месяцев назад олигарх ни за что бы не поверил, что такое возможно, но сейчас... С того самого дня, когда он заметил, что лицо на портрете начало темнеть и в нём появились признаки болезни, смерти, казалось иногда Барыкину, одновременно что-то происходило и с ним самим. Банкир не был раньше верующим, напротив, атеистом и циником, но теперь начал верить в чудеса, и стало казаться ему, что через художника Бог посылал знак и что телесная болезнь его шла от души. И хотя врачи утверждали, что быть такого не может и что при раке возникают иногда странные аберрации сознания, галлюцинации, Барыкин им не верил. Напротив, ему казалось, что между портретом и его болезнью существовала таинственная, мистическая связь. Бог, видно, в великом милосердии своём, велел ему очиститься. Художник же был посвящённым, Мессией, передававшим энергию высших сил. То, что он вознёсся, подобно Иисусу, только подтверждало эту гипотезу. Но – действительно ли вознёсся или это всего лишь мираж? Как это происходило? Барыкину обязательно нужно было узнать, следовало самому расспросить эту женщину, Екатерину. В её словах могла быть отгадка, что-то очень важное для него.

– Я хочу её видеть. Мы летим в Иерусалим, – распорядился олигарх.

И вот он сидит перед Екатериной, последней женщиной чудотворца Зайцева, странно похожей на собственную жену Барыкина, какой та стала после Серафимо-Дивеевского монастыря, в Гефсиманском саду под древней оливой – под этим деревом две тысячи лет назад Иешуа наставлял учеников. Барыкин сразу узнал Екатерину: незадолго до болезни купил на аукционе её портрет и ещё тогда обратил внимание на странное сходство её с Оксаной. Обыкновенная женщина, чертами скорее некрасивая, только из глаз, преображая её, льётся божественный свет. Вполне в духе Зайцева.

– Хотите узнать про Толю? – спросила Екатерина. – Кто он вам?

– Видите ли, я очень грешен. Очень. Я – олигарх. Мгновенное богатство невозможно без греха. Анатолия я почти ненавидел, – путаясь, стал объяснять Барыкин. – Написал он мой портрет. Вроде я, похоже, но в глазах... злые глаза, дьявольские. Князь тьмы... И такое пренебрежение. Допил водку... графин... и уснул. Прямо на полу. Проспал до утра и ушел не попрощавшись...

Но портрет оказался... живой. Никто не верит, говорят: «мистика», но по портрету, по тому, как менялось лицо, я узнал о болезни... Страшной болезни... Спас меня... Он – посвящённый. Мессия...

– Да, он – посвящённый, – перебила Екатерина. – Он и меня спас. Я плохо жила, блудно. Денег не было, я позировала художникам, а потом спала с ними. С Толей мы познакомились в одной компании. Он предложил написать мой портрет. Я ведь никто была. Пустота, или хуже – блудница... А он увидел святую. Божий свет в моём лице.

– У вас глаза прекрасные, – сказал Барыкин.

– Это потом, – зарделась Екатерина. – Он увидел, и я стала. Нет, не святой. Новой. Сияние снизошло на меня. Он ведь правда посвящённый... Божий человек... Юродивый... Если Бог захочет, посвящённый может носить любой образ.

– Что было дальше? – с волнением спросил Барыкин.

– Мы с ним недолго жили в Москве. Бедно. Толя дарил свои картины, денег не брал... Это другие делали на нём миллионы.

– Да, другие, – подтвердил Барыкин.

– Неожиданно с Толей что-то случилось. Пришёл некто, не назвался... а может, Толе во сне привиделось, или спяну. Заказал «Вознесение Христа». И Толя увлёкся. До того он очень легко работал.

В среднем полчаса уходило у него на картину. Вроде не сам, Бог водил его рукой. Много написал монах портретов. А тут он работал мучительно. Будто Всевышний устроил ему проверку. По монастырям ездил... среди бомжей искал... несколько месяцев в скиту жил...

– Что искал? – не понял Барыкин.

– Образ... Мне говорил, что я похожа на Марию Магдалину. Такая же добрая. А потом сказал, что надо ехать в Израиль, в Иерусалим. Ходил по следам Иешуа. Мы много где были. На Виа Долороза у каждой остановки. Там толпы туристов, экскурсоводы... все языки... а он видел что-то иное, будто сквозь время... Насквозь... Голгофу, камень помазания, Гефсиманский сад... везде были. наброски делал. В Капернаум ездил, развалины смотрели... там монастырь теперь, где произошло чудо умножения хлебов. В Вифлееме, в Назарете... На Генисаретское озеро... Хасида рыжего нашёл в шляпе. – «Вот, – говорил – вот, это то, что надо. Прямо Христос вылитый. Христос ведь еврей, иудей, только любовь проповедовал. Что любовь выше всех остальных заповедей. Это потом много чего напридумывали». А работалось тяжело. Писал картину, писал, переписывал... наброски дарил... Жили мы в хостеле, платить нечем было, картины рисовал вместо денег за еду и за ночлег. Он сам стал другой, Толенька, сам похож на Христа... Светился...

– И что дальше? – Нетерпеливо спросил Барыкин.

– А дальше дождь был, сильный. С грозой. Какие в Израиле бывают зимой. Вдруг постучал кто-то. – «Это он», – сказала Толя. Я посмотрела: и вправду тень, а за окном радуга и дорога, вроде на небеса. И Он идёт, Спаситель наш. И Толя за ним пошёл. Две тени, только Толина поменьше. Я долго смотрела, как поднимались. Небо словно горело. И они шли – всё вверх, ввысь. Иешуа шёл первый, а Толя чуть позади.

– «Иерусалимский синдром», – подумал Барыкин.

– Больше я Толю не видела, – продолжала Екатерина, – Его уж не было нигде. До последнего дня он писал картину. Огромную. Никак закончить не мог. Когда не работал, накрывал простыней. А тут я сняла покрывало: картина законченная стоит. Дорога в небо на ней, в небесах Бог-Отец, но его почти не видно, весь в лучах солнца. А по дороге идёт Иешуа – точь-в-точь тот хасид в шляпе, такой же рыжий, огненный, только одет по-другому, а за ним – Толенька. И сверкает у него вокруг головы нимб. А внизу – люди. Мечи побросали и лица такие, что видно: мир вечный наступил, царствие добрых.

На иврите возвращаться в Израиль: «восходить». Вот и Христос с Толенькой восходят над Иерусалимом, над Храмом.

– «Художник – это посвящённый, Мессия, – с некоторой завистью подумал Барыкин, – в художнике есть искра Творца». Впервые за многие годы Барыкин пожалел, что судьба уготовила ему участь банкира, а не художника. Пусть теперь он станет делать добро. Много добра. Будет другим. И всё же: что оставит он после себя? Деньги? Но деньги рассеются, обесценятся, как банкноты с Лениным, а от Зайцева останутся картины. Бесценные. Навсегда.

#### Примечания:

<sup>1</sup> Арманд Хаммер – известный американский предприниматель, входил в узкий круг бизнесменов, приближенных к советским лидерам. Встречался с Лениным и другими руководителями СССР. В качестве приближённого бизнесмена получил возможность в 1920-е – начале 1930-х годов покупать на льготных условиях реализуемые властями предметы старины, картины, скульптуры из Ленинградского Эрмитажа, перепродал на Западе коллекцию яиц Фаберже.

<sup>2</sup> Выставка МОСХа в манеже (1962 г.), на которой Н.С. Хрущёв устроил скандал вокруг работ авангардистов.

<sup>3</sup> «Бубновый валет» – первоначально такое название получила выставка художников-авангардистов (декабрь 1910 – январь 1911 гг.), впоследствии эти художники образовали одноимённое объединение. Просуществовало до конца 1917 года.

<sup>4</sup> «Лианозовская группа», «Сретенский бульвар», «Мухоморь» – неформальные объединения художников андеграунда в позднесоветский период.

<sup>5</sup> Бульдозерная выставка организована неофициальными художниками в 1974 г. в Битцевском парке. Снесли бульдозерами, отсюда название.

**МАРИНА КАРИО****С ВИДОМ НА ГОРИЗОНТ. СЮИТА СОЛО***Suite dell solo (nostos algos)\**

*«Человеку, который не видел даже звёзд,  
невозможно объяснить словами, как выглядит солнце»*

*Поэти Богослов*

**1. Дыхание**

Тебя называю на «Вы», а хочется просто по имени,  
летающим павлином, неокаймлённой строкой...  
Песнь шутовскую возникшей глухой со щетиною  
простёр чёрным веером над тягучей рекой...  
И вьётся строка в ароматах свеч молчаливых,  
названием «Эрос» отравлена присная мука.  
Я вижу восход, и рассвет в переливах,  
и как паука гладит нищего кровная скука...  
Нет Смерти! – Язык огнистый из плена!  
Отсватай от тьмы, как вино от вены японца!..  
Как жаль, я не шла за звездой Вифлеема,  
но жду осиянья восходящего солнца!

**2. Старик и Море**

Жизнь позволяет поставить «либо»,  
но замещает назойливым «если»...  
Падает дождь Саргассовой смесью,  
лопнувшим сердцем небесной глыбы.  
Старик и море, – как холст безвременья.  
Любовь – падение мужчины к женщине  
в простенке кухонном – прогрызло. В темени  
так непрестанно движенье к трещине.  
За жизнью смерть, за летом выпь нутра  
разъест, как ржавчина, этюд на чёрном.  
Смотри, как бог разделал ста – ри – ка,  
как сердце встало его покорно...  
И светят в том же небе звёзды.  
Жизнь, что он знал, была лишь жизнью дней...  
И горизонт обнимет море вздорным,  
и спляшут тени меж других теней...  
Чем это было? Поставить «либо»?  
Но одиночеству не по размеру «если»...  
Падает дождь Саргассовой смесью, –  
лопнувшим сердцем небесной глыбы.

**3. Танец**

Пружинит солнце с небосклона, словно мяч.  
Дым сигареты – плоть этилового света...  
Игрой двуглавой ставит свои меты  
священное величье в страх незряч.

Волна с усердьем серебрит песок.  
 Творенье бога жутко и прекрасно.  
 Безлюдный берег лабиринтно – одиноко,  
 в нём нет ни цели, ни желания, ни счастья...  
 В бескрайнее горит маяк, подточенный водой,  
 в коротком сне Иисуса сравнивая с Буддой, –  
 как стержень духа, не из тех, кто словоблудно  
 от жизни отрекается петлёй.  
 Кого снедает зависть даже к смерти,  
 а за спиною крылья, словно груз.  
 Кто дух крошит в бездушье в круговерти,  
 В ком истину обманом правит гнус...  
 Молчанье берега до ледяной, до боли,  
 и тонкий ветра свист длиннотно – крыл и зрим.  
 На дыбе вышнего так страстен и юдолен,  
 с бессмертием танцует «Элогим».

#### 4. Silence

Богоборческое море  
 смотрит мне в лицо.  
 Небо, опустив глаза от горя,  
 тщится в зеленцо.

Горе – море, море горя  
 по края войдя,  
 в лабиринты аллегорий  
 среди плоти дня.

Бог – любовь иль человече...  
 Я – вода в сети.  
 Что – то пало мне на плечи, –  
 надобно нести.

Гаснет солнце перехлёстом  
 из земных углов.  
 Мой глагол и вера просто  
 глубины улов.

Вдруг не хватит водам веры,  
 что – то изнутри  
 хладнобедрою гетерой  
 глоссит в эры три.

И в язычестве наружном  
 блудная луна  
 бредит в море, море – лужу:  
 – Бог, прости меня.



## 5. Logos

Кто твердил, весь мир  
лишь игра на струнных,  
и Шекспира Лир  
предан ядом юных.

Кем привита кровь  
во вселенской чаше...  
И борьба, как дробь,  
и закат всё краше...

И в глазницах лун  
тает веком точка.  
В волнах бродит мул,  
как в тетради строчка...

И устав от пыли,  
и в словах о прошлом,  
с телом бугенвиллей  
я, как – будто, сросшись, –

не пророк, не птица,  
и не шпорой бряцать,  
я молю напиться,  
не поправ, не спрятав,

лезу безуильно  
в горы междуречья  
жаждой бугенвильной  
и волнистой речью.

И сама тогда я  
стану счастьем вкратце,  
горном белой стаи  
и побегом в святцах.

Я прижмусь к тебе,  
я замру, как Хронос,  
у Кара – Тюбэ  
слышен пряжки голос.

---

\* *Сюита соло (ит.) (Ностальгия, гр.)*

## ART -PHAGOS

*Впечатление от театральных полотен Александра Головина*

На тёмном фоне светлые предметы,  
в небесной радужке глазнится жёлтый диск.  
Дрожа мелодией с акцентом фиолета,  
искусно – пепельно порывист пианист.

На золотом панно из хрусткого стекла,  
облокотясь о белые колена,  
жемчужною улыбкой день без тлена  
целует мёртвые слова.

И, в тишине, однажды ангел чёрный  
разверзнет истину, как ключ, – надежда есть!  
И ангел белый, чуть усмешливый и вздорный,  
на ушко зрителю шепнёт благую весть.

## ГАЛИНА БОГАПЕКО

### СУЖЕНИЕ МЫСЛИ

Мысли тянулись до прорисовки закатного берега.  
Может быть там, за картой, времени  
Нет, а есть ощущение парения?  
Может быть, там когда-то было всё, как на карте –  
И закаты, весенние закаты в марте,  
Когда солнце в инее на воображаемой линии,  
А под снегом дрожжевая опара – брожение?  
Сужение мысли во времени, время – разрастается,  
До горизонта, за горизонтом превращается  
В облако и теряет своё значение – в лилию...

### В ПУСТОЙ СОСУД

Гармония звуков как природный хор.  
Контур лица, сквозь линейный дождь вокруг, проступил.  
Я тебя жду? Ты меня ждёшь? Порознь! Вздор! – Нет уже сил!  
Как разгадать тайну дождя за пунктирами по вертикали?  
Мистический дождь – реальное мыслится нереальным.  
Привычно чего-то ждёшь, уже не астрального, а бытового сплошь –  
Одевания, переодевания – всё наизнанку, – к морю спозаранку.  
Иллюзия жизни и в радости, и в печали – в иллюзорной огранке.  
Провисла радуга в море, платочек-парус качает ветер потусторонний.  
Волнение тихое, движенье спокойное – иллюзия гармонии.  
Контур лица заполнил пустые глазницы – в память, в осуду...  
Сканирую из сознания мысли бесчисленные в пустой сосуд я...

### ГАРМОНИЧНЫЙ СЕКСТЕТ

Лёгкие пальчики листьев играли на воздушном кларнете  
и гусеница свисала на чудодейственной нити  
и жизнь замирала в спектральном значении света, цвета, и звука  
и лишь – уловима, лишь различима окружность значимой орбиты  
В ожидании звучания гармоничного секстета<sup>1</sup> –  
Жужжания жука, хлопка рундука<sup>2</sup> дятла тука, шелеста самбука<sup>3</sup>,  
Всплеска рук Сидни Хука<sup>4</sup> с виадука<sup>5</sup>  
Отголоски мистического – неосознанные молитвы...  
От звука заколебался воздух, всё разрушила – базука\*...

<sup>1</sup> Секстет – музыкальное произведение для шести исполнителей с самостоятельными партиями для каждого.

<sup>2</sup> Самбук, самбука – бузина.

<sup>3</sup> Хук Сидни (Нью-Йорк), американский философ-идеалист.

<sup>4</sup> Виадук – мост через глубокий овраг, ущелье или через дорогу, пути.

<sup>5</sup> Базука – ручной противотанковый гранатомёт.





## КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ

Я вижу печаль, беспросветные дали – сердечной картины Дали –  
В золотых облаках золочёные храмы, в золотых облаках святые хоралы –  
То песни вселенской любви.  
И облик святого с посланьем в руке на тихой, небесной, священной ладье,  
На сизой окраине неба.  
А ярусом ниже, в облачной низе, небыль – мираж семи кедров –  
Тень отразили к земле из выси кистью волшебного Феба.  
А на земле плодородной и вольной белый конь и двое влюблённых  
К лику святого обращены. – Счастливые справа стоят стороны,  
Ты – слева, один, ты без коня.  
На фоне сплошной темноты ты смотришь на небо, ты жаждешь огня,  
Любовной зари жаждешь ты...  
Я вижу печаль, беспросветные дали – сердечной картины Дали –  
В золотых облаках золочёные храмы, в золотых облаках святые хоралы –  
То песни вселенской любви...

## ВО МРАКЕ КИПРА

Воздушные прыжки кузнечика со скрипкой и скрип твоих суставов по траве...  
А я ловлю заход на побережье Кипра – вот-вот и солнце в море упадёт.  
В последний миг мелькнёт на рукаве и кипень волн на берег забредёт,  
И на канве в прибрежном естестве огромный рак скользнёт и вдруг замрёт,  
И чёрный берег канет в мрак. Всё живо, всё пока ещё живёт.  
Я вспомнила тебя, ты тоже – Рак, но ты скрипишь и топаешь вперёд...  
Воздушные прыжки кузнечика со скрипкой и скрип твоих суставов по траве.  
Ты где-то в Подмоскowie иль в Москве, а я во мраке сказочного Кипра...  
На чёрный берег чёрный влезет рак, на полусогнутых, ногах без скрипа...

## ПРАЗДНИК НА КАЧЕЛЯХ

Осень – багряная, благодатная, задумчиво-яркая, нарядная.  
Я оседала Пегаса, скачу по лабиринту вдохновения отрадного...  
«Сходненская» – двери закрываются, еду опять на «Баррикадную».  
Совестно, шепчу заклинанья заикаясь, обращаясь к святой Ариадне.  
Совестно ударяться в молодость, совестно чувствовать себя влюблённой,  
Совестно чувствовать себя вольной, совестно, потому что у многих горе...

\*

Я представляю себе перспективу – я – в пустыне по пояс в песке.  
Небо бледно-фиолетовое с синью и горный массив вдалеке.  
Я подпираю правую щёку и упираюсь в песок локтём.  
Тень моя длинная, почти около этих неровных из глыб гор,  
Часть её на сероватом песке, большая – на фиолетовом пространстве,  
А в перспективе – голова дельфина – в трансе.  
А горы – фигуры тех, кто в горе, но как поделиться счастьем?

## ДУРОЧКА

Дурочка, также как и Емея, мудра своей деревенской мудростью,  
Живёт, как живётся – в Бога веруя, бремя ровняя в ступе с тупостью,  
Мечтает о разных чудесах – скоро окатится кошка, которая на сносях,  
Будет много хорошеньких котят, скоро появится старый монах  
С лукошком, принесёт гостинцы от прихожан и помолится с ней немножко,  
А может с собой заберёт в храм, там пахнет ладаном и святостью,  
Там будет она молиться Богам и возвращаться домой по пятницам.  
Дурочка не умеет ни читать, ни писать, но зато знает целебные свойства растений,  
Умеет крестиком иконы вышивать, любит церковное песнопение...  
Вот такая миссия у неё на земле – одной цепи похожие звенья...  
Сегодняшний день повторит завтрашний день, и так до светлой смерти с терпеньем...

# «ШШКАФ»

**ДМИТРИЙ АРТИС**

## ЕСТЬ ТАКОЙ ЧЕМОДАНОВ

(Андрей Чемоданов. *Ручная кладь*. – М.: Воймега; Творческое объединение «Алконостъ», 2016. – 128 с.)

Нужно воспринимать любое отрицание той действительности, с которой не соприкасаешься (или не хочешь соприкасаться), единственно возможным доказательством её безусловного существования (её необходимости). По большому счёту, отказываясь от (казалось бы) излишних материальных благ, сам того не осознавая, человек выстраивает свою жизнь в полной зависимости от них. Общение с вегетарианцами непременно сводится к разговору о мясе. В прошлом изрядно выпивавший при каждой встрече будет сообщать вам о том, что вот уже энное количество времени совсем не пьёт. Месяц, два, год, пять лет, семь, десять... Конечно, радуетесь за приятеля, но будьте готовы к тому, что если раньше вы могли вместе зайти в какую-нибудь забегаловку, опрокинуть рюмку-другую и поговорить о том о сём, то сейчас будете показательно отведены подальше от возможных искушений и втянуты в утомительную беседу, где вам уготована роль восхищающегося стойкостью и выдержкой завязавшегося человека. И больше ничего. Зависимость от алкоголя переходит в зависимость от разговоров о пагубном влиянии алкоголя на здоровье человека. И ещё непонятно, от какой зависимости больше вреда.

*я скажу одно мои соколики  
общим с вами воздухом дыша  
вырасту и стану алкоголиком  
к этому лежит моя душа*

Книга Андрея Чемоданова «Ручная кладь» – вся – от заголовка до содержания (его мессиджа) – наполнена отказами и отрицанием. Только

они – отказы и отрицания – являются движимой силой. Разрушающей. А как иначе можно оценить на первый взгляд изящную, но в действительности – зловещую самоиронию, где фамилия автора уменьшается до названия книги? Желание сбросить с себя бремя наследственности, отказаться от рода и крови, попытаться переродиться в ручную кладь – *пойти* по миру, прихватив с собой старенький транзистор, будто из воздуха выхватывающий старенькие богом забытые мелодии прошлого, и попытаться *дойти* до первозданности, пусть не в физическом, но хотя бы в духовном смысле.

*и первородства чечевица  
кипит в протянутой руке*

Отказ и отрицание становятся навязчивыми идеями. Сегодняшняя действительность в сознании автора откатывается назад. Он живёт не здесь и не с нами. Он там, всё ещё в подростковом конфликте отцов и детей, собирает бычки возле кинотеатра «Художественный», таскается по Арбату, где, к слову сказать родился и жил до недавнего времени, всё ещё слушает каких-нибудь битлов вперемешку с Высоцким и Аркашей Северным, с придыханием поглядывает в сторону Запада, мифологизирует Америку, но при этом к месту и не к месту цитирует (если уж не наше всё, то всё наше посконное) Есенина.

*старый старый смешной дуралей  
кто-то скажет наверно гад же ты  
все же знают живых людей  
поимели стальные гаджеты*

Оформленные без знаков препинания стихи (заметьте, опять отказ и отрицание, в данном случае, первичных признаков грамотного письма) имитируют бормотание. Но в этом бормотании нет ничего схожего с ныне модным девачковым потоком сознания или с несвязной речью городского сумасшедшего. Речь автора последовательна. Пусть и напоминает периодически (вот и тяга выпестовать нечто первозданное!) выращенного в домашних условиях гомункула – это, знаете, когда под скорлупу цельного куриного яйца загоняют мужское семя, заклеивают скотчем дырочку, оставленную шприцем, и кладут его (яйцо, стало быть) в тёплое и тёмное место, а спустя месяц разбивают скорлупу и на свет появляется дурнопахнущее живое, но не способное к жизни, существо величиной с мизинец младенца. Вы разглядываете *это получившееся*, угадываете головку, тельце, ищите схожесть с человеком, самим собой, испытываете то отцовские чувства, то чувства брезгливости, но, в конечном итоге, выбегаете на лестничную клетку к мусоропроводу и избавляетесь от нежелательного наследника, всем своим видом порочащего вашу человеческую сущность.

*...на месте продюсера-бога  
дал себе бы всего три балла*

Однако вы не найдёте в книге лукавых премудростей, описания алхимических опытов и почёсывания левой рукой правого уха. Всё, что автор пишет, ясно как божий день. Пусть и не близко, но понятно. Без вранья. Не близко, потому что автор осознанно отстраняется от читателя, не пытаясь угодить, потрафить чьему-либо вкусу, напротив, навязывает свой. Бьюсь об заклад, даже если вам стиль автора чужд от природы, у вас иной взгляд на жизнь, мир, литературу, то при прочтении книги стихотворений Андрея Чемоданова, упаси господь, конечно, но вам будет сложно вернуться на свою волну, не поддаваясь убедительности его письма.

*я помню спидолу в которой был сева  
всё время шикшиканья или  
а (души) взрывались как будто консервы  
мы живы пока не нашли  
шур-шур и шур-шур и шу-шу джимми хендрикс  
и снова шур-шур рок-н-ролл  
я слушал шушание радостно щерясь  
как будто я знаю пароль  
опять под шушукание непогоды  
короткие волны как ад  
нам снова зашикают нашу свободу  
и наш интернет зашуршат*

Книга разбита на четыре части. Первая часть – «спидола» (стихи о детстве, отрочестве и юности автора) – напичкана, как впрочем и другие части книги, всевозможными цитатами, реминисценциями, цитатами, аллюзиями. Всё это круто заваренное месиво позволяет нам понять среду обитания автора, культурный пласт, лежащий в основе его мироощущения. Нет смысла перечислять всё, к чему (и к чьим произведениям) отсылает Андрей Чемоданов, потому что многие отсылки работают исключительно на подсознательном уровне – они врываются в обыденную повседневную речь, как звуки идущие фоном из старенького транзистора, иногда попадая в смысл самостоятельной авторской речи – дополняя её, иногда противореча ей, как бы намекая на то, что в этом случайном несовпадении можно найти какие-то скрытые логические содержания (первые, вторые, третьи, ..., седьмые планы), ибо нет в мире ничего случайного. Хотя, конечно, случайного в мире хоть *попой-спб* отбавляй. Повторюсь, нет смысла перечислять всё, к чему отсылает, но очень важно упомянуть этот постмодернистский приём, поскольку он характеризует авторский стиль, определяет его.

*частично но я всё-таки умру*

Во второй части, судя по названию – «а может быть зай-зай», настройки транзистора сбиваются на волну с поп-музыкой. Здесь собрана (в меру авторской возможности) сладенькая, но не без горчинки любовная лирика. Всё, что можно сделать со словом «заяц», употребляемое в качестве эпитета для большей художественной выразительности испытываемого чувства (зая, зайчище, зайчонок, заяц, зайзаец) – неразделённого чувства, сделано.

*как нелегко жить без зай зая*

Третья часть, как следствие второй, суицидальная – «ай-ай». Автор перебирает известные способы самоуничтожения – вешается, стреляется, травится – но при этом, как заяц из всем известной детской считалочки, оказывается всегда живой, даже если в своих фантазиях уже давно похоронен.

*свадьба риса бросайте горсти  
предоплаченным голубям  
а меня оцарапал гвоздик  
гробовщик был немного пьян*

*не узнаете как люблю вас  
в темноте моей тесноте*



*мой забитый землёю голос  
отразится от средостен*

*я шуршу словно жук в коробочке  
вы повадились снится мне  
прилетайте ко мне воробушки  
на ваганьково по весне*

Не правда ли схоже с уже ставшим фольклорным: «Мы лежим с тобой в маленьком гробике, / Ты костями прижалась ко мне, / Череп твой, аккуратно обглоданный, / Улыбается ласково мне». Только в приведённом первоисточнике бесконечно счастливая история – умерли в один день и похоронены в одном гробу – у Чемоданова, как и должно быть в трагической истории неразделённой любви, всё по-гоголевски очень плохо. Жил один, умер один, похоронен один, но даже после смерти автора *Она* не перестаёт приходить к нему во сне. Вечно видеть во сне одну и ту же женщину, сродни проклятью Канна, – большего наказания для себя придумать просто невозможно, поэтому, наверно, смерть, как выход из ситуации неразделённой любви, становится практически нереальной.

*в аду в раю одни и те же песни*

Далее, по логике автора, не лишённого, к слову сказать, инстинкта самосохранения, ибо рыба ищет место, где глубже, а человек, где проще, спасительной соломинкой становится ничто иное, как нормальный такой, мужской вялотекущий, но продолжительный уход (или всё-таки выход?) в запой. Отсюда – четвёртая часть книги «несознанка».

*ты прокрадись и найди пальто  
там на фрючке звезды  
может в кармане найдётся сто  
граммов от темноты*

Но это выход самого автора, а что делать читателю? Можно ответить на вопрос словами послесловия к книге стихотворений «Ручная кладь», которое написал Евгений Лесин: «Когда вы просто знаете, что вот есть такой Чемоданов – уже легче жить и любить».

## ДАНИИЛ ЧКОНИЯ

### К МОРСКИМ ГЛУБИНАМ ТЯНЕТСЯ ДУША

*(Вера Зубарева. Тень города, или Эм Цз в кругу. Стихотворения и поэмы разных лет. – 204 с.  
Charles Schlacks, Jr. Publisber Idyllwild, CA 2016)*

В новой поэтической книге Веры Зубаревой отчетливо проявлен её давно сложившийся творческий характер. Свойственная ей негромкая интонация – свидетельство того, что автор доверяет своему читателю, хорошо знает и чувствует его. Она не дёргает за рукав торопящихся в человеческом многолюдье, не заывает суетящуюся толпу, вообще, кажется, не требует внимания – возникает ощущение, будто Зубарева сосредоточена на внутреннем монологе, ведёт разговор сама с собой.

Очень точно отметила эту особенность стихотворной речи автора поэтесса Елена Скульская, писавшая о стихах Веры Зубаревой: «*это нашёптывание, тихое нашёптывание собеседнику, почти его, собеседника, внутренний голос, который звучит всегда нежно, но убеждённо, трепетно, но настойчиво. Тихая прелесть стихов Веры Зубаревой проникнута прохладой и тенистостью, столь важными в крикливые и жаркие дни.*»

Иными словами, внутренний монолог всё же предполагает читателя, способного вслушиваться и слышать эти стихи. Образ обретаемой тишины,

в которой может быть услышано самое лёгкое, тонкое, почти прозрачное движение вполне уверенной рукой, отражён в одном из её стихотворений:

*Целебный запах водорослей. Снова  
Пришла сюда. II берег не в сезон –  
Как мир доисторических времен,  
Где никого не посещало Слово,  
Где тишиной усилен каждый звук  
II поле зренья занимает жук,  
Чье шумное сыпучее старанье,  
Должно быть, слышится  
На много миль вокруг.*

Тишина, в которой отчетливо слышно «сыпучее старанье», есть и самохарактеристика творческого метода Зубаревой, и условие, необходимое для восприятия её негромкой интонации.

Тогда и становится видимым и слышимым мир её поэзии, в котором перетекает «незыблемое в зыбкое», босые ступни мнут «пластилинный асфальт»

(одна деталь, но какая же точная метафора знойного летнего дня!) и «облезлые большие лежаки» на пустынном зимнем пляже. Кстати, это постоянно звучащая тема – пляж и море во внесезонное время, тема, хорошо понятная всякой романтической душе, особенно «тем, кто рождён был у моря». Отсюда ещё одна метафора зимнего моря:

*Только кутерьма  
Движение осуществляла в снеге.  
Сверкали льдинами холмы  
На побережье странно белом.  
Так замерла душа волны...*

Эта замершая душа волны дорогого стоит. И когда читаешь у Зубаревой: «Уж за полночь. Штормит моя тетрадь. / Ей снова в малом хочется о многом», понимаешь, что это принцип художественного мировосприятия поэта, что способность сказать «в малом о многом» – одна из черт многогранного поэтического дарования Веры Зубаревой. Отсюда же одушевлённость одного из многочисленных образов солнца, возникающих в стихах этого автора:

*Солнце рассматривает глубины.  
Приникая к поверхности  
Почти неподвижного моря.*

Тема моря в творчестве Зубаревой – тема действительно особая. Она пронизывает корпус стихов камертоном, дающим настрой на общее восприятие творчества поэта, на то состояние души, которое ведёт автора от впечатлений детства к мировосприятию её сложившегося поэтического характера:

*К морским глубинам тянется душа.  
Туда же осень тянется за летом,  
Туда уходит день за новым светом  
И мысль за отрицаньем рубежа.  
К морским глубинам тянется душа,  
Чтоб в голос крови вслушаться взвзвяску,  
Следить, как жизни бродят нараспашку  
По фрамке неизвестного числа...*

Это из стихотворения памяти отца, Кима Беленковича, человека, чьей профессией, чьим призванием было море. Что тоже во многом объясняет особое отношение к теме моря у автора.

Но у этой темы есть ещё один аспект: она, тема Моря – порой тревожная, но всё равно солнечная, просветлённая, – звучит альтернативой теме Города, где Город – в образной системе Зубаревой – предстаёт в облике упрямого го-

рода-призрака, города-Пилата. Не случайно же эпиграфом к новой книге поэт ставит эти свои давние строки:

*Пляж пустел стремительно и фрамко.  
Охали раздутые трамваи.  
Ветер бережно расправил фрамку.  
Переполненное солнце  
Вздрыгнуло слегка –  
Пролилось в облака.  
Город отразился на щите заката  
Призраком Пилата...*

Этот образ Города тоже звучит сквозной темой новой книги, внушает тревогу, напоминает о жизненной драме, о трагедийности жизненного пути, который уныло движется к своему исходу:

*Манхэттен. Солнце, не выдержав нагрузки,  
Плюхнулось на небоскрёбы,  
Распласталось на брюхе.  
Сваленные в кучу, как битые моллюски,  
Темнеют бездомные. К ним ластятся мухи,  
Лижут им лица, мурлычут, кланчат,  
Ходят кругами, тычутся мордой  
В позеленевшие блюдца фонтанчиков.  
Сабвей приливает электричками к городу.  
Вспыхивают осколки стеклянных офисов.  
Закат. Манхэттен объят пожаром.  
Жёлтых такси обозлённые оси  
Несутся, сигналивая пронзительным жалом.*

Да простит меня читатель за обильное цитирование, но, как водится, стихи лучше всего говорят сами за себя, разбросанные по разделам книги, они не дают расстаться с этой художественно осмысленной характеристикой Города:

*Снова в Городе отключили день.  
В тетради – темень, всё вповалку,  
Слово на слове... Мир обалдел.*

Но, кажется, пространство, которое пронизывает взгляд поэта, выходит за рамки земного, как эти строки из цикла «Записки лунаспешного»:

*Три часа ночи. Луна в повязке тучи  
Мучается мигренью.  
От этих дождей разбухла и выглядит пьющей,  
А на самом деле  
Сухой закон на её поверхности,  
И в кратерах – сплошная желтуха.  
Кажется, тронешь – и распадется от ветхости.*



Тем дороже – на фоне этой темы – звучание пронизанной солнечным светом морской волны. Чем острее драма жизни, тем ярче радость проживания каждого дня, красота окружающего мира – не об этом ли стихийное движение стиха?! Кстати сказать, стихийность радует в стихах поэта Веры Зубаревой: у неё нет дидактических концовок, заранее просчитанных холодным умом псевдоафористических предложений. С читателем делится своими чувствами, переживаниями, сомнениями истинно лирический поэт, а не делатель зарифмованных тезисов. Такие стихи обычно рождаются на коротком дыхании, выплескиваются на едином выдохе.

Но поэтическое мастерство Зубаревой даёт ей возможность держать тонус текста на протяжении многих страниц, как это происходит, например, в её поэме «Свеча». Сюжетная линия поэмы развивается не по законам прямой стихотворной речи, не повествовательным каноном, а густо прописанным образным языком, поддержанным свободным интонационным дыханием. Ощущение такое, будто целая поэма выплеснута, словно короткое лирико-философское стихотворение. В ход при этом идёт всё: и ритмизованный нерифмованный текст, и жёсткий ритмический рисунок стихотворного рифмованного текста. Здесь тоже звучит тема Города, приобретая трагедийный характер:

*Город спит под конвоем снов.  
Город видит туннели дул.  
Город гонят вдаль мостовой,  
Чтобы он никуда не свернул,  
Чтоб он двигался в массе тел  
К точке ада, адам ведом,  
Был насаженным на вертел,  
В чреве мёртвой кипел живём,  
Слушал плоти жгимаемый зов,  
Ликованья победной орды,  
И не вышел уже из снов –  
Из последней своей беды.  
А меня там давно уже нет.  
И в окошке моём луна.  
И в будильнике ждёт рассвет.  
А во сне у меня – война.*

Перед нами всё та же Вера Зубарева: искренняя, мыслящая не риторическими стишками, а хорошо выверенным образчиком русской стихотворной традиции. Потому так часто остаётся сама и оставляет в растерянности своего читателя Вера Зубарева:

*Холода. Отмирает тепло. Но зато – вместе с болью.  
Значит, то, что болит или греет, увя, не душа...*

А что же, если не душа? – воскликнет читатель. В сосредоточенной тишине стоит задуматься и об этом. К сопереживанию, к сомыслию приглашает Вера Зубарева читателя своей новой книги.

## АЛЕКСАНДР КАРПЕНКО

### «ЗОЛОТАЯ ОСЛИЦА» ЕЛЕНА ЧЕРНИКОВОЙ

эссе

«Золотая ослица» – циклическое произведение, где всё подчинено логике рассказчика. Этим роман Елены Черниковой сходен с такими известными произведениями мировой литературы, как «Декамерон» Боккаччо, «Гептамерон» Маргариты Наваррской и, конечно же, «Тысяча и одна ночь». Разве что рассказчиков в романе Елены Черниковой – два. Но сообщают они одну и ту же историю-судьбу, только поочередно и в разных подробностях. Ритмика «Золотой ослицы» прерывиста, словно разгорячённое бегом дыхание. Автор романа широко подтрунивает над такими эпическими героинями произведений русской классики, как Татьяна Ларина, Наташа Ростова и бедная Лиза Карамзина. И происходит это глав-

ным образом потому, что героини Пушкина, Толстого и Карамзина чопорны, зажаты, не героичны и вряд ли могут всерьёз восприниматься новыми поколениями русских женщин в качестве идеала и образцов для подражания.

Собственно говоря, философия, психология и скрытый подтекст доминируют в «Золотой ослице» над сюжетом, как и в произведениях писателей-предшественников. Роман создавался на сломе временных эпох, когда в стране заканчивалось время царствования советской женщины как общественного феномена. Известно, что любой исторический крен в конечном итоге стремится к своей противоположности. Так и новые русские женщины (молодёжный состав) устремились от

нетворческой зажатости к чрезмерной раскованности, что и показала в романе «Золотая ослица», с присущим ей эстетическим блеском, Елена Черникова. Если в советское время секса «совсем не было», то в романе Черниковой, наоборот, его целый воз и одна тележка. «Золотая ослица» – роман о возможности женской полигамии (не путать с Полигимнией). Правда, у меня сложилось впечатление, что полигамия Ли каким-то образом связана с её молодостью и проживанием в общежитии, где легко влюбляться в разных мужчин, поскольку в узком пространстве проживает сразу несколько прекрасных представителей противоположного пола. С течением времени полигамия такого рода должна естественным образом пройти, как один из видов крайности, как рудимент молодости. Поскольку это неудобно в быту и вечно создаёт человеку ненужные проблемы.

Елена Черникова блестяще оперирует в своём повествовании крылатыми фразами русских классиков, раскавычивая эти фразы и придавая им совершенно неожиданный смысл. Как будто эти крылатые фразы, уже успевшие стать штампами, изрекаются персонажами романа «на автомате», машинально. «Золотая ослица» – это русская Камасутра, только повенчанная с серьёзным, философско-экзистенциальным контекстом, вроде «Фауста» Гёте. Эротическая составляющая помогла издательскому продвижению «Золотой ослицы», но, кажется, навредила роману в глазах критики, не разглядевшей в этом авантюрном романе фаустовскую составляющую.

Елена Черникова использует катарсис как внезапное перерастание повествования из откровенного эпатажа в трагедию. Один из самых удивительных фрагментов романа – превращение главной героини в мужчину, с сохранением синхронного женского и мужского мышления. Эта неоплатоновская андрогинность героя/героини и есть одно из безусловных открытий «Золотой ослицы». Черниковский андрогин, облачённый в мужское тело, мыслит и как мужчина, и как женщи-

на. Недостаток мужского опыта компенсируется в новом существе избытком женского.

Роман Елены Черниковой асимметричен – ещё не закончились буквы алфавита, а второй рассказчик уже выдворен вон. По этому поводу я думаю, что дьявол в романе Черниковой не конгениален самому себе. Но само по себе появление князя тьмы в романе вполне оправдано с драматургической точки зрения – оно напрямую связано с клинической смертью героини и блужданию её души по сопредельным мирам. Есть романы, в которых всё настолько продумано, что, кажется, нельзя прибавить или убавить даже слова.

Я думаю, что привязка «Золотой ослицы» к Апулею – во многом искусственна, а в качестве источника вдохновения больше подошли бы тот же «Фауст» или «Мастер и Маргарита». Или, скажем, стихотворение Набокова «Аплит». Елена Черникова пишет, что хороший секс – это талант от Бога, что этому нельзя научиться по учебнику, даже самому лучшему. Это творчество двоих, обречённое оставаться тайным. Учебники любви – бессильны. Может быть, и хорошо для романа, что интимных отношений в нём так много: в конце концов, невольно начинаешь обращать внимание на другие ветви сюжета, до поры до времени словно бы затаившиеся в засаде. Роман – достаточно сложная форма литературного произведения. Особенно в тех случаях, когда существует заранее объявленная автором сюжетная заданность. В случае с романом Елены Черниковой это – необходимость исчерпать в повествованиях весь русский алфавит. Возможно, мне это только показалось, но сложилось стойкое впечатление, что к концу алфавита у автора наступила «усталость металла». И захотелось побыстрее закончить роман. Романное время к финалу убыстряется, как в кали-юге. А, возможно, именно так и было задумано. Как бы там ни было, «Золотая ослица» широко представляет демнургические возможности Елены Черниковой, уникального автора, создателя новых миров.



# АЛЕКСАНДР КАРПЕНКО

## ДЖЕН, ДЖИН-ТОНИК РУССКОЙ ПОЭЗИИ о поэзии Евгении Джен Барановой

*Взлететь рассудком до такой черты,  
до той вершины,  
до того нектати,  
что будущность представится простым  
числительным у Господа в тетради.  
Евгения Джен Баранова*

Евгения Джен Баранова пишет обо всём на свете. Сквозь «географическую» тематику у неё часто просвечивают иные смыслы. Рифма часто неточна, но именно такая рифма – важный элемент поэтики автора. Взрывной характер Евгении, её импульсивность приводят в стихах, как это ни странно, к недосказанности. Поэт, начиная говорить об одном, легко перескакивает на другое, отчего то, о чём он начинал говорить, обрастает ореолом недосказанности, тайны. И для всего стихотворения это хорошо. У Евгении – свой узнаваемый почерк. Порою кажется, что это – современные вариации на заданные ещё классиками темы. Баранова часто использует в стихотворениях новую лексику, и это вовсе не молодёжный жаргон, как можно было бы подумать, исходя из возраста автора. Так говорят и так думают наши современники.

Пожалуй, одной из основных особенностей творчества Евгении Барановой является стремление сбыться во что бы то ни стало. В этом – настоящее подспорье для её поэзии. Причём, в отличие от многих русских поэтов Серебряного века, она не намерена сжигать свою жизнь во имя поэзии. Поэзия и жизнь для Евгении Джен Барановой если не тождественны, то, по меньшей мере, равновелики. «*Меня растрачивает жизнь*», – признаётся Баранова. Жизнь значительнее посмертной славы. Она не намерена «спадить себя».

Блок говорил, что вся поэзия – обмолвка. Вот и у Е.Б. вдруг священной обмолвкой в стихотворении о кино вдруг слышим: «*Если подумать, мы только титры...*», «*Оставь меня не встреченной тобой...*». Современной Галатее приятнее остаться в мраморе, нежели попасть в руки бездарного скульптора. Подвижная психика героини требует всё новых впечатлений и переживаний. Жизнь – вообще очень хороший редактор. Неточные рифмы, которыми в изобилии пользуется Евгения, помогают обогатить словарный запас. Ведь есть много слов, у которых достаточно скудное количество точных рифм. Евгения чуть-чуть «цепляет» звук, не добиваясь максимального созвучия.

В стихах Барановой есть какая-то внутренняя тревога, сожаление по поводу преходящести, неуловимости всего действительно ценного.

*Не уповай на ближнего. Не спеши.  
Внутренняя Монголия подождёт.  
Ближнему хватит бледной своей души.  
Ладные души нынче наперечёт.*

*Не доходи до сути, не щупай дна.  
Перекрестился в омут – да не воскрес.  
Омулем-рыбкой пляшет твоя струна  
в солнечном масле, выжатом из чудес.*

*Ты себе лестница,  
лезвие да стекло,  
редкий подарок,  
изморозь,  
ведьмин грех.  
Ближний спокоен – ближнему повезло.  
Не заслоняй пространства! Послушай всех.*

*Жадным камином совесть в тебе трещит:  
Хватит ли дара? Хватит ли дару слов?*

*Не уповай на ближнего. Сам тащи  
светлую упряжь невыносимых снов.*

Как интересно Евгения трактует смыслы слов и географических названий! «Внутренняя Монголия» – это вещь в себе, это движения души, которые не должны транслироваться вовне. Внутренняя работа поэта, согласно автору, чтобы быть эффективной, должна быть хорошо сбалансирована. Пастернаковское «дойти до самой сути, до сердцевины» – может быть уже перебором. Хотя в реальной жизни чаще об этом не думаешь. Об этом заботится твой ангел-хранитель. Любовь и поэзия – сквозные темы творчества Евгении Барановой. Жизнь для лирической героини стихотворений Барановой – это бесконечная цепь рождений-маленьких смертей, которые переживаются, как большие. И каждый

такой цикл, как матрёшка, вставляется в другой, ему подобный.

У Барановой всё идёт через призму поэзии, всё равняется на поэзию:

*Подержи меня за руку. — Пол трещит —  
Поищи мне солдатиков или пчёл.  
В моём горле растёт календарь-сашиит  
и рифмованно дышит в твоё плечо.*

*Коктебельская морось, вино и плов,  
пережитого лета слепой навар.  
Подержи меня за руку.  
Лишь любовь  
сохраняет  
авторские права.*

*Как наивно звучит!  
Так лиане лжёт  
постаревший в радости кипарис.  
Всё проходит / в прошлом / прошло / пройдёт —  
для чего торопить тишину кулис?*

*Так готовь же алтарь, заноси кинжал,  
доставай ягнёнка из рукава.  
Ты держал меня за руку! так держал!  
Показалось даже, что я жива.*

Есть у Евгении Барановой своё ноу-хау в строфике. Это уточняющие предмет или эмоцию однокоренные слова, идущие через дефис или косую линию. А ещё — иногда история любви у Барановой, несмотря на всю свою серьёзность, откровенно пародийна по отношению к произ-

ведениям классиков. Например, вот замечательная пародия на Пушкина. «Я Вас любил. Любовь ещё, быть может...»:

*Мой первый муж  
(он трудный самый)  
мне говорил: умрём  
вдвоём.  
А я его любила, мама,  
как старенький аккордеон.*

*Как вечера на кухне общей.  
Как чая благородный чад.  
А я его любила...  
Больше  
об этом вряд ли говорят.*

*И так легко,  
светло,  
упрямо  
цвела под рёбрами свирель.*

*Я так его любила, мама,  
как не люблю его теперь.*

Многое могут рассказать о человеке его любимые книги, кинофильмы, герои. У Жени Барановой и Владимира Семёновича Высоцкого одна и та же любимая книга — «Мартин Иден». Люди, которые зачитываются знаменитым романом Джека Лондона — это целеустремлённые лидеры, которые будут добиваться поставленных ими целей, чего бы это им ни стоило. И они своего добьются. Я в этом несколько не сомневаюсь.

## ЛИКА СЛАДКОВСКАЯ

### ЕСТЬ У БЕЗГРАНИЧНОСТИ НАЧАЛО, НЕТ У БЕЗГРАНИЧНОСТИ КОНЦА о поэзии Марины Матвеевой

Любая странность этого мира, несколько колеблющая «незыблемую» действительность, упрямо не замечаемая усреднёнными реалистами, поставленная на конвейер деградации скептиками и циниками, и — являющая чудо благодаря мечтателям — начинается с провозглашения банальной истины. Возьмём, к примеру, лозунг: «Всё, что не проза, то поэзия». Проблемы всех истин в том, что их во что бы то ни стало желают доказать. Для случайно попавших в поле действия истины она становится прямо-таки математическим объектом, и совсем даже не параллельными прямыми, мно-

жествами «а» и прочими иллюзорными китами, на которых возлежит царица наук.

Стоит ли доказывать фиолетовость верблюда и непрозрачность поэзии? Поэтический борщ и фитнес, поэзия постельного белья, бюспальтеров, снежинок на холодильнике... Встаёт вопрос о начале безграничности — и в наше повествование закрадывается на лапах абсурда оксюморон. *Есть у безграничности начало, нет у безграничности конца.*

В начале поэзии была Женщина. Поскольку нашим спонсором является личное мнение, а не феминизм, как кто-то мог бы помыслить, мы не



ставим среди задач борьбу против мужского гнёта и за самореализацию, согласно набору хромосом. Мы лишь ищем путь становления поэзии или историю возникновения Марины Матвеевой как сторонника оксюморонности бытия. Вряд ли кто-то воспротивится константе, что женщина существует в строках прозы – что и заставляет её порождать поэзию в её завуалированных ипостасях, и тогда слово расцветает на подоконнике, прокладывает путь к сердцу мужчины знаменитым маневровым путём, закрадывается в бисер, пяльцы, ложится на ногти и прочие природные поверхности, служащие мольбертом и блокнотом одновременно.

Некоторые женщины выбирают ещё более нелёгкий путь и становятся поэтессами – используют слово по прямому назначению, не ища его в опредмеченной немоте, что одновременно становится декларацией поэзии, которая по умолчанию зовется женской (субстантивированный эвфемизм к префиксу «недо»). Они пишут и на всякий случай зовут себя поэтами (первое склонение имён существительных, нулевая флексия – или зануление половой принадлежности). Их поэзия не имеет права на автономность и элитарность, на интеллект и традиции Бродского, она может быть лишь продолжением внешних показателей или же изыскательным наклоном внутренней оригинальности, что вызывает у масс – в силу нестандартности формы выражения поэтического женским голосом – стремление обнаружить подвох, обвинить женщину в душевном гермафродитизме. Собственно, потому из поэтесс у нас Цветаева, Ахматова и Ахмадулина. Прежде всего лесбиянки, плохие дочери, синонимичные матери, подозрительные личности, и вообще, женщина «должна яйца нести» (тьфу!) детей рожать.

Появление Марины Матвеевой как мастерицы не только борщей, но и слов. Поэтессы, которая, соответственно хромосомам (дабы не становиться вопросительным знаком в головах знатоков гендерной социологии) должна, раз уж, впоследствии неосмотрительного введения всеобщего образования, научилась выводить ручкой узнаваемые кодифицированные знаки, – обязательно живописать ЕГО рубашку, небритость, самцовость... Заставляет ввести в теорему поэзии вторую неизвестную.

*Бог – это потолок  
комнаты надо мной.  
Если мне нужен Бог,  
стану его стеной.  
Лягу я на кровать  
комнаты без окон.  
Не на кого плевать –*

*я не люблю икон.  
Плюнешь на потолок –  
инда себе на лик,  
ай да себе на лоб,  
токмо себе и крик.  
Как открячит, поймешь,  
как бесполозен он.  
Бог – это пото-ложь  
комнаты без окон.  
Хоть привались к стене,  
хоть на полу отвой –  
разницы, жено, нет –  
дом. Потолок. Он твой  
щит от земных потерь,  
кокон земных забот.  
Он говорит: «Я дверь,  
люк и подземный ход –  
лишь проруби! Давно  
нет топора – зрязи.  
В комнате есть окно,  
просто оно в зрязи.  
Мой! П увидишь свет.  
Драй! П услышишь слог.  
Глаз отвечает: «Нет.  
Визу: ты – потолок».*

Не любить людей положено Бродскому, ему же полагается размышлять о Боге и прочих умных вещах, тогда как для женщины интеллект – это крест, уродливый шрам. Если случилось, пусть имитирует женственность глазами потребителей поэтичного. Марина Матвеева и это сумела. В связи с чем возник проект «Переведи меня через себя», где она к своим оригинальным произведениям прилагает автопереводы – нечто вроде игрового элемента в поиске согласия с публикой, которая смотрит на склонение имён собственных и не смотрит в словарь, желает читать о себе на родном языке и не желает читать вовсе. Так, поэзия переживает очередную трансформацию в поиске сенсорного органа.

Оригинал:

*Ты помнишь эту молнию над городом?  
Смотрели мы с седьмого этажа,  
из той квартиры, где, зарывшись в бороду  
Всевишнего, мы спали – два мыша  
в норе без выхода. П смели требовать  
у стен, зажатых в цепенькой горсти,  
чтобы щетинки закрывали небо нам,  
и мы его не видели почти.  
...А первую дождевку, слишком нежную  
для авторского зноя этих дней,*

вонзивиющую четко, строго между на...  
 Между народами в большой войне.  
 Увидели друг друга – галлы с бриттами, –  
 и любопытство вырвалось из рук:  
 как не познать нам Саваофа бритого,  
 а может, скошенного, будто луг?  
 ...А первый гром, который не встревожил и  
 не бросил в мозг стихийный недосмысл,  
 где выпадали волосинки Божии  
 под лапами пассионарных крыс,  
 и вдруг – последняя... Ох и «кумеден» стал  
 растерянный, курино-мокрый ты,  
 когда почувствовал, что больше негде нам  
 запрягаться от бездной высоты...  
 Попробуй не дрожать всем телом, если нет  
 балкона и седьмого этажа,  
 устойчивого в самом центре треснутой  
 катящейся тарелки. ...Чуть дрожжа  
 (ты помнишь: это было? или не было?)  
 удерживать ли в сердце? отпустить?),  
 твои ресницы закрывали небо мне,  
 и я его не видела почти...

Перевод

Я поспорила с бойфрендом  
 На высоком этаже,  
 Где мы с ним неделю спали –  
 В смысле, в том числе, прямом.  
 Тут гроза пришла внезапно,  
 С нею – метеопсихоз.  
 Мы друг другу дали в песню  
 И навеки разошлись.  
 Вот какой у этой хрени  
 Был Великий Тайный Смысл?  
 Пробуем сравнить проблему,  
 Ну, с Троянской войной.  
 Или с варваров набегом,  
 Аль с Везуием каким.  
 Для чего я тут поэтом  
 Стала, спрашиваю вас?  
 Непременно впишем Бога,  
 Виноватого во всём.  
 Это мой любимый пунктик,  
 Обязательный в стихах.  
 А бойфренд-то был прикольный.  
 Как же тут не пострадать?  
 И вообще, неделю дрыхнуть –  
 Это, знаете ли, кайф.  
 Но опять работать надо.  
 Во вселенский пападос!  
 Не дает злодейка-карма  
 Людям вечно кайфовать.

И, наконец, вводим третью неизвестную переменную, что в данном уравнении заставляет обратиться к аксиоме как спасению и открывает дверь в новую науку: «Поэтика личности».  
 Оказывается, чтобы выжить, поэзии приходится обращаться к законам Дарвина. В целях эволюции она трансформируется, уподобляется прозаическому, надсмехаясь над десятым съездом логиков в ежедневном чемпионате по решению теоремы Экзистанса, где дано: «Всё, что не проза, – поэзия». Условие: женщине писать стихи можно, только осторожно. Обращаться к личному косметологу. Эпическое начало в поэзии порождает проэзию – кентавра на литературном пастбище (то есть, побище... извините, поприще).

Вновь по улицам города возят меску  
 поклонения богу неандертальцев.  
 Я намедни сказала сему процессу:  
 «Вот глаза мои, но не увидишь пальцев», –  
 и ошиблась. Не пальцы ли бьют по клави,  
 вышивая оттенки для скенн-узора  
 социолога, плавающего в лаве,  
 будто рыбка в аквариуме – не в море,  
 где прекрасная юная менеджрица  
 привселюдно вершит ритуал закланья  
 женский сущности, сердца... Потееют лица,  
 и у почек несвойственные желанья,  
 и у печени в самом её пределе  
 пролупляется гордость так малосольно...  
 У дороги, роскошный, как божок при деле,  
 серебристый от пыли, растет подсолнух.  
 Он кивает ей: «Дева, менеджрируешь...  
 Вот и я тут – питаюсь, а не пытаюсь.  
 Кто нам доктор, что сити – не сито – сбруя,  
 пылевая, ворсистая, золотая...  
 Кто нам Папа и все его кардиналы,  
 кто нам Мама, пречистый её подгузник,  
 что каму-то премногого стало мало,  
 что каму-то и лебеди – только гуси.  
 Кто нам Бог, что сегодня ты устыдилась,  
 как вины: ты – какая-то не такая...  
 Не рыдаешь без сумки из крокодила...  
 А всего лишь гердыня – и ищет кая.  
 Он придёт, пропылённый, как я, бродяга.  
 Он придёт – и утащит. Туда, где надо...»  
 Лето. Менеджаровня. Пустая фляга.  
 Нечем даже полить тебя, цвет без сада.  
 Нечем было б утешиться, кроме вер, – да  
 нечем даже развеситься, обтекая...  
 Вновь на улице города злая Герда  
 раздает нам визитки... «Какого Кая?»



Неразрешимая теорема должна застыть аксиомой, изобразив, что, мол, так и должно быть. Так рождаются рецензии и биографии, что, в свою очередь, начинают толки, изумления, возмущения и искупения.

Во избежание биографии, желаем вскрыть одну переменную, обязательную при РАЗрешении равенства поэтического – ТАЛАНТ. Поставить прозу в ситуацию абсурда, заставить её прислуживать, поместить в клетку рифм, расцветить неологизмами, приодеть в метафоры, не замаскировать, а качественно преобразовать, соорудив на голове жизни прическу в стиле «сонет», «поэма», «октет», «Бродский», «Маяковский»(?), «Цветаева». Имя сему явлению – Марина Матвеева. И... у неё нет стила, который «в стиле», у неё есть дар – творить поэзию, у неё есть стилет – слово, у неё призвание – уничтожать прозу.

*Слово – это маленькая жизнь.  
Приглядишься: она тебе мала.  
Дай пришью оборку, не вертись,  
не раскидывай свои крыла.  
Если сильно хочешь улететь,  
то к земле притянут словеса.  
Слово – это маленькая плеть,  
вылетаемая за глаза.  
Половцы – они народ шальной,  
чумовой, хотя и не зело.  
Слово изречённое есть Ной,  
выпущенный Богом под залог.*

*Лодка, в коей лошадь (и не то...) –  
только паззлы для его игры.  
Слово – для тебя оно ничто,  
а для рыбы было бы – прорыв!  
Может, только если в Рождество  
у Китайской коляднешь стены,  
ты поймешь, что слово – это «ввод»  
на клавиатуре Сатаны.  
Я тебя запомню навсегда  
с расточками в буйном парике.  
Слово – лодка? Нет, оно вода.  
Сколько лодок во моей реке  
кануло... А сколько унеслось  
в неизведанные миражи...  
Слово изречённое есть лось.  
А неизречённое – зажим  
времени на плавнике леща,  
выпущенного учёным в пруд.  
Слово – это маленькое сча...  
с! И догонят, и ещё дадут  
половцы... Да хватит уж о них!  
Печенеги – тоже ого-го!  
Слово изречённое есть миг  
между ничего и ничего.  
...Нем о той, что мучит немотой,  
тише, Ной, убитый тишиной.  
Слово – это маленькое то,  
что большое людям не дано.*

ББК 84 (4 Укр-4 Оде) 62я45  
Ю 195  
УДК 821.161.1'06 (477.74) – 94

Підписано до друку 04.10.2016 р.  
Формат 60x70/8. Гарнітура Garamond Narrow.  
Папір офсет. Друк офсет. Ум. друк. арк. 20,88.  
Зам. 1235. Тираж 500 прим.

Видавництво КП ОМД (свід. ДК № 774 від 17.01.2002 р.)  
Надруковано в КП «Одеська міська друкарня»  
65012, Одеса, вул. Пантелеймонівська, 17